

**НОВЫЙ
Журнал**

156

**THE NEW
REVIEW**

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Сорок третий год издания

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. September 1984

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

Неизвестный Борис Пастернак в собрании Томаса П. Уитни. Публикация и вступит. статья <i>А. Раннита</i>	5
<i>А. Ершов</i> — На Байкале	53
<i>И. Елагин</i> — Стихи.....	66
<i>П. Палий</i> — Поживем еще	68
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала Российской поэзии.....	83
<i>В. Крейд</i> — Восемь восьмистиший	122
<i>В. Рудинский</i> — Кельтские мотивы в русской литературе.....	125

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым. Публикация <i>А. Звеерса</i>	141
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	164
<i>М. Гольдштейн</i> — Русский бас Александр Пирогов	188
<i>И. Халафова</i> — Русские скауты на острове Проти — 1919-1920 годы.	200

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>Д. Штурман</i> — На вершинах и в пропастях	208
<i>Троцкий</i> — Сталин	225
Советско-Германские отношения 1939-1941. Документы и материалы. Публикация <i>Ю. Фельштинского</i>	269

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

<i>М. Дальтон</i> — Vive ut vivas — О швейцарских и русских Штейгерах	286
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

- М. В. Гардер* — Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни; *Н. Моравский* — Русская Академическая группа в США. Записки. Том XVI; *Б. Бровцын* — Юрий Ветохин. Склонен к побегу; *Е. Климов* — Мстислав Добужинский. Альбом; С.Н. Левандовский. М.Б. Греков 292

НЕИЗВЕСТНЫЙ БОРИС ПАСТЕРНАК В СОБРАНИИ ТОМАСА П. УИТНИ

Публикация Алексиса Раннита

(Йельский университет)

Ниже впервые приводятся неизвестные доселе материалы из литературного наследия Бориса Пастернака: найденные в печати стихотворения и варианты стихотворений (главным образом, по рукописям), а также неопубликованные письма поэта. Оригиналы этих вещей принадлежат богатому частному литературному архиву Томаса П. Уитни, тематически охватывающему весь двадцатый век — от эпохи символизма до наших дней. Т. Уитни — друг России и многих выдающихся представителей ее культуры — известен своим ценным собранием русского изобразительного искусства, преимущественно текущего столетия, а также — своими переводами русской художественной прозы и публицистики. Его перу принадлежит книга "Russia in my Life" (см. статью Сергея Голлербаха в "Нов. Журнале" No. 141, 1980 и сонет "Т. Уитней" Вал. Перелешина в "Нов. Журнале" No. 145).

Предлагаемый материал принадлежал московскому библиофилу, литературоведу и критику Анатолию Кузьмичу Тарасенкову (1909-1956), автору библиографического труда "Русские поэты XX века: 1900-1955" ("Сов. Писатель", М., 1966). В книге были помещены и сведения о некоторых стихотворных сборниках ряда эмигрантских поэтов, принадлежавших к первой волне.

Личное знакомство Тарасенкова с Пастернаком произошло в 1930 г. Годом раньше Тарасенков написал заметку о поэте для Малой Советской Энциклопедии, изд. 1928-1931 гг. На протяжении последующих более чем пятнадцати лет Тарасенков написал и опубликовал в периодике десятки статей о Пастернаке. Все эти годы Тарасенков и Пастернак

Этот материал был использован для одноименного доклада Алексиса Раннита на Международной Конференции по творчеству Пастернака, организованной Лазарем Флейшманом в Иерусалимском Университете Хибру в мае 1984 г.

постоянно встречались у общих знакомых и в литературных редакциях, на вечерах поэзии и пленумах Союза Писателей, нередко навешали друг друга.

Тарасенков с самого начала был захвачен и покорен поэзией Пастернака, а Пастернак с интересом следил за развитием молодого, задиристого в то время критика (Тарасенков был младше его почти на двадцать лет). К 1934 году взаимное дружеское расположение этих людей достигло своей наивысшей точки. В том же году в ГИХЛ'е вышли "Избранные стихотворения" Пастернака с предисловием Тарасенкова. В 1936 г. в их отношениях наступает некоторое охлаждение. Тогда же Тарасенков написал серию разгромных статей о Пастернаке, смысл которых сводится к известной формуле пропагандистов соцреализма: "Поэт должен писать так, чтобы его понимал народ, который его, поэта, кормит". В 1939 г. отношения восстановились (Пастернак был поразительно добрым в быту и всепрощающим человеком), потом снова прервались и опять наладились. И так было до самого конца. Дух и тон приятий и неприятий Тарасенкова (члена компартии) безоговорочно следовал духу и тону очередных постановлений партии. А. К. Тарасенков скончался в 1956 г., не успев стать свидетелем как "оттепельного" XX съезда, так и последовавшей затем предсмертной травли поэта.

Роман Осипович Яacobсон неоднократно подчеркивал значимость вариантов в поэтике каждого стихотворца. Кроме значимости метафорической, фонологической и специфически структурной, о которой говорил Яacobсон, значительную роль в творчестве Пастернака играет элемент автобиографический. В произведениях поэта остро выражена напряженная духовная борьба между началом личным и безлично-социальным. После большевицкого переворота становится все более очевидным его отрыв от общественной жизни и вытекающее отсюда сугубо индивидуальное восприятие и образная передача современности. Примкнув поначалу к ЛЕФ'у, Пастернак порвал с этой группой сразу после того, как В. Маяковский поставил перед поэтами задачу активного служения коммунистическому режиму. Не следует забывать, что особое место в творчестве Пастернака занимают его поэмы "1905" (1925-26) и "Лейтенант Шмидт" (1926-27), в которых отражены события революции 1905 года. Однако, даже в поэме "Лейтенант Шмидт" поэт, всегда верный своей этической непримиримости, сводит общественную тему революции к лирическому повествованию о личной судьбе героя

(следуя здесь, возможно, традиции пушкинского "Медного всадника"). Эта позиция поэта выражена им неоднократно и многолико в стихотворениях разных лет и наиболее ярко подана в его романе "Доктор Живаго" и лирическом приложении к нему. Публикуемый здесь неизвестный вариант знаменитого на Западе стихотворения "Гамлет" ("Зал затих. Я вышел на подмостки"), которое, между прочим, не вошло в том поэта из Большой серии "Библиотеки поэта" (с предисловием Синявского), — является, по-своему, свидетельством моральной правоты одиночества и духовной свободы художника слова и человека Бориса Пастернака.

А. Р.

Точильщик¹

или

Вздых, оказавшийся большевиком

Чирикали птицы и были искренни.

Сияло солнце на **мокрой коре**.

С точильного камня не сыпались искры,

А сыпались — гасли [слепли] как спицы карет²

Сквозь форточки школы к ним на рукоделье³

Садились, как голуби, облака.

Они замечали: с воды похудели

Заборы — заметно, кресты **[березы]** слегка.

Точило бежало. Из школы на улицу⁴,

[«Тепло установится»]

На тумбы садилось, хлынув волной⁵,

Немолчное пенье и шелканье шпуплек

Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались — гасли [слепли]⁶.
 Лезгин дождался. Кинжал, свища,
 Светлел, пробуждался [просыпался] - тусклый, замасленный
 ["А станет потеплей]
 Св.... прояснялся. Он был с леща.
 [И вздуются почки".]

Тот толстый кинжал, — но мутней и безмозглей,
 Прожорливей рыбы был сонный клинок.
 Не сыпались искры, а сыпались — возле
 Был желоб и — гасли. И цокал челнок.

[Шел дворник. Ручаюсь, он всяких чуждался
 Таких сантиментов. Но дворник вздохнул:
 "Когда ж это кончится!" — Горен дождался,
 Дал мальчику рубль и леща пристегнул.]

В то время лещи были красноречивы,
 [И лещ тот и вздох]
 Они в мемуары просились твои.
 Сверкал тротуар, воробьи горячились,
 Горели кусты и побеги хвои.

1. Вариант стихотворения из цикла "Весна". Впервые напечатано в "Московском Альманахе" № 1, М., 1923. Публикуемый вариант существенно отличается от текста, напечатанного в сб. "Стихотворения и поэмы" (Библиографическая серия, М.-Л., 1965, стр. 190), где отсутствует и заглавие. Здесь и далее жирным шрифтом и квадратными скобками выделены варианты, не вошедшие в издание 1965 г.

2. "А сыпались — гасли, в лучах сгорев" (Публикация 1965 г. Здесь и далее в примечаниях слова, строки и разночтения, напечатанные в публикации 1965 г., выделены курсивом).

3. "В раскрытые окна на их рукоделье"

4. "Чирикали птицы. Из школы на улицу"

5. "На тумбы ложилось, хлынув волной"

6. В публикации 1965 г. стихотворение кончалось четверостишием:

"Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
 Был день расточителен; над школой свежей
 Неслись облака, и точильщик был счастлив,
 Что столько на свете у женщин ножей".

Боже, Ты создал быстрой касатку¹
Жжется зарей, щебечет, летит
Низясь, зачем Ты вдунул десятку
Приговоренных Свой аппетит?
Чем утолю? Как заставлю зардеться
Утром ужасным, когда — Ничто
Идол и доля красногвардейца,
В это ужасное утро — То?
Стал забываться за красным желтый
Твой луговой, вдохновенный рассвет.
Где Ты? На чьи небеса перешел Ты?
Здесь, над русскими, здесь Тебя нет.

1. Публикуется впервые. Данными о какой-либо известной публикации этого стихотворения А. Раннит не располагает.

Цикл "*Разрыв*" (публикация 1965 г., стр. 173-177) в рукописи из собрания Т. Уитни носит название "**Приступ**". Датирован мартом 1919 года (1918 в публикации 1965 г. и последующих). Помимо разночтений во 2-м и 9-м стихотворениях, отмеченных в издании 1965 г., начало второго четверостишия 7-го стихотворения читается: "Когда, как труп затертого **меж льдов** до труб норвежца" ("*Когда, как труп затертого до самых труб норвежца*").

ПРИСТУП

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся, — нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, — я был пустым собранием
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!

Тогда б по свисту строф, по крику снов, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку,
Отпрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вывусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
"Вы оттуда? Что там говорят?
Что слыхать? Какие сплетни в городе?"

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: "Казалось вылитая".
Приготовься фунтов с сорока
Разлететься восклицаньем: "Вы ли это?"

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть
в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!*

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И как лилий, атласных и властных бессильем ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, — ведь в бешеной
этой лапте —
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне
Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах
лошадей,
Целовались залиvistым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт
и когтей.
— О, на волю! На волю — как те!

6

Разочаровалась? Ты думала — в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными,
В слезах, примеряла их непобедимость?
На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянность видит, и жаль, что хлыста нет.

* Ударенье обязательно

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опоздания
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу я,
нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, pogodно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер.
В наш год и вешний воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

Март 1919

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ¹

Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградой вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

[Ты б в санях переехала Каму
В час налетчиков и громил.
Пред тобой, как пред Пиковой Дамой,
Я б от ужаса лед проломил.]

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой миллионершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут все — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима — как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1. В рукописи из собрания Т. Уитни после 5-й строфы, завершающей первую часть стихотворения в публикации 1965 г. (стр. 567), следует строфа (см. в квадратных скобках), обнаруженная в рукописном варианте в архиве Л. Кручных как 2-я, следующая за 5-ой строфой канонического текста (напечатана в прим. к изданию 1965 г., стр. 704).

ПАМЯТИ ЦВЕТАЕВОЙ¹
Два отрывка

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По клеенчатой двери прихожей
И в открытые окна мои.

За оградой **через дорогу**
Затопляет общественный сад.
Точно звери вдали пред берлогой
Почернелые тучи лежат.

Мне в ненастьи мерещится книга
Об исконной земной красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Я не плачу, я травлю и режу.
Надо запечатлеть на меди
Эту жизнь, этот путь непроезжий,
Этот дождь, этот сад впереди.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году.
Я слонялся у **Камского** плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Сумрак веял над снежную степью
Черный, точно разбойничий флаг.
Крыши зданий и яблони в крепе
Были белы, как "мебель" в чехлах
[кресла]

Ты б в санях переехала Каму
В час налетчиков и громил.
Пред тобой, как пред Пиковой дамой,
Я б от ужаса лед проломил.

2

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой миллионершей
[В голодный год среди обжор]
Средь голодающих сестер.

Ведь ты не Пиковая дама,
Чтобы в хорошие дома
Врываться из могильной ямы,
Пугая и сводя с ума.

Ты вечно будешь той же самой,
Какой была ты от Адама,
Огонь и сдержанность сама.

Ты та же в обращеньи к Богу

[Из самой глубины]

Со дна кладбищенской земли,

Как в дни, когда тебе итога

Еще на ней не подвели.

Что сделать мне тебе в услугу?

В твою единственную честь

Я жизнь в стихах собью так туго,

Чтоб можно было ложкой есть.

Я наподобье евхаристий

Под вкус бессмертья подберу

Промерзшие под снегом листья

И мандаринов кожуру.

Зима, как пышные поминки.

Средь нашего житья-бытья

В сугробы положить коринки,

Облить вином, вот и кутья.

Светает. Я пишу в постели.

Я только что пришел домой.

Ты помнишь запах стен с похмелья?

Сосновый дух жилья зимой?

И флот речной во льдах затона,

И город на степной земле,

И сад, вглухую заметный,

Как стол или рояль в чехле...

Задумано в Чистополе в 1942 г., написано по побуждению Алексея Крученых 25 и 26 декабря 1943 г. в Москве. У себя дома.

1. Вариант стихотворения с дарственной надписью Б. Пастернака: "Анатолию Тарасенкову с новогодним приветом и поздравлением. Б. Пастернак. 1.1.44". Стихотворение кончается примечанием Б. Пастернака. Судя по разночтениям — наиболее ранний вариант, даже по сравнению с текстом из архива А. Крученых (1965 г., стр. 703-704).

НА СТРАСТНОЙ¹

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного Четверга
Вплоть до Страстной Субботы
Река буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит,
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

[И взгляд их ужасом объят
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

Что будет дальше? — говорят
И смотрят на гробницу,
И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица.

И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плашаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Многоголосый разговор,
Плывущий на волнах рессор
И вешнего угара.]

А март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как-будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

1. Впервые напечатано в изд. "Доктора Живаго", Анн Арбор, 1958 г., стр. 533-535.

ГАМЛЕТ¹

Вот я весь. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.

Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь пройти — не поле перейти.

1. Впервые напечатано в изд. "Доктора Живаго", стр. 532.

ОБЪЯСНЕНИЕ¹

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.
[Как когда-то в тот последний раз.]²

Те же люди, и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти снизу пригвоздил.³

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинаят чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И с соседкой из полуподвала⁴
Переходит двор нанскосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, **перейдя** задворки,⁵
Оставляет нас наедине.

-
1. Впервые напечатано в изд. "Доктора Живаго", стр. 538-539.
 2. Неизвестный вариант последней строки 1-ой строфы.
 3. "*Вечер смерти наспех пригвоздил*" (Публикация 1958 г., Анн Арбор.).
 4. "*И, поднявшись из подпоясала*".
 5. "*И соседка, обогнув задворки*".

Сними ладонь с моей груди,¹
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

И не кусай припухших губ,²
Не собирай их в складки.
Раскровенишь заживший струп
Весенней лихорадки.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
 Меня кольцом тоскливым,
 Сильней на свете тяга прочь
 И манит страсть к разрывам.

1. Впервые напечатано в изд. "Доктора Живаго", стр. 538-539. Первая строфа настоящего варианта в известных публикациях дана как 2-я строфа.

2. Первая строфа в издании Анн Арбора и 1965 г.:

"Не плачь, не морщь опухших губ,

Не собирай их в складки.

Разбредишь присохший струп

Весенней лихорадки".

II

ДОБАВЛЕНИЯ

"Добавления" 1948 года адресованы А. К. Тарасенкову, гл. ред. издательства "Советский Писатель" и относятся к книге Б. Пастернака "Избранные стихотворения" (редактор издания Ф. Левин). Хотя в библиографическом справочнике А. К. Тарасенкова указан даже тираж этой книги (25 тыс. экз.), набор был рассыпан и сохранилось не больше десяти сигнальных экземпляров.

1. Импровизация¹

Я клавишей стаю кормил с руки
 Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
 Казалось, — все знают, казалось, — все могут
 Кричавших кругом лебедей жожаки.

И было темно, и это был пруд
 И волны; и птиц из семьи горделивой,
 Казалось, скорей умертвят, чем умрут
 Крикливо дробившиеся переливы.

И все, что в пруду утопил небосвод,
Ковшами кипящими на воду вылив,
Казалось, доплескивало до высот
Ответное хлопанье весел и крыльев.
[Обратными взлетами]

И это был труд, и было темно,
И было охвачено тою же самой
Тревогою сердце, как небо и дно,
Оглохшие от лебединого гама.

1915

1. Опубликовано в издании 1965 г., стр. 95-96. Публикуемый вариант приводится в примечании, стр. 628. Вариант последней строки 3-ей строфы приводится впервые.

2. "Зимние праздники" из Литерат. газеты озаглавляется: "Наступление зимы". Выбрасываются строфы 3-я, 4, 5, 6-я (от строчки "Опять переполох в подлунной" до строчки "Вступил в победоносный бой").

3. Никого не будет в доме. По Гослит. сборн. 1945. Стр. 71. Целиком без изменений.

4. На Рождестве. Земн. прост. Стр. 12, 13. Целиком без изменений. Если возможно, восстановить старое заглавие: Вальс с чертовщиной, а если нельзя, озаглавить: "Елка".

5. Вечерело. Повсюду ретиво. Гослит, 1945, стр. 87, 88. Выбрасываются строфы 4 (под прорешливой), 6, 7 (а вдали — и мерк Прометей). Озаглавить "Горы" (или "В горах").

6. Можно ли вставить, в виде одного стихотворения, как я это всегда читал на вечерах?

Поэт, не принимай на веру¹
 Примера Дантов и Торкват.
 Искусство — дерзость глазомера,
 Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
 В года, когда в огне невзгод
 В золе народонаселенья
 Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
 Он — прежний лютник луговой.
 Копной черемух белогроздых
 До облак взмывший головой.

Скромный дом, но рюмка рому²
 И набросков черный рог

и т. д. как на 18-19 странице "Ранних поездов" с пропуском 2-й и 3-й строфы. Или не надо?

1. См. издание 1965 г., стр. 556-557.

2. Там же. стр. 383-384.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 7. "В низовьях", Стр. 41 "Земн. Прост." | } Целиком
без
изменений |
| и | |
| 8. "Победитель", Стр. 44 „Земн. Прост.“ | |

9. Среди этих военных стих. об освобожденных городах есть и такое ("Одесса"), печаталось в какой-то морской газете, не вставил в "Земн. Прост." по забывчивости.

Одесса¹

Земля смотрела именинницей
 И всё ждала неделю эту,
 Когда к ней победитель кинется²,
 Под сумерки или к рассвету.

Прибой рычал свою невнятицу
У каменистого отвеса,
Как вдруг все слышат, сверху катится:
"Одесса занята, Одесса".

По улицам давно не езженным,
Несется гул речей веселый.³
Сапер занялся обезвреженьем
Подъездов и домов от тола.

Идет пехота, входит конница,
Гремят тачанки и телеги.
В беседах время к ночи клонится,
И нет конца им на ночлеге.

А рядом в яме череп скалится,
Раскинулся пустырь безмерный.
Здесь дикаря гуляла палица,
Прошелся человек пещерный.

Пустыми черепа глазницами
Глядят головки иммортелей
И населяют воздух лицами,
Расстрелянными в том апреле.

Зло будет отмщено, наказано,
А родственникам жертв и вдовам
Мы горе облегчить обязаны
Еще *каким-то новым словом*.

Клянемся им всем русским гением,
Что мученикам и героям
Победы одухотворением
Мы вечный памятник построим.

Подчеркнуто для тебя. Горе мое не в том, что не "откликаюсь" я на темы, но наоборот, в любую минуту готов договариваться на них до конца.

1. См. издание 1965 г., стр. 568-569.
2. "Когда к ней избавитель кинется".
3. "Несется русский гул веселый".

СТИХИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

СОКРАЩЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

1. Я уже говорил тебе: не стар ли Девятьсот пятый год (выбросить "Москву в декабре") и не выровнять ли "Лейтен. Шмидта" по сборнику 1945 г. Стр. 157-188. Очень выиграл бы, а сокращения небольшие.

2. Помешать ли стих "Город", стр. 113 верстки?

3. Если бы ты пожелал уравновесить предложенные дополнения соотв. исключениями, хорошо было бы выбросить "Преследование" (стр. 137 верстки), неприятное стихотворение, и можно пожертвовать стихами: "Так начинают" (стр. 79 верстки) и "Не волнуйся, не плачь" (стр. 107). [сбоку приписано] Преследование выбросить во всяком случае.

А в общем мне хотелось бы: сократить "1905" и "Лейт. Шм.", все сохранить и вставить все предложенное, кроме, мож[ет] быть, "Данта и рюмки рому", "Одессы".

Пожалуйста, внимательно прочти верстку с точки зрения корректорской, я скользнул по ней слишком быстро, мог пропустить ошибки и ничего не отмечал в отношении шрифтов, места на странице и пр.

Что значат частые цифры на лев[ых] полях? Где заглавие "Девятьсот пятый год"?

После "в воротах вьюга":

И снег, как выдумка, глубок,¹
И крыши, как игрушки, мелки,
И вьюга отдаёт клубок
Мотать метельщице на стрелке.

Нежданно наступает день.
И хоть давно проснуться время,
Деревьям на бульваре лень
Стряхнуть белеющее бремя.

Я чувствую за них за всех...

1. См. издание 1965 г., стр. 443-444. Эти строфы были в раннем рукописном варианте стихотворения "Рассвет" (см. прим. к изд. 1965 г., стр. 692).

III

Публикуемые ниже стихотворения (1)-(11) являются черновиком цикла, вошедшего в сборник "Сестра моя жизнь" (1922 г.). Стихотворения (12)-(22) вошли в цикл, опубликованный с рядом купюр и изменений в журнале "Знамя", No. 4, 1936 г. Стихотворения (23)-(26) — из неопубликованного цикла (конец 30-х — начало 40-х годов).

(1)

Второе июля. Три часа утра¹
Вы спите
Накрапывает. Водить веткой
Украдкою, в кустах!
Тетрадь мокра
Пометка
Четвертый час утра
Вы спите
Звучит как: "Ипсвич" [Бриг Бристоль]
Великий или тихий океан
Четвертый час утра
По Рождестве Христовом
[Отель Бристоль]
Вы спите.

1. Публикация неизвестна. В квадратных скобках — вычеркнутое поэтом.

(2)

Душа — душна, и даль табачного¹
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц — вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Чего там ждут, **паря** картиною²
Корыт, клешней и лишних крыльев,
И лишних слез, и стиснув тиною
 Последний блеск на рыбьем рыле.

Ах, там и час идет, как камешек,³
 Заливом, мелью рикошета!
Гляди, не тонет, нет, он там еще,⁴
 Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
[Ведь поезд]
 До поезда ведь час. Конечно!
 Но этот час объят апатией
 Морской, предгромовой, кромешной.

1. Стихотворение "Мучкап" (публикация 1965 г., стр. 137, 138, варианты на стр. 637-638 примечаний).

2. "Чего там ждут, *томя* картиною
Корой, клешней и лишних крыльев,
Заставши слез излишней тиною
 Последний блеск на рыбьем рыле".

3. "Ах, там и час *скользит*, как камешек".

4. "*Увы*, не тонет, нет, он там еще".

(3)

Накрапывало. Но негнулись¹
 И травы в грозовом мешке,
 Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
 Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
 Был мак, как обморок, глубок,
 И рожь горела в воспаленье,
 И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной,
 Сырой, всемирной широте
 С постов спасались бегством стоны
К косою и мчащейся мечте.²

За ними [капли] слепли следом,³
 Косые капли. У плетня
[И я услышал]
 У мокрых веток с ветром бледным
 Шел громкий говор про меня.⁴

И тополями незамечен,⁵
Я вспоминал: шесть лет назад
Светало рано, брезг был вечен,
Как этот говорящий сад.

-
1. Стихотворение "Душная ночь" (публикация 1965 г., стр. 135-136).
 2. "Но вихрь, зарывшись, коротел".
 3. "За ними в бегстве слепли следом".
 4. "Меж мокрых веток с ветром бледным
 Шел спор. Я замер. Про меня!"
 5. Эта строфа в публикациях неизвестна.

(4)

Дом показался чужим!
[Комната]
 Как легендарна жара,
 Как похождения мудрены
 Изнемогает от дремы
[Лавка....
В городе тучи мембран]
 Изнемогает от дремы
 Как усыпительна жизнь,
 Как откровенья бессонны!
Связкой (жгутов и пружин)

1. Неизвестный вариант начала первого стихотворения "Как усыпительна жизнь!" из цикла "Возвращение".

(5)

Спелой грушею в бурю слететь¹
 Об одном **нераздельном** листе.²
 Как он предан — расстался с суком —
 Сумасброд — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
 Как он предан, — "Меня не затреплет!"
 Оглянись: отгremела в красе,
 Отпылала, осыпалась — в пепле.

Не дрожи, о приросшая песнь!³
 И куда порываться еще нам?
 Ах, наречье смертельное "здесь" —
 Невдомек содраганью сращенному.

Нашу родину буря сожгла.
 Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
 О мой лист, ты пугливей щегла!
 Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый!

1. Стихотворение "Определение души" (публикация 1965 г., стр. 127).

2. "Об одном *безраздельном* листе"

3. "О, не бойся, приросшая песнь!" — эта строфа в изд. 1965 г. — последняя.

(6)

Грязный, гремучий, в постель¹
 Падает город с дороги.
 Нынче за долгую степь
 Веет впервые здоровьем.

Как **усыпительна жизнь**
 Как откровенья бессонны!
[Ночи и дни дребезжат]
Позже ли, раньше ль — мозжить
Стенки бездонных кессонов.

Черных имен глухоты
Не исчерпать.
Звезды, **плоты и мосты**,
Спать!

1. Неизвестный вариант стихотворения "У себя дома" (публикация 1965 г., стр. 144-145).

(7)

Все утро голубь ворковал¹
На желобах.
Как рукава
Сырых рубах,
Мертвели ветки.

Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.

Я умолял их перестать.
Казалось — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз

И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.

Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил.²
Но моросило. И, топчась,
Шли тучи — **и не шли**,
Как пленные австрийцы,
Как хрип в кустах:
"Испить,
Сестрица".

1. Стихотворение "Еще более душный рассвет" (публикация 1965 г., стр. 136-137, с иной разбивкой на строфы).

2. *"Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
'Испить,
Сестрица"*

(8)

[И посвятят ему]!
Когда-нибудь поймут,
Чей голос слышен в неге,
Как предана ему
Религия элегий.

Ты спросишь, кто велит,
 Чтоб губы астр и далий
 Сентябрьские страдали?
 Чтоб мелкий лист раки
 Слетал на сырость плит
 Осенних госпиталей?
 Ты спросишь, кто велит?
 — Всесильный Бог деталей.

1. Неизвестный вариант стихотворения "Давай ронять слова" из цикла "Послесловие" (публикация 1965 г., стр. 150-151).

(9)

[Он может рощи обла...]¹
 [Ты облаками облагать
 Окрестность властен — окна влагой]
 Как облаками облагает
 [сумерками]
 Начнет сады — окно во влаге
 [кусты]
 Закат в стогах — как балаган
 И лодка — горлышко баклаги.
 И голос кромку башлыка
 Обдавший паром — взят за обе
 [как подобье]
 Щеки, и вкусны облака
 [Как будто тают]
 Как снег, твердеющий на небе.
 [Декабрь — скрипучий леденец]
 [Скрипучий леденец — декабрь]
 2 Великолепье — объяденье
 1 Лазурь свежа как леденец
 3 Снега засахарить вконец

1. набросок публикуется впервые.

(10)

Где синий свет, свой зимний воск,¹
 Звезда разбрызгала, — как ярко [без треска]
 Декабрь воссоздает Нивоз
 В мерцаньи [При свете] синего огарка.
 [И сало синее, шипя]
 Опять свеча, треща
 на счастье

1. Набросок публикуется впервые.

(11)

Как были белы эти зубы!
 Когда не ей когда
 Не смел улыбке в губы
 Вминать улыбку

1. Набросок публикуется впервые.

НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРЕНИЙ

(12)

Я понял: все живо.¹
 Векам не пропасть,
 И жизнь без наживы —
 Завидная часть.
 Спасибо, спасибо
 Трем тысячам лет,
 В трудах без разгиба
 Оставившим свет.

Спасибо предтечам,
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем
Отплачивать нам.

И мы по жилищам
Пройдем с фонарем
И тоже поищем,
И тоже умрем.

И новые годы,
Покинув ангар,
Рванутся под своды
Январских фанфар.

И вечным обвалсэм
Врываясь извне,
Великое в малом
Отдастся во мне.

И смех у завалин²
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин
И эти стихи.

Железо и порох
Заглядов вперед,
И звезды, которых
Износ не берет.

1. См. публикацию 1965 г., стр. 554-555, а также "Сочинения, т. 3" (Анн Арбор, 1961 г., стр. 138-139).

2. Эта строфа выпущена в издании 1965 г.

(13)

Мне по душе строптивый норов¹
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для прятков прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он лавры, бросаясь в бой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.

Он этого не домогался,
Он жил, как все. Случилось так,
Что годы плыли тем же галсом,
Как век, стоял его верстак.

А в те же дни на расстояньи,
За древней каменной стеной,
Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.

Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

В собраньи сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетия так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.

Но он остался человеком,
И если, зайцу вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.

И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал.

(14)

[Поэт, не принимай на веру²
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.]

1. Стихотворение из цикла "Художник" (см. публикацию 1965 г., стр. 381-382, 681 и публикацию Анн Арбор, стр. 420-421).

2. См. публикацию 1965 г., стр 556.

ПОХОРОНЫ ТОВАРИЩА¹

(15)

Немые индивиды,
И небо, как в степи.
Не кайся, не завидуй, —
Покойся с миром, спи.

Как прусской пушке Берте
Не по зубам Париж,
Ты не узнаешь смерти,
Хоть через час сгоришь.

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся,
В громах других отчизн.

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Уставный ровный шрифт.²

Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданием,
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Так вот — в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

[Его раскаты громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Уставный ровный шрифт.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Итак, в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

Прощай. Нас всех рассудит
Невинность новичка.
Покойся. Спи. Да будет.
Земля тебе легка.]

Как Кама из Закамья,
В слезах уходит взор
Из комнаты с венками
На потемневший двор.

Закатно гаснет краска.
День поджимает хвост.
Он ощутил остратку
Увоза на погост.

Деревьев первый иней
Убористым сучьем
Вчерне твоей кончине
Достоинно посвящен.

Кривые ветки ольшин —
Как реквием в стихах.
И это все; и больше
Не скажешь впопыхах.

Не подавая виду,
Украдкою, как вор,
С гражданской панихиды
На темный выйду двор.

Теперь темнеет рано,
Но конный небосвод
С пяти несет охрану
Окраин, рощ и вод.

Из комнаты с венками
Вечерний виден двор
И выезд звезд верхами
В сторожевой дозор.

Самоубийство — пропасть.
Внизу — черным черно.
Тропой окольной робость
Сбегается на дно.

Отсюда люди кучей
 Стремглав, наперебой —
 Стеснить несчастный случай
 Счастливою толпой.

Прощай. Нас всех рассудит
 Невинность новичка.
 Покойся. Спи. Да будет
 Земля тебе легка.

1. Стихотворение "Безвременно умершему" (публикация 1965 г., стр. 385-386, *Ann Arbor*, т. 3, стр. 243).

2. "*Простой уставный шрифт*"

(16)

[В НАСТУПЛЕНЬЕ]

Поэт, не принимай на веру
 Примеров Дантов и Торкват.
 Искусство — дерзость глазомера,
 Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
 В года, когда в огне невзгод
 В золе народонаселенья
 Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Недавний лютик луговой,²
 Копной черемух белогроздых
 До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, — не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Поймем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

1. В издании 1965 г. стихотворение опубликовано без заглавия (стр. 556-557). См. первую строфу — в варианте 1-го стихотворения цикла "Художник".

2. "Он — прежний лютик луговой"

(17)

Георгию Леонидзе

[Устами друга]¹

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха — слюда.

Голос, властный, как полюдьё,
Топит все наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что́ ему почет и слава,
 Место в мире и молва
 В миг, когда дыханьем сплава
 В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
 Дружбу, разум, совесть, быт.
 На столе стакан не допит,
 Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный,
 Каждый миг меняют вид.
 Он детей дыханье в спальнoй
 Паром их благословит.

1. См. издание 1965 г. (стр. 383-384), где это стихотворение напечатано без заглавия и без посвящения.

(18)

Он встает. Века, Гелаты.¹
 Где-то факелы горят.
 Кто провел за ним в палату
 Островерхих шапок ряд?

И еще века. Другие.
 Те, что после будут. Те,
 В уши чьи, пока тугие,
 Шепчет он в своей мечте.

— Жизнь моя среди вас — не очерк.
 Этого хоть захлебнись.
 Время пощадит мой почерк
 От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт?
 Пусть он крепость, пусть и храм,
 Въеду на коне на паперть,
 Лошадь осажу к дверям.

(Революция, ты чудо,²
Наконец-то мы вдвоем.
Ты виднее мне отсюда,
Чем из творческих ярем.

Мало верить по-наслышке,
Мало ездить и глазеть.
Надо с **самовольной** вышки³
По тебе равняться сметь.)

Не гусяр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что еще во тьме лежат.

Как гроза, в пути объемя
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.

Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.

Крыши городов дорбгой,
Каждой хижины крыльцо.
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.

1. См. издание 1965 г., стр. 384-385.

2. В круглых скобках — строфы, исключенные в окончательном варианте (1965 г., стр. 682 прим.).

3. "*Надо с этой сердца вышки*"

(19)

[Зима в Тифлисе]¹

Как-то в сумерки Тифлиса
Я зимой занес стопу.

Воплощенную теплицу²
Лихорадило в гриппу.

Рысью разбегались листья.
По пятам, как сенбернар,
Прыгал ветер в желтом плисе
Оголившихся чинар.

Постепенно все грубело.
Север, черный лежебок,
Вешал ветку изабеллы
Перед входом в погребок.

Быстро таял день короткий,
Кротко шел в щепотку снег.
От его сырой щекотки
Разбирал не к месту смех.

Я люблю их, грешным делом,
Стаи хлопьев, холод губ,
Небо в черном, землю в белом,
Шапки, шубы, дым из труб.

Я люблю лицо немое
Помешавшихся небес,
День, глядящий неумоимой,
Сажи с жемчугом замес.

Обновленный до кровинок,
Как по спаде вод в бору
Первый сорванный барвинок,
Вдох и выдох на ветру.

Я люблю каким-то чудом
Звезд плывущий звон, и век
Буду стужи самогодам
Верен, грешный человек.

Но впервые здесь на юге
За порханием пурги
Я увидел в кольцах вьюги
Угли вольтовой дуги.

Ах, с какой тоской звериной,
Трепеща, как стеарин,
Озаряли мандарины
Красным воском лед витрин!

Как на родине Миньоны
С гетевским: "Dahin, dahin",
Полыхали лампы
Субтропических долин.

И тогда с коробкой шляпной,
Как модистка синема,
Настигала нас внезапно
Настоящая зима.

Нас отбрасывала в детство
Эта стана крутизна³
В черном котике кокетства
И осанка полусна.⁴

1. См. издание 1965 г., стр. 382-383 и 681, а также изд. Анн Арбор, т. 3, стр. 241-242. В советском издании заглавие отсутствует.

2. "Пресловутую теплицу"

3. "Белокурая копна"

4. "И почти из полусна"

(20)

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

и т. д.

(21)

Все наклоненья и залог¹
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

[Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.]

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацветал, как курослеп
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженный, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это — лепкою судеб.

Как вдруг — издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

С тех пор все изменилось вкорме.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру
и т. д.

1. См. издание 1965 г., стр. 555-556.

(22)

[Как-то в сумерки Тифлиса¹
Я зимой занес стопу.
Воплощенную теплицу
Лихорадило в грипу.

Посередке тротуара
Ветер стаскивал с чинар
Заревые шаровары
И рычал, как сенбернар.]

1. Вариант 2-го стихотворения из цикла "Художник" (1965 г., стр. 382).

(23)

Ветерок забубенный —
От стебля ко стеблю.
Всей душою ловлю
Первым утром вселенной
Свежий лепет о ней
Лепестков и лучей
Во хмелю.

Не перечь и не сетуй
И последуй совету:
Предрешенному дай
Перейти через край.

С напускной неохотой
Льют лучи благодать.
Против их приворота
Чьей душе устоять?

(24)

О весна, вся — томленье, —
Пред тобой я в мольбе:
Сердце, полное лени
Предаю я тебе.

Ты журчание вод
Точишь, точно как мед.

Ветерочка разгон
Мысль, как хочет, колышет.
О, не видеть, не слышать, —
Или только сквозь сон!

Чую жмурками век
Света юркого вбег.

Солнце, помилосердствуй.
Ключ добра во плоти, —
Пей до дна мое сердце
И за лень не плати.

(25)

Ослепление спросонок,
Пробужденного встретить.
Не настолько я тонок,
Чтоб в бесплотность лететь.

Но люблю в светосини
Арнея, мечту,
И умру, лишь в пучине
Части часть предпочту.

Из забот обихода
Неотложнее нет,
Чем с зари до захода
Со всего небосвода
Пить медовый твой свет.

(26)

Юной жизни оплот.
Рай взаправду, на деле.
В небывалом весельи
Дух мой взмыл и поет.

Приумножь мои радости, Боже.

Размечи расстоянье
Меж тобой и душой,
Что в опальном изгнании
Помнит взор твой былой.

Восхити и возвысь меня, Боже.

Как на почве сыпучей
 Знаки пяток босых,
 Оставляет созвучья
 Где ни ступит, мой стих.

Отшибив себе память
 И о ней не тужа
 Без заботы зыбями
 Ходит-бродит душа.

Когда цветом и соком
 Куст веселый умыт,
 Пуще в дубе высоком
 Птиц поселок шумит.

Свесьте в листья, пичужки,
 Трели, свисты, лады.
 Я пьянее пьянчужки
 И, как вы, от воды.

Ты обжег мне ресницы,
 Боже, свет твой сверх сил.
 Ты меня, как десницей,
 Им насквозь поразил.

IV

Дорогой

Сергей Иванович!¹

9.7.36.

Выдайте, прошу Вас, предьявителю этой записки рукопись "Пр. Гомбургского".

Как поживаете? На даче хорошо и привольно. От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш

Б. Пастернак

1. Публикуется впервые. Записка адресована С. И. Вашенцеву, члену редколлегии журнала "Знамя". Б. Пастернак представил в журнал рукопись перевода драмы Г. Клейста "Принц Фридрих Гомбургский", одновременно с циклом стихов. Стихи были напечатаны, а драма пролежала в редакции без движения. Любопытно, что ее публикация зависела от состояния советско-нацистских отношений..

16 июня 1948 г.
Геorgию Алексеевичу Ярцеву
от Б. Пастернака¹

В издательство "Советский писатель"

Прошу издательство рассмотреть в наивозможно скорейший срок и вынести решение по следующему моему предложению.

Не сочло ли бы издательство возможным собрать и выпустить наилучшие из поэтических моих переводов согласно следующему отбору.

Из особенно удавшихся мне авторов я исключил бы поэмы и крупные их произведения, напр., из Шевченки не включал бы "Марии" и оставил только лирику, из Петефи не поместил бы поэмы "Витязь Янош", а только мелкие стихотворения. Наконец, из целых разрядов и литератур взял бы только что-ниб. одно, самое совершенное, напр., из грузинских поэтов [взял бы] только одного Бараташвили и т. д. и т. д.

Часть предлагаемого собрания составят переводы, содержащиеся в моей книге "Избранные переводы", выпущенной "Советским писателем" в 1940 г. за вычетом "Принца Гомбургского" Клейста и народных фарсов Ганса Сакса. Из книги "Грузинские поэты" (Сов. Пис. 1946) войдет только лирика Бараташвили (без "Судьбы Грузии").

В сборник войдут несколько переводов из Шелли, Словацкого и Шевченки, появлявшиеся только в периодич. изданиях, и по случайности не вошедшие в другие мои собрания.

Основными авторами будут Шекспир (мелкие лирич. стихи), Байрон, Китс, Шелли, Верлен, Словацкий, Шевченко, Ондра Лысогорский (может быть, Тычина, под вопросом Иоганнес Бехер, Альберти и др. Чаренц, Навои, Рыльский).

Таким образом, составленный томик будет содержать от 3-х до 4-х тысяч строк.

От готовности издательства и замыслов лица, кот. будет редактировать книгу, будет зависеть задумать ее обширнее и объемистей. У меня и в случае двойного ее объема (свыше 5000 строк) явилась бы возможность дать отбор достаточно [скупой] строгий. Так, я из поэмы разных авторов выбрал бы что-ниб. самое удавшееся, напр. Шевченковскую Марию.

Большей части сделанного мною в этом направлении я не помню и у меня нет следов этих работ, но в случае согласия издательства (на

печатание такой книги) я при составлении книги стал бы подбирать материал, и тогда бы вспомнилось, наверное, много существенного, упущенного мною в этом примерном перечислении.

В случае принятия моего предложения прошу издательство авансировать меня суммой в 10000 р. (десять тысяч р.) под [эту] книгу.

Б. Пастернак
16 июня 1948 г.

1. Публикуется впервые. Г. А. Ярцев был в то время директором издательства.

18-19 октября 1948 г.
[А. К. Тарасенкову]¹

Толя, вот я сделал все, что советовал ты и Матусовский². Окончательные строчные исправления по его отметкам (очень немногочисленным) я сделаю в процессе производства, в гранках или даже верстке, это пустяки, а я сейчас страшно занят.

Это записка на случай, если я тебя завтра не застану. Если мне не удастся объясниться с М. Л., надо уяснить главное: я так понял, что он своими сомнениями валит возможность, предоставленную Союзом Пис., и спокойно мимо этого проходит, в вооружении всей современной софистики, — а тогда этому, правда ведь, не было бы имени, не правда ли?

А если наоборот, то тогда виноват, виноват, но почему, чудак, он сразу же не вывел меня из заблуждения?

Всего лучшего вам обоим.

Б.

В книге 3315 стр. Старых просьб (о догов. и т. д.) не повторяю.

1. Публикуется впервые. Записка к А. К. Тарасенкову, занимавшему пост гл. редактора изд. "Советский Писатель". Речь идет о готовившейся к печати книге "Избранных переводов". Книга так и не увидела свет. Не было даже сигнала.

2. Михаил Львович Матусовский, советский поэт, редактор книги.

НА БАЙКАЛЕ*

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Отец Владимир. — Это была непервая моя поездка в Листвянку. День выдался пасмурный, моросил дождь. От стремительно несущейся "ракеты", постепенно растворяясь в густой сетке дождя, убегали зеленые берега, тушевались причудливые скалы. На воде было холодно. Ехал я не один, нашлись попутчики. Познакомились, разговорились.

— А знаете, отец Владимир-то помер...**

— Неужто правда?

Не хотелось верить. Будто что-то оборвалось в душе, стало зябко, не по себе. Умер старенький настоятель, с ним отзвонили и звоны. Осталось лишь воспоминание о тех теплых встречах, которые рождали во мне постоянную, подсознательную мысль о том, что я уже когда-то там жил. Теперь, и так неожиданно, надо было проститься с Листвянкой — поездка потеряла свой смысл.

И припомнилось мне, как отец Владимир, матушка, две старушки сиживали на лавочке у церкви, сиживали чинно, по старшинству — батюшка в белой холщевой рубашке навывпуск, потом матушка, потом — монашки-прислужницы. Сидели, смотрели на большой Байкал, в воды которого опускалось солнце и махали ему, пока оно, не спеша, опускалось в воду. Вспомнилась скромная деревянная церковь с голубыми куполами, крестный ход во время пасхального богослужения, чаепитие у матушки Анисии***, разговоры со старушками, да еще японские

*Рукопись получена из СССР. Автор, Александр Ершов, погиб в 1979 г. -
Ред.

**Настоятель церкви Николая Чудотворца в Листвянке, умер в 1968 г.

***Умерла в 1969 г.

туристы, которые, кланяясь, чирикали по-русски — “Спасибо”, а мы им в ответ: — “Спасибо за спасибо”. Постараться бы вспомнить и записать, потому что все это скоро последует за бабушкой, за матушкой, за тихими старушками — шаток их крохотный мир. Уйдут они все, друг за другом, и никто не догадается помахать им вслед, как это делали каждый вечер на закате они сами, с благодарной молитвой за прожитый день провожая на покой солнце.

Крестный ход. Когда в тот вечер я подошел к церкви, с шипеньем взвилась красная ракета.

— Ну, быть беде, — подумал я.

У ограды стояла группа “зачинщиков” парней и девчат навеселе. Вокруг храма собралось множество народу, внутри было и того больше. С трудом протиснулся.

Монотонно, сбиваясь на трудных словах, мужской голос читал бесконечные молитвы, слова которых не доходили до сознания. Однако, прихожане стояли тихо, ожидая выхода бабушки. И он вышел на амвон, очистил всех присутствующих кадильным дымком, благословил. Потом начался долгожданный крестный ход. Впереди всех, с достоинством выполняя почетное поручение, шел, высоко неся крест, рослый паренек. За ним мужчины несли хоругви и иконы, шел хор — “Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах. И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить”.

Поддерживаемый крепкими руками, шествовал старенький настоятель — отец Владимир. Он передвигался на своих протезах медленно, опираясь на палку. Бабушка был в светлом праздничном облачении и сам весь светился внутренней радостью. За ним, словно телохранители, семенили сгорбленные старушки в белых платочках. Шествие замыкала молодежь. Остальные прихожане остались в храме.

В таинственной темноте пасхальной ночи разом зажглось множество свечей. Их несли бережно, прикрывая от порывистого ветра. Просвеченные живым огнем ладони казались плывущими золотыми лампадами; они освещали только глаза, все остальное уходило во мрак. Где-то, совсем рядом, вздыхал Байкал.

Обошли вокруг церкви, и вступил радостный звон.

За закрытыми дверями, на паперти, вознеся, хоть и слабенький, но властный голос отца-настоятеля: — Христос воскрес! И все согласно отвечали: — Воистину воскрес!

Двери распахнулись, священник первым вошел в храм, за ним — остальные.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Закончилась обедня. Стали святить куличи. Большой, покрытый белой скатертью стол был уставлен пасхами, куличами, мелкой сдобой. В каждый кулич воткнуты свечи и бумажные розы. Монашки зажгли эти свечи; их лица затеплились отраженным пламенем. Отец Владимир пошел вокруг стола, молясь и кропя освященной водой. Брызги летели с метелочки на стоявших рядом, на сахарные шляпки куличей, на крашеные яички, горками теснившиеся у пасок, на пирожки в тарелочках, на бумажные розы и — странно, — ни одна свечка не погасла от искрившегося в их пламени дождя.

— Доброе знамение, — подумал я.

В гостях у матушки. Перед тем, как приглашенным сесть за стол, все хором пропели "Отче наш", "Христос воскрес". Батюшка благословил снедь, всем поклонился и все поклонились ему. Перекрестившись, гости тихо заняли свои места. Внесли самовар, матушка стала разливать чай.

А на столе чего только не было! Куличи, пасха, пирожки, печенье, разное варенье, и конечно же, крашенные в луковых перьях яички. Сначала было тихо — шуршали скорлупками, прихлебывали чай, угощались шопотком. После чая стали обмениваться впечатлениями о службе — все ею остались довольны. На сей раз не было ни милиции, ни дружинников. Молодежь вела себя пристойно, чего от нее и не ожидали. Одна старушка заметила:

— Гляжу, а он-то, Василь, шагает по дорожке, по которой должен ходить токма отец Владимир. Хотела было остановить, да уж подумала — ладно, Бог простит, пушай парень ставит свечу Николушке-Угоднику.

— А Илья, — подхватила другая, — спрашивает: "Куды

свечу ставить по матери-то?”. К Матушке Божьей заступнице, — отвечаю. Он и поставил! Да не к иконе Ейной, а прямо-те к лику прилепил, окаянный, прости меня, Господи!

Старушка перекрестилась на образа, остальные не выдержали, засмеялись.

— Подумать токма! Ниче теперча не знает молодежь!

А потом пошли разговоры о чудесах, которые, оказывается, не перевелись и в наши дни. Каждый рассказывал удивительные случаи, чему все гости искренно радовались, а я слушал и радовался, глядя на них.

Когда я сел записывать то немногое, что мог вспомнить, образ отца Владимира, слабенького, слепенького затеплился в душе, как те свечи в ночи над вечным Байкалом...

У-ух!.. У-ух!.. — скатывалась, шурша галькой, волна. — У-ух!

Волна за волной рождалась и умирала, как время, как поколения, как вот теперь отец Владимир.

Разве я могу забыть то ни с чем не сравнимое ощущение беспредельности, когда, выходя из церкви, попадал в океан света, воды и простора, когда охватывало чувство убежденности в том, что Бог является людям и в величественной красоте природы. И еще: именно там, стоя над Байкалом, слушая шум прибоя, я отчетливо чувствовал гордость, мощь и духовное назначение России, осознал все то, что связывало нас, живых, с теми, кого уже нет, и с теми, кто придет нам вослед.

День рождения. Байкал оказался совсем не таким диким и необжитым, каким я себе его представлял. Группы отдыхающих в санаториях, туристы-одиночки с кинокамерами, фотоаппаратами, туристы, организованные табунами, с горластыми транзисторами, кемпингами и кострами. Когда же их не было, Байкал властвовал надо всем и все вокруг казалось первозданным: причудливые нагромождения скал, исполинские кедрачи, лохматые ели, сказочные коряги на берегу, смолистый и острый воздух.

Я сознательно укрывался в Листвянке, отгораживаясь от действительности. Меня не могла остановить даже погода. Я вырывался из общежития с его холостяцкими запахами,

пошлыми анекдотами в этот крохотный заповедник покоя и чистоты. Как, порой, завидовал я тем, кто жил здесь, на берегу, в этих добротных избах, в которых пусть не было электричества, газовых плит, телевизоров, но зато были лодки, костры, собаки, лес, шум вздыхающего прибоя.

Теплоход пришвартовался. Пассажиры, прибывшие в Листвянку — Лиственничное, сошли на берег. День был на редкость погожим. Светило ярко солнце и потому ослепительно белыми смотрелись скалы и изумрудной была трава, усыпанная цветущими одуванчиками.

Село Лиственничное укрылось от ветров в ложине, с обеих сторон защищенной горами, одетыми лесом. Срубы от времени, воды и ветров приняли теплый шоколадный оттенок. В каждой избе по два оконца с белыми ставнями, наличниками и во всех окнах традиционные цветы Сибири — "женихи" да "невесты". У изб — сараюшки, березовые поленницы, и всё это огорожено аккуратными палисадниками. По селу пробегают две говорливые речушки — Крестовка и Золотушка, а в самом центре села, на острове, возвышается церковь Николы-Чудотворца.

К ней я и направлялся. Однако, решил не торопиться. Выбрав удобное место для наблюдений, устроился на прогретых солнцем брёвнах. Мимо меня, тараша глаза, протопали козы. На лугу отдыхало стадо коров — белоснежных, с кофейными пятнами на мощных боках. Волнами разносился приятный коровий запах. Щипавшие траву гуси, завидя меня, тревожно загоготали. Солидный гусак, забавно вытянув шею, стал грозно на меня наступать.

— Чужак! — гнусавил он. — Чужак!..

Потом двое из них, на глазах у толщенной гусыни, затеяли настоящий турнир. Долго боролись, шипели, шипались, пока слабый, наконец, не сдался. Победитель выпятил грудь и сильно забил крыльями.

На солнце меня скоро разморило, и я пошел вдоль речушки.

На берегу, багровея, злился индюк, увлеченно играли в ножики вихрастые пацаны. У первой избы оскалилась цепная собака. Я помахал ей, она долго провожала меня недоуменным взглядом, а когда я пропал из виду, вдруг спохватилась и яростно залаяла. Перешел по шаткому мостку речку. Церковь

мне показалась запертой. Но нет, вот вышла старушка, повернулась, перекрестилась, поклонилась до земли и бодрыми шажками засеменила по мосту. Поровнявшись со мной, поздоровалась. Что же это я не догадался первым поприветствовать её?

Церковь была деревянная, крашенная охристой краской, а крыша — зеленой. Над васильковыми куполами в безоблачном небе горели кресты.

В храме шло богослужение. В нескольких шагах, спиной ко мне, сидел на стуле священник. Около него стоял седенький дяк с кадилом. Народу в церкви было мало, день был будничный, — всего десятка два молящихся, больше женщин и несколько пожилых мужчин. Прихожане пели красиво и складно.

Меня никто как-будто не заметил. Я пристроился в сторонке. И мне показалось, что я, что-то когда-то потеряв, теперь неожиданно нашел, а что — не знал. По щеке скатилась слеза. То ли от радости, то ли от потери, я не мог себе объяснить. Скорее всего, это была переполнявшая меня радость от того, что восстановилась моя связь с утраченным прошлым.

Я вышел ещё до окончания службы, сел на скамейку — подумать и успокоиться. Не помню, долго ли я сидел, только почувствовал, что кто-то надо мной стоит. Поднял голову: это была монашка, обходившая в церкви с тарелкой всех прихожан.

Что, сынок, тяжело тебе? — Она осторожно под села.

Что вы!

А я было подумала.

У меня сегодня день рождения.

Вот оно что! — Монашка вынула из кармана и положила мне на руку две карамельки. — Бери, сынок, бери, не сомневайся.

А сама застеснялась: не обижусь ли я. Мы еще долго сидели с ней, она рассказывала о первых христианах, о царе Ироде, о том, как прекрасная Саломея требовала голову Иоанна Крестителя. Я её слушал и был рад, благодарен тому, что она доверилась мне, подарила свой наивный и трогательный рассказ. На душе стало тепло и спокойно.

В автобусе, который отправлялся в Иркутск, собрались разговорчивые попутчики, многие знали друг друга. Машина рванула, сильно тряхнув пассажиров, потом пошла и дальше

трясти по ухабам, пока не выбралась на асфальтированную дорогу. Мало-помалу завязался общий разговор.

Не припомню с чего бы, может, проезжали мимо погоста, вспомнились кому-то пленные японцы, их в этих краях, говорил один, было преобладающее множество.

— Вот я слыхала, как на Родину их отправлять стали, они вагоны ветками и цветами разукрасили. Потом пересадили их на баржи, а баржи в море затопили, ихние же и затопили.

Все замолкли. Другая женщина добавила:

— Боялись, что пленные коммунистами домой возвращались.

— Да что говорить! Она у нас на Байкале есть мыс, называется "Покойничий". Мне один моряк рассказывал, тепереча в лесничестве работает.

— А про че говорил?

— А про то самое, в 24-ом году к нам раскулаченных ссылали. Погрузили очередную партию на баржу, чтоб переправить в Верхний Ангарск, а в пути разбушевался шторм, да такой страшный, грозил потопить баржу и буксир. Капитан, он-те знал, че спастись возможно токма ежели перерубить канат. Но не рубил, боролся за русские душеньки. Да команда вынудила его, тем и спаслись, а баржа, как есть затопла, никто в живых не остался.

Для убедительности женщина махнула рукой.

— Байкал, он мертвых не принимает, — продолжала она. — Вода такая. Все трупы до едина повыбрасывал на тот мыс, на Покойничий. Долго там лежали, клевали их птицы...

Все умолкли, долго молчали.

— Видать, тихий родился, — сказала молчавшая до сих пор старушка.

Матушка Анисия.

— Динь, динь, динь!

Звук колокола разносился далеко по ложине, сливался с криками петухов, мычанием коров, лаем собак, прибором волны, с шумами живущего повседневной трудовой жизнью села.

— Динь, динь, динь!

Под этот звон когда-то провожали на промысел рыбацкие лодки,

теперь колокол оповещает о том, что служба в церкви закончилась, что всем, всем, всем посылает свое благословение старенький настоятель — отец Владимир.

По крутой, тёмной лестнице я взбежал на колокольню. И там, наверху, был на миг ослеплён солнцем, подсиненным воздухом. Звонарь заметил меня. Он стоял, закрыв глаза, упиваясь мелодией звона. Ветер трепал его длинные седые волосы, а солнце подсвечивало их сияющим нимбом.

— Динь, динь, динь!

Постояв немного, я спустился вниз. Было досадно, что опоздал к службе. Вошел в храм, как всегда, с какой-то опаской. Услышал шопот женских голосов за перегородкой:

— 15, 18, 20, 23. Шесть пишем, один в уме — получается 75 копеек. Батюшки светы, напутала, снова напутала!

Послышался звон пересыпаемых монет и снова шопоток: 15, 18, 20, 23, итого — 76 копеек. Всего-то будет — девять рублей сорок семь копеек. Так, матушка, и запиши в приходную книгу. Таперча точно, можешь проверить.

Матушка Анисия защелкала счетами.

— Сошлось, слава Те, Господи!

Пока женщины были заняты сложной для них бухгалтерией, я стал рассматривать иконы. Внутреннее убранство церкви столь же неприхотливо и скромно, как и ее внешний вид. Правда, много, очень много икон. Но пол окрашен в обыденную желтую краску, на нем разостланы старенькие домотканые половички, в середине — большой кусок ковра с пятнами от масла и воска. Подливать масло в лампы и следить за свечами входит в обязанности матушки Анисии, а она сама такая махонькая! Когда и не дотянется, прольет.

Пока я рассматривал церковь, вошла еще одна опоздавшая душа, перекрестилась на алтарь, поклонилась, затем, подойдя к тем, кто пересчитывал церковную "выручку", довольно громко сказала:

— С праздничком вас!

— И вас с тем же! — ответили ей.

"Сегодня ведь День Морского Флота", — мелькнуло у меня в голове. Потом дошло — да не с этим поздравляют они друг

друга, а с Серафимом Саровским! Наверное, ради него так упоенно и звонил старый звонарь.

Передо мной икона Тайной вечери. Горит красная лампада и с того места, где я стою, мне кажется, что она прямо на столе, за которым сидят Христос и Его ученики.

Икона написана в тёмных тонах. Может, это время потемнело ее, или же так было задумано художником, когда-то очень давно. Огонек теплится, дрожит на ликах сидящих вокруг стола, и кажется, что они тихо разговаривают между собой. Другая икона, думается, — святого Иннокентия, — освещена догорающими свечами. Они отекают воском, сползающим на подставку. Святой идет мне навстречу по неведомой знойной пустыне, держа в руках свиток. От движения воздуха, от марева пламени мне видится, как развеваются полы его складчатого одеяния. Тут ещё солнечный луч пробился, побежал по храму, озаря потемневшие изображения, отчего они на мгновение ожили, а потом снова спрятались в глубокую тень притворов.

Прежде икона воспринималась верующими как живая участница человеческих судеб. Почему же теперь многие отходят от веры, почему не стало потребности в иконах-заступницах? Не потому ли, что люди стали считать себя всесильными? А может, это иконы стали безразличны к людским судьбам? Исстари иконы представлялись чудесными пришельцами: они приходили, они могли неожиданно и уйти. Сколько о них было сложено преданий! Тогда и не могло быть иначе, ну, а в наш век люди перестали верить в чудеса.

Вот ещё одна икона в погнутой раме и под стеклом, а потому сильно бликует. Вокруг неё свисает плющ, что растёт в обернутой тюлем банке. Венчиком уложены бумажные цветы. Образ Богоматери. Перед ним стоит на коленях женщина, которую я сразу и не заметил. Женщина вся в трепетном ожидании, она будто ждёт условного знака, чтобы войти через золотые ворота погнутой рамы в эту невидимую пустоту за бликующим стеклом. Догорают отекавшие свечи, сейчас их начнут собирать.

Так и есть, матушка Анисия, крестясь, стала тушить огарки. Подошла ко мне:

Опоздал, сынок, служба, видишь, закончилась.

Да так уж получилось, сами знаете, с транспортом.

На все воля Господня, — ответила она. — Я вот только свечи соберу, а там чайком угощу. Вареньеце славное у меня есть.

Клетушка, иначе и не назовешь, матушки Анисии тут же, при церкви, темная и прохладная. Из мебели только стол, покрытый клеенкой, заправленная лоскутным одеялом койка, громкие ходики на стене, да иконки на полочке с засохшей вербой и крашеными яичками. С потолка свисает тусклая лампочка без абажура. Украшают келью только цветы на подоконнике, высаженные в консервных баночках из-под горошка. Вот, пожалуй, и все.

Я сел на табуретку после того, как старушка убрала с нее чайник и тщательно вытерла тряпкой. Потом она стала резать хлеб, разлила жиденский чаек по кружкам, стала искать что-то под столом, нашла, поставила передо мной баночку, на дне которой и было обещанное варенье.

— Кушай, сынок, не стесняйся!

А я ей твердил, что, дескать, поел перед отъездом. Конечно, врал — есть хотелось адски! Скушал ломоть хлеба с вареньем. Варенье было, действительно, отменным — темно-красного цвета, с особой горчинкой. Жаль, что было его так мало, потому постеснялся намазать еще краюху.

— Из жимолости варенье, очень полезительное, кровь очищает. — Эх! — со вздохом добавила матушка Анисия, — молодые, бедные, ничего-то не знают, кто им подскажет, коли уже родители все позабыли!

И она стала рассказывать о преподобном Серафиме Саровском, чей праздник отмечался в этот день, о снах, о силе креста.

— Сон — дело тайное. Во сне душа с умершими встречается. Только то, что во сне видовали, Господь вспоминать не велит. — Вдохнула. — Жизнь моя так и идет, во всем полагаюсь на Господа. Днем прислуживаю, ночью — с теми, кого нет уже среди нас. И такая, бывает, благодать настает, умиление такое душевное, будто слышу над собой шум ангельских крыльев...

— Она сколько везде случаев по миру — войны, голод, болезни разные, смерть так и рышет по земле! — Она сознает

своим сердцем великую гармонию жизни и смерти, вечное движение через смерть к жизни новой. Наверное, это ей дается за терпение, веру и кротость.

— Спасибо за угощение, матушка Анисия. Я теперь хочу подняться на гору, полюбоваться, побыть одному.

— Ну, иди, иди с Богом, да не задерживайся, к автобусу не запаздывай. А ежели что, то в баньке устроим, овчину подстелишь, да и переспшишь на лавочке.

— Не могу, завтра на работу выходить. Не беспокойтесь, непременно успею.

Она проводила меня до порога, хотела было запереть церковь громадным кованым ключом. Откуда ни возьмись, перед нами возникла странная фигура.

— Здравствуйте, матушка Анисия, а я к вам. Ну да, по личному.

— Здравствуй, здравствуй, Семен, ответила она, улыбаясь.

Семен стащил с головы беретку.

Я хотел вам доложить, че муку давать будут, может, вам взять?

Ежели будут, так почему бы не взять, а по сколько?

По два кило на руки.

Так что, тебе денег дать?

Рубля три хватит.

На муку не более двух надо, еще и сдача останется. Обманываешь ты меня, Сеня. Тебе на вино, видать, не хватает?

— Точно! Я ведь врать не умею. Седни праздничек, сами знаете, вот мы маненько и решили собраться. Да я к вам 5-го числа, как штык солдатский заявлюсь, можете не сомневатца.

Он говорил так искренно, что отказать ему было невозможно.

На вино дать не могу.

— Да я же, как штык, точно, ну?!...

— Сказала ясно, не могу дать на вино. — Вот обманул бы меня, тогда бы дала, — сказала Анисия.

Сеня как-то весь сник, начал теребить свой и без того измятый берет. Старушка, глядя на него, тоже расстроилась. Мне было неловко ему предложить и тоже стало не по себе, очень он был симпатичен, этот Семен.

— Ну, а что будешь делать, ежели возьмешь отпуск? —

вдруг, помолчав, спросила она.

Ей явно хотелось помочь Семену, да так, чтоб самой не впасть в грех, да ещё на преподобного Серафима.

— Возьму да подамся к матери на могилу. А после пойдем с дружкой в лес за шишками, имеется мечта подзаработать деньжонок.

— А сколько тебе нужно?

— Да рубля полтора бы хватило, — смекнул Сеня. — Ради светлого праздничка куплю пачку папирос и сгущёнки банку. Старушка ушла к себе. Семен шутливо подмигнул.

— Добрая ейная душа, токма подход к ней нужен. Беспременно дасть.

— Вот тебе, Сеня, два рубля, с уговором — не на вино дадено, на сгущёнку, понял?

— Как не понять!

Семен хотел было еще что-то сказать на прощание, да, видать, не нашел на радостях подходящих слов.

— Ну, так я пошел, ладно? Точно пятого, как штык! Можете не сомневаться!

Матушка Анисия улыбнулась ему вслед.

— Хороший он человек, услужливый, поклонный. Раньше не пил, а как Фрося померла... Ну что же, Бог простит и нас с ним, грешных.

Я взобрался на гору. Оттуда был виден во всю ширь и даль величественный Байкал. Неразличимы были только противоположные его берега. Листвянка внизу смотрелась крохотной деревенькой с игрушечной церковкой.

Тут я был, наконец, один и мог записать в блокнот свои мысли о том, что видел и о чем мне думалось.

Когда я спускался обратно, повстречалась маленькая девочка с большим букетом ромашек. Мы пошли вместе по узкой тропке. Подойдя к церкви, увидели большую группу японских туристов, приехавших из Иркутска. Японцы раздавали детишкам печенье. Тоненькие, как стебельки цветов, японочки пытались говорить по-русски "спасибо" и при этом виновато улыбались. Многие из них делали беглые зарисовки или наспех фотографировали всё, что им не попадалось.

Моя маленькая знакомая — Катенька — стала раздавать свои

ромашки. Бдительный гид-переводчик на всякий случай начал поторапливать гостей: время позднее, пора уезжать. А туристам хотелось ещё погулять, "поговорить" с приветливыми русскими людьми. Они все раскланивались, улыбались, говорили "спасибо", "досиданя", "хорёшё", "хорёшё!"... Наконец, их собрали и автобус тронулся. Из всех окон высунулись руки в прощальном приветствии... Мы с Катенькой тоже махали им вслед. Когда машина скрылась за поворотом, стали обмениваться впечатлениями.

— А я-то с Су-Ином сигаретами обменялся. Он мне свои с картинками, а я ему — наш "Север". Даже благодарил.

— Ну, ты даёшь!

— А я ему толкую: — Не меня сымай, я-то старуха, вон внучек сымай, они у меня пригоженькие.

И правда, внучки-двойняшки стоят того, чтобы их "сымали" на память. Совсем крохотные, с белыми волосенками, спадающими на глаза, с полуоткрытыми от удивления ртами, с розовыми лишайчиками на щеках и россыпями золотых веснушек на курносеньких носиках. В одинаковых ситцевых платышках и голубых ботиночках без шнурков.

— А до чего ж здорово рисовать умеют, прямо-те раз-раз, и готово. Матушку нарисовали, точно живую. Увидали отца Владимира, и его тоже на память.

— А тут вылез, как на зло, наш петух с курицей, так они и его нарисовали!

— Ну надо же!

Вечерело, повеяло прохладой, пора было и нам прощаться. Автобус отправлялся последним рейсом из села и стоял наготове по ту сторону речки. Отец Владимир вышел провожать своих гостей. Он был в черной рясе, с золотым крестом на груди, в черной бархатной шапочке на седой голове. Ветер трепал его окладистую бороду. Рядом с ним стояли матушка и дьячок. Поодаль махала рукой махонькая матушка Анисия.

И не мог я тогда предположить, что это была моя последняя встреча с этими чудесными людьми, светлой памяти которых я посвятил свой скромный рассказ.

Александр Ершов, Иркутск, 1973

*

Все растет и растет он, кладбищенский мой околоток,
И о мертвых веселая птица на ветке поет.
Отгуляешь свое, задерешь к облакам подбородок
И с торжественным пеньем отправишься в звездный поход.

Ну, а лет через сорок какой-нибудь Петька или Димка
Фотографию старую тронет ленивой рукой.
Я взгляну на него с пожелтевшего, ломкого снимка,
А он даже не спросит у матери кто я такой.

Мой потомок живой, понапрасну столкнулись с тобой мы,
Пусть твой день без помехи привычной пойдет колеей,
Ты с твоими друзьями — совсем из другой вы обоймы,
Все твои на земле, а мои уже все под землей.

Я свое отгулял, я отбыл на земле мои сроки,
Отчего же мне терпкою завистью сердце шемит,
Что ты можешь прочесть даже эти корявые строки,
А мое поколение забыло земной алфавит.

Для чего же всю жизнь это небо мы любим и славим,
Для чего эта синяя даль меня с детства звала,
Если здесь на земле все богатства свои мы оставим
Наши песни и мысли, мечты и слова и дела?

Иван Елагин

*

С ворохами рыжей рвани
Только что простились мы.
На космическом экране —
Черно-белый фильм зимы.

Я закашлялся от стужи,
Я прикрыл перчаткой рот,
Я, шагнувши неуклюже,
Угодил в снеговорот.

И, барахтаясь бессильно
В навалившемся снегу,
Я предчувствую, что фильма
Досмотреть я не смогу.

Иван Елагин

ПОЖИВЁМ ЕЩЁ...

Целый год пробыл Александр Павлович на острове Рюген. Каждый вечер, усталый физически и измученный морально, он забирался на койку, вытягивал ноющее тело и думал: "Вот и ещё один день прожил! Боже Ты мой, Боже! Как же живуч человек! Сколько таких дней я ещё могу выдержать?"

Ему вспоминались картинки из книги по древней истории. Строительство пирамид в Египте или сооружение акведуков в Риме. История повторялась. Тысячи рабов, забитых, запуганных, превращенных в голодных и злобных полузверей, а над ними — десятки вооруженных нагайками жестоких, безжалостных надсмотрщиков. Малейшее нарушение ритма работы, слово ропота, иногда просто взгляд или жест, не понравившийся надсмотрщику, вызывали град ударов, беспощадных и свирепых.

Силами советских военнопленных на острове велись довольно большие работы, проводились дороги, строились укрепления, склады. Советский Союз отказался присоединиться к конвенции Международного Красного Креста о военнопленных: Сталин заявил, что солдаты Красной Армии в плен не сдаются, а бьются до последней капли крови, и если кто-либо попал в плен, то он — изменник и нарушитель присяги. Пленные оказались вне закона.

Немцы обращались с пленными, в особенности в таком специальном лагере, с холодным математическим расчетом. Раб должен был отработать от 8-ми до 12-ти месяцев, после чего он был уже невыгоден. Паёк, содержание, охрана и прочие расходы были вычислены где-то в научных лабораториях Третьего Рейха.

Исчерпав установленный средний минимум, раб подлежал уничтожению. И действительно, в лагере редко можно было найти пленного со стажем больше года.

Каждый день мышинового цвета грузовик, покрытый таким же серым брезентом, отъезжал от лагеря к специально отведенному месту среди песчаных дюн. Под брезентом лежали трупы умерших за сутки пленных, а на брезенте сидели пленные, назначенные на работу по закапыванию мертвых. Здесь, среди дюн, ещё с вечера была приготовлена яма. Ещё живые рабы привычно, с тупым равнодушием вытаскивали трупы мертвых рабов, своих вчерашних товарищей, и симметрично укладывали их в яму головами в разные стороны. Пять трупов. Поливали раствором извести и присыпали песком. Потом второй слой, ещё пять трупов, и снова известь. Засыпали песком с небольшим холмиком на усадку. Сверху ставили небольшой столбик с номерной табличкой. Если трупов не хватало до нормы, яма оставалась незасыпанной до следующего дня. Под каждым столбиком с номером должно было лежать десять трупов, не больше и не меньше. Ученым мужам Третьего Рейха статистика не была чужда.

Приготавливали новую яму и известковый раствор — может быть, — для самих себя. Яма имела строго установленные размеры: два метра в ширину, два с половиной в длину, два с половиной в глубину, расстояние от соседней ямы — 5 метров. Устанавливали временные распорки, чтобы песок не осыпался. Для каждого расстояния были под рукой специальные жерди-мерки. Выкопав или зарыв, складывали весь инструмент и ехали в лагерь на обед; за эту работу получали "экстру" — один добавочный черпак супа.

Александр Павлович больше всего в лагерной жизни боялся назначения в команду так называемых "гробокопателей". Но так как, очевидно исходя из принципа равномерного распределения физической и моральной нагрузки на одну рабочую единицу, в команду "гробокопателей" назначали по очереди, то раз в полтора или два месяца там приходилось бывать.

После обеда "гробокопатели" не работали: Александр Павлович ложился ничком на свою койку и часами неподвижно лежал, иногда зябко поводя плечами. И даже не думал ни о чём. Перед его внутренним взором вставали то грязные босые ноги.

еще незасыпанные песком, то лицо, или даже только деталь лица. А чаще всего ему виделось его собственное тело. Вот две сумрачные фигуры стаскивают его длинное тело с грузовика и, негодуя на его тяжесть, волокут по песку к яме. Вот его сбрасывают в яму, он падает с характерным глухим звуком; одна из фигур прыгает вниз, выравнивает тело, руки, ноги. Рядом кладут сосуда, одного, другого, потом — известковый раствор. Молочно-белая густая жидкость струйкой льётся из ковшей, заливая углубления вокруг тела, потом самое тело, обращенное вверх лицо, незакрытые у многих глаза; потом — песок. И нет больше Александра Павловича Родина. Холмик, столбик, белая табличка с черным номером.

Сегодня поставили №31. Какой же номер будет над ним? 41 или 45? А может, удастся дотянуть до 50-го? А зачем? Зачем оттягивать этот неизбежный, уже такой близкий конец?! Почему не сделать так, как это сделал пару дней назад внезапно сошедший с ума, а может, внезапно понявший, что это — единственный путь к свободе, военнопленный раб, костлявый, заросший черно-серыми волосами, со светлыми голубыми глазами на темном горбоносом лице. Выхватив тяжелую кирку, он с диким ревом бросился на вахмана. Вахман даже не успел поднять свой автомат и в испуге перед внезапной атакой бросился бежать. Удар острием кирки по спине бегущего и короткая очередь из автомата другого вахмана произошли одновременно. Вахман умер через несколько минут тут же на песке, у него был переломан хребет. А пленный был сразу убит наповал.

После этого случая вахманы стояли на некотором расстоянии от пленных и ходили только парами, а удары их плеток сыпались чаще и свирепее. Но виновник всего этого был победителем, он был уже вне досягаемости для надсмотрщиков, он был уже на свободе!

Редко кто выбирал легкий и верный путь. Одицавшие, потевшие человеческий облик бывшие члены советской элиты — политработники, комиссары, коммунисты всеми силами цеплялись за жизнь. "Бытие определяет сознание", — сказал когда-то коммунистический пророк, и лагерное бытие вполне определяло их сознание.. За кусок хлеба, за лишние поллитра тюремной баланды, за закурку табака они могли сделать любую подлость.

Жили угрюмо, не веря соседу, затаившись и с оглядкой, как дикие звери.

В пять часов раздавались звонкие удары железного прута о подвешенный кусок рельса. Вахтманы с грохотом открывали засовы и ставни на окнах и дверях барачков. Пленные выбегали на площадку перед барачками, делали гимнастику, утреннюю зарядку — в любую погоду, а если шел сильный дождь, гимнастику делали в коридоре барачка.

Потом — проверка по комнатам, потом — завтрак: кружка жидкого супа, кружка чёрного эрзац-кофе без сахара, ломоть хлеба в четверть фунта с микроскопическим кусочком маргарина. На всё это — 30 минут. В 5:30 построение и назначение на работы. В шесть — развод по работам, в 6:30 — начало работ. В 9 первый перерыв, одна чашка кофе и одна галета в несколько грамм. В 12 — возвращение в лагерь, обед: литр супа, восьмушка хлеба, а два раза в неделю 3-4 варёных картошки. В 1:30 снова на работу. В 4 часа перерыв на 15 минут, но без пайка. В 6:30 — конец работы. В 7:30 ужин — варёная картошка, кусочек плавленого сыра, кофе, иногда вместо сыра — тонкий кусочек колбасы и кусок хлеба. В 8:00 отбой, барачки запирались. В 9:00 выключался свет, говорить можно было только шопотом, так как малейший шум немедленно вызывал репрессалии со стороны охраны.

И так изо дня в день. В воскресенье подъем на час позже. К пайку добавлялся кусок подозрительного качества мяса в четверть фунта и столовая ложка бурачного повидла. Проводилась фундаментальная уборка лагеря и комнат и целый день проверки. Проверка уборки, проверка имущества. Потом баня, обмен белья. Потом санитарный осмотр, и так до ужина. После ужина — час полного отдыха, потом отбой и... тишина.

Жил или, вернее, существовал Александр Павлович, как существуют черви в земле или плесень на камне. Он и думать как-то не мог ни о чем, что выходило за рамки повседневной жизни. Изредка ему вдруг вспоминалась Надя или дети. Иногда вдруг выплывало лицо Эльзы. Но все это было как в тумане — размытое, нереальное. У него теперь даже не было уверенности, да было ли все это в его прошлой жизни? Чтение книги в мягком удобном кресле, ожидание прихода Эльзы с работы, вечер-

ний чай, тихие разговоры, ночи такого полного, сумасшедшего счастья.

Да было ли всё это? Павлик, Лизутка, их синие глаза, заплаканное лицо Нади, когда они прошались ночью в Риге перед эвакуацией... Сил становится меньше и меньше. Какой же номер будет на его столбике?

Неделя за неделей тянулись однообразно и страшно. Время от времени кого-то вызывали на допрос, кого-то увозили из лагеря. Первые месяцы 42-го года лагерь держался примерно на одном уровне. Умирало по 4-8 человек в день, но и каждую неделю прибывало по 40-50 новых на смену увезенным серого мышинового цвета грузовиком. Но с середины года приток новых почти прекратился, и лагерь стал медленно вымирать. Всё больше и больше было по комнатам свободных коек. Последние пополнения привозили новости: немецкое наступление остановлено, кое-где немцы уже потерпели поражение, ни Москвы ни Ленинграда им взять не удалось. Лагерь плотно закрыт от внешнего мира. Охрана не имела права разговаривать с пленными, а уж тем более запрещалось любое общение с лицами вне лагеря.

Чаще стали бывать тревоги, чаще стали пролетать в бесконечной высоте, оставляя позади белые струйки конденсированного пара, стаи серебристых алюминиевых птиц. По всему побережью острова и с материка били зенитки, по небу рассыпались белые клубочки разрывов. Во время ночных тревог из барачков не выпускали, но днем работы не прекращались. Остров почти не бомбили, только один раз был налет на недалеком от лагеря расположенный городок с пристанью.

Александр Павлович молчал. Молчал на работе, молчал в бараке, даже с соседями по койке не говорил. Он не понимал, как эти люди, эти полумертвые рабы еще могут говорить, иногда даже смеяться, шутить, рассказывать разные истории, спорить. О чем говорить? О чем спорить? Все равно завтра или через неделю над тобой будет стоять столбик с черным номером на белой дощечке.

— Что это ты все, Белоногов, молчишь да молчишь? Скажи хоть, откуда, как тебя звать, где воевал? Эдак, друг, ты скоро

совсем рехнешься, — говорил ему сосед по койке, маленький, остроносый, со слезящимися карими глазками полковой комиссар Сильшов. — Поговори, поплачь, пожалуйся, о жене расскажи, о детях, если, конечно, были...

— Что ты пристал, говори да говори. Не о чем мне говорить. Сам знаешь, фамилия моя Родин, а не Белоногов... Спи лучше, — отвечал Александр Павлович. — Завтра снова будем бетонить, работа нелегкая, спи, набирайся сил.

— А... к дьяволу! Все равно ведь нет выхода. Ну, протяну еще месяц-два, от силы — три, а там загнусь! А если немцы станут драпать, так перед тем всех нас уложат пулемётами с четырех углов. Все здесь в песке будем сохнуть.

— Вот, вот! Я тоже об этом думал, — откликнулся другой сосед. — И придумал! Как начнут, это, они нас громить, я после первого выстрела прикинусь мертвяком и перележу между трупами, пока охрана не смоеется. Ей-ей, это может и удасться, эдак процентов на 75. Глядишь, и спасешься. — От возбуждения он даже сел на койке.

— Эх, есть о чем думать, 75 процентов! — махнул рукой Александр Павлович и с головой закрылся одеялом.

Соседи шепотом переговаривались, на дворе шумел ветер и дождь. В 1942 году осень была холодная, с пронизывающими ветрами, тяжелыми туманами, частыми дождями. Из-за дождя работы нередко отменялись и пленные целыми днями просиживали в бараках.

Немцы как-то обмякли, меньше стало свирепых расправ, поменялся и состав вахтманов. Здоровые ээсовцы постепенно исчезли, в охране было уже порядочно полуинвалидов, отбросов войны. Пленным выдали по второму одеялу, даже паек немного улучшился. Людей стало умирать меньше. Серый грузовик увозил теперь по одному — по два трупа, бывали дни, что и никто не умирал. Пленным выдали шашки, шахматы, игральные карты.

На Рождество два дня не работали, даже проверок не было. Потом произошло совершенно невероятное событие. На второй день Рождества в лагерь привезли старенького священника — эмигранта. Он отслужил обедню в столовом бараке. По окончании службы с ним попытались заговорить о новостях, но

священник испуганно замахал сухонькими ручками:

— Отойдите, рабы Божии, отойдите! Мне с вами говорить запрещено! Надейтесь на Бога и все будет хорошо. На Бога надейтесь...

— Да что он вам скажет, стерва старая, — грубо крикнул один из пленных. — Ишь, от страха уже в штаны намочил.

Священник совершенно растерялся, подхватил свой чемоданчик и в сопровождении дьячка, такого же старенького и испуганного, смешно засеменил к выходу, прикрываемый двумя приведшими его солдатами. В этот день пленным дали хороший суп, экстру хлеба и повидла. Впервые за долгие месяцы все почувствовали себя сытыми.

В первой половине января на утренней поверке фельдфебель ткнул стеком в грудь Александра Павловича и сказал:

— Ты! Остаешься здесь! Сегодня не работаешь! Понимаешь?

А переводчик добавил: — После завтрака пойдешь со мной в комендатуру. Ты там им нужен. Понятно?

— Понятно, — машинально повторил Александр Павлович и вышел из строя. "Что ещё? Какое ещё новое начальство на мою голову? Что им от меня нужно?"

Пленные разошлись по работам. Подошел переводчик.

— Эй ты, доходяга, топай за мной.

Родин поплелся за ним, еле передвигая от страха ноги.

Родина ввели в комнату начальника лагеря, хмурого пожилого лейтенанта; он редко появлялся в лагере, а если и приходил, то это всегда предвещало для пленных новые неприятности.

Лейтенант посмотрел на Родина и вдруг улыбнулся. Взял со стола бумагу и начал читать. Александр Павлович ничего не понял, он только разобрал повторенное несколько раз свое имя: "Александр Родин", с ударением на последнем "и". Наконец, лейтенант кончил и сделал жест в сторону переводчика, мол, переводи.

— Господин комендант получил сообщение, что ты действительно старший лейтенант береговой обороны Александр Родин, а не комиссар Белоногов. Это была ошибка, там где тебя арестовали, в Риге, что ли. Теперь ты переводимся из нашего особого

лагеря в другой, нормальный, обыкновенный, значит, лагерь для простых пленных. В какой-то Вольгаст.

Александр Павлович сразу обмяк, не устоял и мягко сел на пол. У него закружилась голова, из глаз потекли слезы. "Слава Богу, о, Господи! — шептал он. — О, Господи! Вот, наконец, освобождение".

Комендант сочувственно смотрел на Родина, покачивая головой.

— Ну, поднимайся, счастливец, — сказал переводчик. — Сегодня тебя отправят на берег. Давай, давай, не спать же ты тут будешь, — и он помог Александру Павловичу встать на ноги.

Александр Павлович пошел с переводчиком обратно в лагерь, собрал свои пожитки, сдал все в кладовую. Ему выдали его старую морскую форму, вещевую сумку, какую-то широкую, синюю, почти новую шинель. Выдали маршевый паек на один день. Он попросился с несколькими дневальными, оставшимися в лагере для уборки и пошел с переводчиком к воротам.

Переводчик был башкир и, как говорили, родился в Республике Немцев Поволжья, там и научился немецкому языку. Это был хмурый и свирепый человек, похуже немецких вахтманов. Но сейчас он вдруг стал разговорчив и даже доброжелателен.

Счастье тебе привалило, лейтенант! Не подохнешь здесь, в этой морилке. Наверно и правда, что тебя по ошибке зацапали. Там, — он многозначительно поднял палец, — там, в Берлине, все знают. Жаль, конечно, ошибка была, а ведь мог здесь свободно и загнуться, для этого вас сюда и свозят. Я тоже тебе не раз навесил, когда ты не отзывался на "Белоногова". Ошибка, значит. А вот, выяснилось. Зачем же хорошему парню пропадать вместе с этим падлом, с коммунистами. Батьку моего, фатера, значит, понимаешь, перед самой войной расстреляли, мамку тоже насмерть замучили чекисты, гады.

Переводчик привел Родина в комендатуру и оставил в комнате, где за столами сидели трое солдат, занимавшихся какой-то канцелярской работой. Они, видимо, уже знали о случившемся и весело подмигивали Родину. Пришел унтер-офицер, а с ним два солдата с сумками и винтовками, на руках и в петлицах у них

были значки ЭсЭс.

Бросив последний взгляд на лагерь, Александр Павлович в сопровождении своих вахтманов пошел по дороге к пристани, построенной пленными. На катерке пересекли небольшой залив, потом пару километров шли до железнодорожной станции Лаутербах. На станции было пустынно, стоял почти пустой поезд. Было тихо, с моря порывами налетал влажный ветер.

Сели в вагон. Рядом с Александром Павловичем у окна один солдат, напротив — другой. Александр Павлович читал названия станций — Берген, Замтенс. Потом был большой мост и большая станция.

Постояли с полчаса. Вагон наполнялся публикой. В купе, где сидел Александр Павлович, солдаты никого не пускали; проходящие по коридору пассажиры с интересом поглядывали на рослого худого рыжебородого пленного под охраной двух эсэсовцев.

“Почему меня вдруг нашли и стали проверять мое дело? Почему вдруг заинтересовались этим идиотским случаем ареста лже-комиссара Родина-Белоногова? Не могли же где-то там, в центральных канцеляриях, ни с того, ни с сего поднять уже забытое, годичной давности дело и вдруг начать новое расследование. Кто-то, наверно, подтолкнул”. И внутреннее чувство сразу подсказало: “Эльза! Да, только она могла это сделать”. В памяти снова всплыло ее лицо, каким он его запомнил в тот момент, когда его втаскивали в машину. Она что-то кричала ему, ее глаза были полны отчаяния и ужаса. Да, конечно, это Эльза.

Александр Павлович вдруг почувствовал себя удивительно спокойно. Ведь есть где-то на свете его Эльза, она думает о нем, добивается облегчения его участи. Значит, он не один в этом страшном озверевшем мире. И только одно сознание этого уже дает силы и волю.

Поезд остановился на станции Грейсвальд. Вышли из вагона и, не заходя в город, пошли вдоль путей в сторону красных кирпичных зданий, обособленно стоявших в поле. Через массивные ворота с орлами на серых бетонных столбах вошли во двор городка и через пару минут оказались в какой-то канцелярии. Солдаты оставили Александра Павловича одного; через

несколько минут в комнату вошел седой, небольшого роста, лет 55-ти обер-лейтенант.

— Здравствуйте, Родин, — сказал он на довольно чистом русском языке. — Мы выяснили, что вы не являетесь тем лицом, за которое вас приняли при задержании, и поэтому вы переводитесь из особого лагеря для политического состава Красной Армии в абсолютно другой рабочий лагерь. Этот лагерь тоже "особый". Это рабочий лагерь пленных инженеров. Вы умеете чертить?

— О да, конечно, и даже очень хорошо, — поспешно ответил Александр Павлович.

— Вот и прекрасно. Вы будете работать с чертежами. Требуется только ваше безусловное желание работать и тогда всё будет хорошо. — Обер-лейтенант говорил мягко, глядя поверх очков в золотой оправе; у него был типично профессорский вид. — Вас отправят в лагерь сегодня вечером. Это недалеко. Здесь, в этой комнате, вы будете до шести часов. Вероятно, вы хотите есть? Я могу приказать и вам принесут.

Александр Павлович хотя и не был особенно голоден, но по привычке пленного тотчас же утвердительно кивнул головой.

— Хорошо, я прикажу, и вам принесут поесть. Меня зовут зондерфюрер Цейхель, можете называть меня просто "господин зондерфюрер". Пока вам принесут еду, вы можете почитать, мы имеем здесь русскую библиотеку. — Он открыл большой шкаф. — Вы можете выбрать. Я буду работать в соседней комнате.

Зондерфюрер ушел в свою комнату, оставив за собой дверь приоткрытой. Было слышно, как он говорил по телефону.

Александр Павлович подошел к шкафу. Как много книг! И Толстой, и Достоевский, и Куприн, и Чехов, и много других знакомых имён. Но было и много незнакомых — Краснов, Алданов, Сабурова, толстые журналы, изданные в Берлине, в Париже, в Цюрихе. Взяв с полки один из журналов, Александр Павлович сел к столу и углубился в чтение.

Открылась дверь и в комнату вошел небольшого роста, очень упитанный краснощекий парнишка в широких африканских шароварах и кушем мундире голубого цвета. В руках у него был котелок с крышкой и сверток. Он подмигнул Родину и громко сказал в дверь:

— Господин зондерфюрер, я принес обед.

— Хорошо, Степанов, очень хорошо. Можете поговорить с господином Родиным, если хотите, — откликнулся из своей комнаты Цейхель.

— На, дружок, шамовку. Ты что, моряк, что ли? Откуда? Чего ходишь с такой бородищей? Новенький... ишь, худой какой! Когда в плен-то попал? — засыпал вопросами Степанов, садясь на край стола. Вдруг, что-то вспомнив, соскочил со стола и уставился на Александра Павловича своими детскими круглыми глазами.

— Так ты этот самый, с Рюгена? По ошибке, значит, там целый год вшей кормил, в морилке этой, на Рюгене! Ах ты, сердечный! Ну, дела!

— Да, тот самый. Вот и бороду в знак протеста отрастил, — усмехнулся Александр Павлович.

— Здесь тебе, кореш, будет хорошо. Здесь у нас просто курорт! Это Шталаг, понимаешь, ну, вроде центра. Здесь все, браток, в основном сидят, французы, бельгийцы, сербы всякие. Вот у кого житуха! Немецкой похлёбки просто в рот не берут! Все, брат, жрут посылки Красного Креста! Шоколад, мясо, колбаса там всякая, сухое молоко, фрукты, сигареты эти. Как в санатории для ответственных партийцев было, у нас в Крыму. Нас, русских, здесь 32 человека. Работаем на кухне, в портняжной, в сапожной мастерской, а те, которые ученые, интеллигенты, значит, шесть человек их, так они в картай-бюре. Живем здесь прочно. Вишь, какую я тут морду отъел за полгода? А то был совсем дохлый, умирать собирался. — Он самодовольно хлопал себя по толстым блестящим щекам. — Вот бы тебя здесь оставили, лошел бы в картай-бюру, ты ведь тоже интеллигентный. Да нет, пошлют тебя в Вольгаст, там вашего брата уже порядком набралось, и все инженеры. Там, браток, — Степанов понизил голос, — немцы выдумывают какое-то новое оружие, думают этим новым оружием побить Англию и Америку. У них у самих умишка не хватает, так набрали наших советских спецов. Только навряд ли наши ребята им много помогут, не захотят, я думаю, чтобы немцы побили Англию с Америкой. Как ты полагаешь? Не захотят, а?

Не знаю, дорогой. Я ведь целый год никого и ничего...

— Я всё-таки полагаю, что Америка немца прихлопнет,

сломает она хребет немцу! Это будь уверен, а потом и Кремль прочистит — кого к стенке, кого к чертовой матери, в Сибирь. А нам, народу, свободу Америка даст, попомнишь моё слово, это все здесь знают. Ну, я побег, а то наш кухонный шеф заругается, он у нас бедовый, чуть что не по нем, так огреет пробным ковшом, что пропеллером завертишься.

Александр Павлович с аппетитом съел все, что принес парнишка и снова закурил. Хорошо было чувствовать себя сытым, сидеть в чистой комнате с книгой в руках.

Около пяти часов вечера в комнату вошел одетый в советскую морскую форму командира, но без всяких знаков различия и без фуражки плотный молодежавый человек с лысой головой и острыми карими глазами. Прекрасно отутюженные брюки, подогнанный по фигуре китель с белым подворотничком, ярко начищенные полуботинки. На вид ему было лет 30-35, в руках он держал конторскую папку и увесистый сверток в рыжей оберточной бумаге. Он протянул Александру Павловичу руку и отрекомендовался:

— Гранде, Владислав Михайлович. А вы — Александр Павлович Родин? Будем знакомы. — Вашу историю, Александр Павлович, я знаю в общих чертах из документов. Я здесь работаю в Kartei Büro Stalag'a и ведаю русским отделом, поэтому многие документы, не имеющие секретного значения, проходят через мои руки. Тяжело вам там было?

— Да, досталось порядочно.

— Так как у нас мало времени, я сразу же сообщу вам все, что я знаю. Знакома ли вам фамилия Гатенау? Капитан немецкого флота Генрих фон Гатенау? Нет? Странно! Именно он и есть ваш спаситель. Он настоял в Берлине на расследовании вашего дела и, как видите, добился благоприятных результатов.

— Я не знаю никого с такой фамилией.

— А это имя, — Гранде развернул папку с бумагами, Брюно, госпожа Эльза Брюно?

Александр Павлович вскочил с места:

— Ради Бога, что с Эльзой, с госпожой Брюно? Я ее очень хорошо знаю, это моя двоюродная сестра, нет, сводная сестра.

— Ах вот оно что, ну, теперь ясно. Гатенау действовал по просьбе или по настоянию этой дамы... вашей сводной сестры.

Прочтите, — и Гранде протянул Александру Павловичу одну из бумаг.

— Я плохо читаю по-немецки, мне и со словарем пришлось бы разбирать эту бумагу два часа, пожалуйста, прочтите вы.

Пока Гранде читал, Александр Павлович думал: "Эльза, дорогая моя зеленоглазая Элси, снова ты спасаешь меня. Мой ангел хранитель, мое счастье..."

— Она очень энергичная, — вслух сказал Родин, — и очень любит меня. Она взяла меня на поруки, когда я попал в плен там, под Ригой. О, вы не знаете, что такое Эльза! Если она взялась за дело, можете быть уверены, что успех обеспечен.

— А у вас с вашей сводной сестрицей, видно, сильная привязанность... любовь, — заметил Гранде. — Что ж, может, и действительно она сумеет со своей энергией освободить вас из плена. Уже то, что вас перевели с Рюгена в Вольгаст... это почти невероятно! Даже немцы поражены этим делом. В канцеляриях лагерей вы — знаменитость. Ну ладно, теперь о Вольгасте. — Гранде пододвинулся к Александру Павловичу и стал говорить тише. — Я хочу сказать вам кое-что об этом месте. Что там делается, мы, конечно, не знаем, но все говорит за то, что там, на острове против Вольгаста, в районе Швенемюнде есть большие военные лаборатории, которые интенсивно работают в области создания каких-то новых видов вооружения, как будто ракетного. Там организовано несколько небольших рабочих лагерей. Один из них, в Вольгасте, — для инженеров. Там уже больше 60-ти человек. Лагерь чистый, до известной степени даже комфортабельный, паек, правда, слабоватый, но не голодный. Там устроена великолепная чертёжная. Пока еще там не работают по-настоящему, а так, приучаются снова держать ресфедер в руках. Есть интеллигентные и симпатичные люди, рекомендую вашему вниманию майора Афанасьева, капитана Мельникова и майора Шегова. Майор Шегов — старшина чертёжного зала. Начальник лагеря, фельдфебель Радац, по-моему, либо мерзавец, либо психически больной. Инженер от фирмы, Мейхен — явный авантюрист. Но жить там, конечно, лучше, чем в любой другой рабочей команде.

Есть ещё в Вольгасте зондерфюрер Фетцер, русский немец, по-моему, тоже сукин сын и, конечно, гестаповец, но к русским

пленным относится прилично. Мы с лагерем имеем регулярную связь. Время от времени кто-нибудь из нас там бывает, привозим свежие книги и забираем прочитанные, так что еще встретимся.

В комнату вошел солдат с карабином и сумкой.

— Будьте здоровы, Александр Павлович, — попрощался Гранде. — Это ваш сопровождающий. Вот, мы наскоро приготовили тут для вас кое-что....

— Спасибо, за все спасибо, а в особенности за сведения об Эльзе, это так много для меня значит, — растроганно благодарил Александр Павлович.

Солдат был очень пожилой, угрюмый, с покалеченной левой рукой. Через час приехали в Вольгаст. Снова чистенький вокзал, площадь. Редкие прохожие. Шли по пустым и тёмным улицам города, кое-где освещённым синими лампочками. Александр Павлович впереди, солдат позади, с карабином наизготовку.

Когда Александр Павлович ускорял шаг, солдат начинал ворчать:

— Nicht zu schnell, Donner wetter, nicht zu schnell!

Пройдя мимо какого-то завода, темного и молчаливого, уперлись в запертые ворота. На фоне неба торчал силуэт вышки, забор из колючей проволоки, лаяла собака. Из темноты послышался оклик. Солдат ответил. Открылась дверь, в глаза ударил яркий свет. Вошли в комнату. За столом сидел худой, очень шеголевато одетый фельдфебель. Фельдфебель прочитал сопроводительные бумаги, с любопытством оглядел Александра Павловича и стал что-то спрашивать, но сообразив, что Александр Павлович ничего не понимает, махнул рукой и вызвал солдата.

— Zum Stube zwei.

Солдат отвел Александра Павловича в барак. В темном помещении стоял спертый теплый воздух, слышно было сопение и похрапывание спящих.

— Schegoff, Schegoff, — позвал солдат, noch eine gefangene!

Он осветил фонариком слезшего с койки второго яруса худого стриженного пленного.

— Шегов, майор, старший комнаты, — представился тот.

Его освещённое фонарём лицо с длинным носом и небольшими усами было хмурым и недовольным. Он подал руку.

— Родин, Александр Павлович, старший лейтенант береговой обороны. Рад, что попал к вам в комнату, мне о вас говорил Гранде.

— Очень рад, — сухо ответил Шегов. — Вот ваша койка, в нижнем ярусе. Укладывайтесь и не шумите. Подъём в пять тридцать, еще наговоримся, времени у нас хватает.

Солдат ушел. Громыхнул засов на двери, в комнате стало темно и тихо. Шегов полез на свою койку. Александр Павлович, стараясь не шуметь, стал раздеваться.

Спокойной ночи, господин майор, — вполголоса сказал он.

Спокойной ночи, — ответил Шегов.

Кто-то проснулся и, шлёпая босыми ногами, прошел в угол комнаты к параше. Сделав свое дело, протяжно зевнул и хрипло спросил:

— Новый?

— Да, новый. Не шуми, Василий, разбудишь народ, — ответил Шегов.

Александр Павлович растянулся на койке. "Хорошо! Вольгаст — хорошо, Гранде — тоже хорошо. И этот носатый Шегов... очень хорошо! И Эльза... О, Боже, как всё прекрасно устроилось. Ушла в прошлое морилка на Рюгене, и ямы, и песчаные холмики с белыми дощечками и черными номерами. О, как хорошо, тихо и спокойно. Что же, поживём ещё".

Он заснул, как убитый, и, не просыпаясь, проспал без сновидений до самого подъема.

П. Палий

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Хомяков. Алексей Хомяков (1804-1860) был, прежде всего, выдающимся мыслителем, богословом. Бердяев назвал его рыцарем православия, а для Герцена он — "бреттер диалектики". О. Георгий Фроловский считал Хомякова одним из самых основательных истолкователей православного учения. Он несомненно, был многим обязан Гегелю и другим немецким мыслителям, но его апология православия опиралась на верно понятое учение Отцов Церкви и на его горячую веру. При этом любому авторитету (включая церковный) он противопоставлял свободу — не как право, а как обязанность ("*Пути русского богословия*").

В стихах Хомякова много поэтических шаблонов и философских абстракций. Но есть лирическая энергия в его дольниках: "Муж силы, молния брани" (Наполеон). Еще энергичнее его критика России:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

У Хомякова сердце обливалось кровью, когда он обличал грехи России. Но он верил:

О, недостойная избранья,

*См. "Н. Ж.". № 150. 154.

Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,

А злобным смехачам, вроде Терца-Синявского, Россия
видится жабой и сукой...

Веневитинов. Рано умершего Дмитрия Веневитинова (1805-1827) оплакивали в стихах многие поэты: его близкий друг Хомяков, И. И. Дмитриев, Дельвиг, Туманский, А. И. Одоевский, Языков, Кольцов, Лермонтов, Некрасов.

Он был безнадежно влюблен в прекрасную и одаренную княгиню Зинаиду Волконскую. Она посвятила ему французское стихотворение. Стихи Веневитинова, обращенные к этой "царице муз", как называл ее Пушкин, шаблонно-поэтичны. Его философическая поэзия удачнее эротической.

Как ни талантлив был Веневитинов, своего собственного поэтического языка он создать не успел.

Многие поэты той эпохи воспевали "власть мгновения" (Шиллер, романтики). Юный Веневитинов очень по-своему "воскресил" "миг" в таких, сразу запоминающихся стихах:

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай.
На каждый звук ее призывный —
Отзывной песнью отвечай!

Эта строфа останется в русской поэзии, как и другая, может быть, вдохновленная Шеллингом, создавшим миф о поэте-пророке:

Немного истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выпренных уроков,
С глаголом неба на земле.

Стихи о пророке писали Пушкин, Лермонтов, но истинными пророками — совестными судьями своего народа (и даже человечества) стали не эти поэты, а Достоевский, Толстой.

Бенедиктов (1807-1873). — Что стоит Бенедиктов? — спросил

у приказчика московский студент Фет.

— Пять рублей, да и стоит. Это почише Пушкина-то будет.

Целый вечер, — вспоминает Фет, — мы с Аполлоном Григорьевым с упоением завывали стихи Бенедиктова.

Декабрист Николай Бестужев писал в 1836 г.: "У него... мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же".

В 30-х гг. Владимир Бенедиктов был в ореоле славы. Но популярность его была недолговечной. На него наложил свое, для многих тогдашних читателей абсолютное, вето Белинский. Он издевался над галантерейным стихотворством Бенедиктова. Высмеивал его пошловатую эротику, вроде: "Под левою девственник топчется, ходит..."

Спрыгнув с коня, эта "Наездница" (так называется стихотворение)

...в сладком волненьи

Кидается бурно на пышный диван.

У Бенедиктова не было настоящей культуры, как у поэтов золотого века русской поэзии. Но и у критиковавшего его Белинского не доставало культурной ориентации.

Кое-что у Бенедиктова ценили Жуковский, Вяземский, Тютчев; Пушкин относился к нему скептически. Достоевскому нравилась его ловко составленная метафорическая карта России:

С финских скал до Арарата.

Чудный край! Через Алтай

Бросив локоть на Китай,

Темя вспрыснув океаном,

В Балт ребром, плечом в Атлант.

В полюс лбом, пятой к Балканам —

Мощный тянется гигант.

Яков Полонский издал словарь неологизмов Бенедиктова.

Был вульгарный, претенциозный Бенедиктов, но есть и Бенедиктов серьезный, вдумчивый. Замечательны его размышления о смерти:

Видали ль вы преображенный лик

Жильца земли в священный миг кончины

В сей пополам распределенный миг,

Где жизнь глядит на обе половины?

Особая, слегка наивная интонация слышится в следующей строфе Бенедиктова:

Плывут мореходцы — и вдруг озалачен
Их взор выступающим краем земли;
Подъехали: остров! — Но он не означен
На карте: они этот остров нашли.

Разделенному пополам мигу и озадаченному взору мореходцев могли бы позавидовать поэты XX-го века!

Бенедиктова называли: поэт-чиновник. Он 26 лет прослужил в министерстве финансов не за страх, а за совесть, и иногда ночами работал для взыскательного министра, графа Канкрин.

Павлова. Каролина Павлова (1807-1893), урожденная Яниш. Ее отец и мать — московские немцы. По тогдашним понятиям поздно, тридцати лет, она вышла замуж за литератора Н. Ф. Павлова, который признавался, что "женился на деньгах", оставленных Каролине Карловне богатым дядей, который расстроил ее брак с бедным поляком Адамом Мицкевичем.

В 40-х гг. в Москве славился салон Каролины Павловой. Злые языки укоряли ее за претенциозность и за то, что она, будто бы, сплетничала даже о грудных младенцах. Но ее ценила и с нею беседовала чуть ли не вся русская литература того времени: Вяземский, Баратынский, Языков, Гоголь, Хомяков, Аксаковы, Герцен и др. В противоположность Бенедиктову, она, несомненно, была в курсе европейской литературы и знала несколько языков.

Павлова блистала диковинными рифмами. Использованное ею созвучие "Колумб-румб" позднее повторил Гумилев, а "тигр-игр" — Маяковский. Поражает ее словесная изобретательность: "Тьмушею тьмою бегут их громады" (волны); "И вальса мчалась вьюга". В ее поэме "*Кадриль*" удачно обыграны, как и в "*Евгении Онегине*", разговорные слова и интонации. Графиня говорит на балу:

"...Как белый бархат рядит Олю!"
И язычкам своим дал волю

Очаровательный кадрили...

Мать одной из героинь:

С письмом и, на меня с улыбкой глядя,
Спросила тотчас: "Хочешь ли ты, Надя,
Женою быть Андрею Ильичу?" —

Меткая характеристика одного из героев:

Но дивно шло к бровям тем строгим
Противоречье кротких губ.

Или эта, совсем "акмеистическая деталь":

Ковра цветные арабески
И у дверей, сквозь полумглу,
Отливы алой занавески...

Протестантка Павлова живо ощущала величие православной Руси-России:

Входил, крестясь, в собор Успенский
И знаменитых предков сын,
И бедный плотник деревенский,
И миллионщик-крестьянин.

Каролина Павлова была холодной в творчестве, и, видимо, также и в жизни. Хотя ее лирика не задевает глубоко, но нельзя не восхищаться ее мастерством, оцененным в нашем веке Брюсовым, издателем-редактором ее сочинений.

Кажется, Каролина Павлова по-настоящему любила только раз, уже в осенние свои дни, когда ей было далеко за сорок. Мы не знаем, был ли ее роман с дерптским студентом Борисом Утиным (1831-1872) только платоническим; в стихах, посвященных ему, ощущается несвойственная ей теплота, нежность ("Одни, и тихие мы с вами..."). Но настоящей любовью и страстью Каро-

лины Павловой оставалась всю ее жизнь поэзия:

Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!

Эти стихи восхищали Марину Цветаеву.

Гоголь (1809-1852). Подзаголовок "Мертвых душ" Николая Гоголя — поэма. В ней встречаются строчки определенного размера, например, анапесты: "Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе..." (в монологе Ноздрева), и слышатся хорей:

Только где-нибудь в окошке
Брежит огонек...

Но эти признаки неубедительны, как и стихотворные строчки или рифмы в романах Тургенева, Достоевского. Причисляю Гоголя к поэтам потому, что свою прозу он проверял на слух и каждое слово взвешивал, как это делают поэты. Известный гоголист Д. И. Чижевский говорил мне: "Помогите найти ключ к ритмической речи Гоголя" Я искал и, конечно, да и к счастью, этого ключа не нашел. Незачем сводить великое искусство Гоголя к каким-то правилам... Вместе с тем, несомненно: есть ритм и в гоголевской прозе, преимущественно в лирических отступлениях. Вот описание запущенного сада в главе о Плюшкине. Так иногда "нарезается" и «*Слово о полку Игореве*». При этом не настаиваю на правильности моих нарезок.

Белый колоссальный ствол березы,
Лишенный верхушки,
отломленной бурей или грозой,
подымался из этой зеленой гуши
и круглился на воздухе,
как правильная мраморная сверкающая колонна;
косой остроконечный излом его,
которым он оканчивался кверху вместо капители,
темнел на снежной белизне его,

как шапка или черная птица.

Хмель, глушивший внизу
кусты бузины, рябины и лесного орешника,
и пробежавший потом по верхушке всего частокола,
взбегал наконец вверх
и обвивал до половины сломленную березу.
Достигнув середины ее,
он оттуда свешивался вниз
и начинал уже цеплять вершины других деревьев
или же висел на воздухе,
завязавши кольцами
свои тонкие, цепкие крючья,
легко колеблемые воздухом.

Современным дикторам, декламаторам, актерам не под силу воспроизвести эту великолепную ритмическую речь. Уже не без труда вспоминаю, как читал Гоголя старый А. М. Ремизов: звонко, четко и несколько сдвинуто.

"*Мертвые души*" — поэма движения. Даже в растительном мире плюшкинского сада, пусть и медленно, но *пробегают* хмель, а в эпилоге — кульминация движения: "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, *несешься*?" И это тоже — стихи. В апофеозе поэмы "хохол" Гоголь, втайне недолюбливавший "кацапов", явно вдохновился русскими просторами (хотя могли подтолкнуть его и карьерные соображения). Что и говорить, гоголевская тройка чудо как хороша, хотя и подпорчена бесенком хвастовства (шовинизмом). Может быть, один из высших образов красоты у Гоголя — плюшкинский сад. Там дикая природа (романтика) была когда-то упорядочена искусством (классикой), и вот возникла новая красота — не романтическая, не классическая, а скорее всего, барочная — затейливая, причудливая, явленная в пространственных речах со сложным синтаксисом, со многими причастиями: так по-русски не говорят и никогда не говорили. Это книжный стиль, созданный украинскими учениками Киевской духовной академии. Они насаждали эту выпяченную риторику в Московской Руси XVII-го века и в Петербургской России XVIII-го. Но словарь барочно-пышного Гоголя — не высокостильный, а зачастую самый низкий, грубый,

как в барочных одах обожаемого им Державина. Так, в той же плюшкинской главе *"Мертвых душ"* есть другое лирическое отступление, где Гоголь вспоминает свое детство — приезд в город. Здесь тоже длинные фразы с барочными шлейфами причастий. Попробую опять "нарезать":

...и, высунувши нос из походной телеги своей,
я глядел
на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука,
и на деревянные ящики с гвоздями,
серой, желтевшей вдаль, с изюмом и с мылом,
мелькавшие из дверей овощной лавки
вместе
с банками высохших московских конфет,
глядел
и на шедшего в стороне
пехотного офицера,
занесенного Бог знает из какой губернии,
на уездную скуку, и
на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках
и уносился мысленно
за ними
в бедную жизнь их.

Эту, казалось бы ничем не примечательную прозу Гоголь торжественно-важно подает на том же великолепном барочном блюде, что и плюшкинский сад, и Россию-Тройку. Он везде ищет и часто находит праздник для глаз, движение ли медленного хмеля, или — мчащихся лошадей.

Героев и героинь Гоголя называют пошляками, да и он сам считал их таковыми... Но кое-что следует здесь пересмотреть.

Гоголь сказал о Чичикове: плут, но и — хозяин, приобретатель. Так ли он отрицателен? Гоголь намекает, что при других обстоятельствах Чичиков мог бы обойтись без мошенничества, занимался бы полезной деятельностью. Но преобразование Чичикова из плута в праведника Гоголю во второй части *"Мертвых душ"* не удалось. Дадим здесь историческую справку. Во второй половине прошлого века в России появилось немало хозяев-приобретателей — честных купцов и заводчиков.

Они наживали деньги не ради пошлого комфорта, к которому стремился Чичиков (жена-розанчик, детки, похожие на него, душистое мыло...). Известны собиратели картин — Третьяков, Морозов, Шукин. Купеческий сын Станиславский-Алексеев обновил театральное искусство. Правда, Чичиков был из числа нуворишей, но в случае удачи, кто знает, может быть неосуществившиеся маленькие Чичиковы могли бы покупать еще непризнанных Сезаннов и Матиссов.

Чичиков льстиво вторит собеседникам, он — хамелеон. Но вот, самодовольно просматривая списки благоприобретенных мертвых душ, он доходит до реестра Плюшкинских живых, беглых душ и, неожиданно отождествляясь с самим Гоголем, задумывается о судьбе Абакума Фырова, может быть, приставшего к волжским бурлакам. И... *пошла писать* гоголевская фантазия: "У веты и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага..." — читателю преподносится великолепно-вычурная барочная фраза с причастиями.

Ноздрев — из тех, которые "начинают гладью и кончают гадью". Но и он — словесник, упивающийся звуковыми повторами. Охотник до клубнички, он вспоминает актрису — она, каналья пела, как *канарейка*. Ему мерещатся разные звучно-вздорные *рюши-трюши*, или *субтильное сюперфлю*. Оказывается, хамы тоже не чужды поэзии.

Молчаливый хозяйственный Собакевич неожиданно обретает "рысь и дар слова", становится поэтом, выхваливая свои мертвые души, например, плотника Степана Пробку: "Ведь что за силища была...".

Коробочка неплохо выпевает гастрономические арии о *загнутиях* пирогов, хотя ей далеко до Петра Петровича Петуха, певца кулебяк и растегайчиков.

Глуп сахарный Манилов, но "глупцы не чужды вдохновенья" (Баратынский), и Манилов забавно мечтает о том, как Государь наградит его за дружбу с Чичиковым...

А почтмейстер (автор повести о капитане Копейкине), предвосхищая смехачей Хлебникова, извлекает из карточной масти пять неологизмов: пики-пикенция, пикендрас, пичурушух, пичура, пичук.

Сложный синтаксис, ритмическая речь есть и в ранних по-

вестях Гоголя, и их можно назвать поэмами. Когда-то гимназисты выучивали наизусть этот гоголевский пассаж: "Чуден Днепр при тихой погоде" ("*Страшная месть*"). Здесь прославляется романтическая идеальная красота, словарь однообразен (высокий стиль, но без архаизмов). Впоследствии Гоголь снизил словарь и удлинил фразу.

Барочны многие ошеломляющие сравнения и гиперболы Гоголя (его кончетто!). На балу у губернатора дамы — "сияющий рафинад", а кавалеры во фраках похожи на мух. Неожиданно и даже кажется авангардным вот это сравнение: день был "какого-то светлосерого цвета, который бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням". Здесь характеристика гарнизонных солдат (их поведение) — ни к селу, ни к городу, но в этом абсурде есть комизм, есть прелесть. Иногда Гоголь шеголял неаппетитными сравнениями, и это — гротескный прием. У барочного Джона Донна храма (temple) любви — блоха, напившаяся крови обоих любовников. У Гоголя находим таракана величиной со слона ("*Вий*"), а другой — с ржаной хлеб хлеб ("*Мертвые души*"). Д. Донна Гоголь не знал, но знал и ценил Державина, у которого упоминаются вши.

Украинскому фольклору Гоголь мало чем обязан. Чижевский выяснил: Вя Гоголь выдумал (чего не знает Терц-Синявский).

Как ни крути, "*Мертвые души*", так же как и "*Горе от ума*", — сатира, но это и высокая поэзия; поэтому грибоедовские и гоголевские пошляки, Фамусовы и Скалозубы, Чичиковы и Собакевичи, даже Ноздревы будут (вместе с Гоголем) оправданы на том Страшном Суде слова, о котором писала Марина Цветаева ("*Искусство при свете совести*").

Гоголь подсказывает читателю свое истолкование "*Мертвых душ*": он озирает в поэме "громодно-несущую жизнь" "сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы". Я этих гоголевских слез не узрел. И не так уж часто я смеялся или усмеялся. Но при громком чтении его "периодической" речи меня зачастую переполняло восхищение. Это ли не великий пир русского языка, русской поэзии!

"*Мертвые души*" — повесть, названная поэмой, "*Евгений*

Онегин” — поэма, названная романом в стихах. Вещи как будто несравнимые, но таких вот словесных пирогов не было и не будет в русской литературе. Иностранцам, не знающим русского языка, на этих пирах нечего делать. Их оттолкнет “риторика” *“Мертвых душ”* и “банальность” *“Евгения Онегина”*. До сих пор мы экспортируем преимущественно Толстого, Достоевского, Чехова. Но многим из нас ближе, роднее Пушкин и Гоголь. Их трудно сравнивать: пушкинская классика имеет мало общего с гоголевской барочностью. Но оба они, несомненно, стоят в зените нашего золотого века. Лермонтов — уже падение с высот: может быть и гений, но тугоухий.

Баратынский стремился к уединению в кабинете или в саду. Гоголя мучило страшное одиночество. Ему хотелось выйти из своего мрачного подполья. Он и выходил в творчество, в поэзию быстрой езды на тройках или медленного движения хмеля. Ему хотелось выйти к людям. Но холодные поучения не принимали его друзей.

Любил ли кого-нибудь Гоголь? О своей привязанности к юному умирающему графу Иосифу Виельгорскому он говорит очень уж сладко-сентиментально, языком Манилова (*“Вечер на вилле”*).

Розанов укорял Гоголя за бездушность: да, *живые* души ему не удавались, хотя он и вкладывал в их уста живые речи.

Вера Гоголя — мрачная, затемненная боязнью Страшного Суда. Мережковский утверждал, что Гоголь верил в черта и его боялся. Может быть. Чужая душа — потемки, в особенности гоголевская. Но гоголевская “поэзия пошлости”, как ее называл Иннокентий Анненский, есть великое торжество русского языка.

Самая человечная повесть Гоголя — *“Старосветские помещики”*. Жизнь их — растительная. Афанасий Иванович постоянно спрашивает: — “Чего бы такого поесть, Пульхерия Ивановна?”. Мы, дышащие отравленным воздухом XX-го столетия, могли бы хорошо отдохнуть на хуторе у старосветских помещиков, отдохнуть не только телом, но и душой. Под именами Филемона и Бавкиды, хотя гораздо скромнее, они счастливо жили в *“Метаморфозах”* Овидия и снова ожили в буколке Гоголя. Поистине, они любили друг друга бессмертной любовью, лишенной страсти и похоти великих любовников,

будь то Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Но не превосходят ли их нежностью?

В «*Старосветских помещиках*» делают музыку поющие двери их обветшалого жилища:

Как только наставало утро,
Пение дверей раздавалось по всему лому.

но замечательно то, что каждая дверь
имела свой особенный голос:
дверь, ведущая в спальню,
пела самым тоненьким дискантом;
дверь, ведущая в столовую,
хрипела басом;
но та, которая была в сенях,
издавала какой-то странный дребезжащий
и вместе стонущий звук,
так что, вслушиваясь в него,
очень ясно, наконец, слышалось:
батюшки, я зябну!

Здесь ритмическая речь лишена барочных затей, приличествующих запущенным садам и бешеным тройкам. Это пение дверей просто, мирно вторит неприметной, но и бессмертной любви старосветских помещиков.

В последней главе "*Мертвых душ*" оскандалившийся Чичиков навсегда покидает город. Ему встречается погребальная процессия. Хоронят прокурора, у которого "всего только и было, что густые брови". Правда, он еще как-то забавно моргал, точно хотел сказать: пойдите в соседнюю комнату, я вам что-то скажу... Покойного прокурора мы не жалеем, — он ведь по-настоящему не жил. Но разве мы не оплакиваем недалеких, но милейших Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича: они-то на самом деле жили, потому что — любили.

А кого любил Гоголь? Едва ли он любил *кого-то*, но, несомненно, *что-то* — русский язык. И стал его великим мастером-волшебником.

Алексей Кольцов (1809-1842). Если какому-нибудь поэту

или даже графоману прочесть несколько кольцовских песен или дум, а потом запереть на несколько часов, он, несомненно, напишет сносное стихотворение под Кольцова. Нехитрое дело — подбирать излюбленные Кольцовым трехстопные хорей. В его стихотворениях не чувствуется сопротивление материала. Куда труднее подделываться под стилизованные народные стихи Дельвига ("Не осенний частый дождичек...") или Некрасова ("Жило двенадцать разбойников...").

В жизни Кольцов был несчастлив. Но современниками он был замечен. Его открыл Станкевич, его признала "литературная аристократия" — Жуковский, Вяземский, Пушкин, а также и "демократический" Белинский. Все они ждали народного певца и вот он, наконец, явился! Насколько Кольцов был народен? Горожанин, воронежский мещанин, он по делам отца-прасола (скотопромышленника) поездил по России и знал крестьян.

Его песни и думы народны по языку, но не всегда — по тематике. Крестьяне редко воспевают сельский труд, вдохновлявший Кольцова (кн. Д. П. Святополк-Мирский). Мое поколение, воспитанное на хрестоматии Острогорского ("*Живое слово*"), еще отзывается на Кольцова. Что-то нам говорит: "Ну! тащися, Сивка...". В особенности:

Уроди мне, Боже,
Хлеб — мое богатство!

Или эти лирические вопросы: "Что ты спишь, мужичок?"

Или — на смерть Пушкина:

Что, дремучий лес,
Призадумался...

До Кольцова так народен был *Николай Цыганов (1797-1835)*, провинциальный актер из крепостных крестьян. Прославила его только одна песня (с рифмами):

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан.

Лермонтов (1814-1841). Может быть, еще не вымерли

читатели, которые готовы были сравнивать "наших великих поэтов Пушкина и Лермонтова":

<i>Пушкин</i>	<i>Лермонтов</i>
раскрывается в зрелом возрасте	поэт молодежи в него влюбляются девицы, ему завидуют юноши
выше по форме наше солнце	выше по содержанию звезда в ночи

и т. д.

Такие аналогии еще намечал и Г. В. Адамович; они казались мне кощунственными (по отношению к Пушкину). От него я узнал, что Лермонтова не жаловал Гумилев, ставил его сочинения на самую верхнюю полку, так что до них можно было добраться только по лесенке. Это значило: считал его слабым поэтом.

Нельзя не отметить некоторой безвкусицы Лермонтова.

И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Это, может быть, и эффектно, но нелепо. Ни Пушкин, ни Давыдов, ни Языков так бы не сказали. Еще:

Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки...

Разве пчелы гикают? Правда, жужжание пуль несколько напоминает пчелиное.

Вяземский ядовито заметил: Лермонтов сам себе заказывал бури и "ставил" их, как театральные представления. Я бы отнес это замечание к прославленному "*Демону*". Пусть Лермонтов долго вынашивал план поэмы и не раз переделывал и дополнял эту вещь. Но какая это пустозвонная мелодрама! В нашем веке

обаянию Демона поддался Врубель, а позднее молодой Пастернак. Он посвятил Лермонтову сборник стихов "*Сестра моя жизнь*". Пастернаковский Демон живет лермонтовского и обходится без многословной романтической клятвы:

Из окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.

Лермонтов был широко образован. Кроме обязательного для дворян французского, знал немецкий и английский. В Благородном пансионе при Московском университете его литературным ментором был Семен Раев — просвещенный друг многих молодых поэтов, например, Тютчева. Все же в Лермонтове есть некоторый провинциализм, и не было у него того обостренного чувства слова, какое было у поэтов русского ампира, да и у иных мастеров-словесников той эпохи — митрополита Филарета Московского или законодателя гр. М. М. Сперанского.

Лермонтов обожал Пушкина, но знаком с ним не был. Его прославили стихи *«На смерть поэта»*, где он с таким упоением негодует в эпилоге:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов

Но вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Не забудем всё же, что Лермонтов, как и Пушкин, как и декабристы, был кровно связан с "потомками отцов", прославленных не только подлостью; это они, дворяне, строили Российскую империю и создавали русскую культуру.

Герцена, Белинского, позднее Чернышевского привлекал мятежный дух Лермонтова, но его никак нельзя назвать гражданским поэтом. Правда, Лермонтов, не без упоения, предсказал русскую революцию:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...

Предсказал он (и очень верно) террор — великую беду, подобную чуме, но надеялся, что явится "мощный человек", — надо полагать, русский Наполеон. Наполеон, однако, не появился.

Лермонтову было 16-17 лет, когда он написал своего "Ангела", где установил свое метафизическое призвание. Формалисты и снобы в этом стихотворении ничего особенного не находят. Но для многих символистов оно стало откровением. По отзывам эмигрантов-старожилов, Мережковский в Париже потрясающе читал эти вот строки:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Так ли уже было Лермонтову скучно и грустно, как он писал во многих стихах? Навряд ли... Его увлекали воспетые им схватки с кавказскими горами ("Валерик") и гусарские попойки с другом-кузеном А. А. Столыпным (Манго). В лермонтовском молодечестве было немало напускного. А поэзии был он на самом деле предан. Часто со своей музой грустил, но никогда не скучал.

Нельзя слишком придирааться к его срывам и неудачам: ему приоткрывались и какие-то тайны. Поэтому —

Не смейся над моей пророческой мечтой...

Еще в юношеском "Ангеле" намечился миф о поэте, который что-то знал об ином мире. И это не только романтизм. Лермонтов начал с метафизики и кончил метафизикой в заклиняющих стихах:

Не встретит ответа
Средь шума морского
Из пламя и света
Рожденное слово...

Здесь уже нет никакой позы, как в "Демоне". Лермонтов, действительно, ждал какого-то призыва *оттуда*.

Редактор "Отечественных Записок" А. А. Краевский заметил Лермонтову: надо было бы сказать "из пламени". Лермонтов пытался переделать эти строки, ему не удалось. Повидимому, под влиянием крепостных дворовых архаическое

склонение слов с окончанием *мя* было усвоено и господами. Грибоедов писал: *"нет время"*... У Лермонтова находим: *"до время"* (*"Сашка"*), *"от время"* (*"1831-го июня 11 дня"*) и даже — *"имя своего"* (А. С. Смирновой). Есть прелесть в этих простонародных ошибках российского дворянства. Семинаристы были грамотнее, но в поэзии проявили себя слабо.

Лирические вздохи Лермонтова — *"Отворите мне темницу"* или уже упомянутое *"И скучно, и грустно"* стали частью русской души. Чеховские пошляки — акушерка Змеюкина и телеграфист Ять переговариваются лермонтовскими стихами: *"А он, мятежный, ищет бури / Как будто в бурях есть покой..."* Но *"Белеет парус одинокий"* — все еще бессмертно — или — ввнесмертно. А эти, медленно вздыхающие стихи:

Выхожу один я на дорогу...

Предсмертный лермонтовский выход через шестьдесят лет повторил Блок:

Выхожу я в путь, открытый взорам...

В последний год жизни Лермонтов создал образ бедной крестьянской России. Незабвенны увиденные им

Дрожащие огни печальных деревень...

Так дрожит — колеблется слабое пламя лучины. Это уже Некрасов, но без народничества. И не слышно здесь кликушеских выкриков Блока, упивавшегося нищетой — Россия, нищая Россия... В *"Родине"* Лермонтов осуждает историческую славу, купленную кровью, ту славу, которую он прежде величил: *"Скажи-ка, дядя, ведь недаром..."* (*"Бородино"*). Но он осуждал немытую Россию —

Страна рабов, страна господ...

Сердце подсказало ему задушевную колыбельную песню. Не нужно быть только русским и православным, чтобы понять его *"святая святых"*.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой...

Лермонтов полностью себя в поэзии не выразил. Его стихи — черновики гения (Борис Садовской). Он рано умер. Его даты: 1814-1841. Джон Китс прожил еще меньше — 1795-1821, и за год до смерти уже не мог писать стихи. Но стал великим поэтом — чего, по-моему, нельзя сказать о Лермонтове.

Лермонтовскую прозу продолжили Толстой и Чехов, что уже не раз отмечалось. Его ироническую *благодарность*, которая, на самом деле, — дерзновеннейшая *неблагодарность*, повторил Иван Карамазов, возвращавший билет Творцу.

А лучшую легенду о Лермонтове создал Георгий Иванов, воскресивший его в нашем веке:

Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается.
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет.
В рейтузы, в ментик, в "Ваше благородие",
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня...

Граф Алексей Толстой (1817-1875) чуждался крайностей, будто бы свойственных "русской душе". В культуре и политике он занимал средние позиции, не одобряя ни революционеров, ни реакционеров, ни славянофилов, и, если классифицировать, то его можно назвать либеральным западником. В поэзии Толстой достиг мастерства. Есть чистый лиризм в его ранних стихах, и многие из них сразу запоминаются: "Колокольчики мои, цветики степные...". Прелестно его романсное стихотворение: "Средь

шумного бала случайно...”, и многие другие. Как-то невольно поется хотя бы эта строфа:

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Это одно из тех дворянских гнезд, в которых лет полтора, с середины Осьмнадцатого века, росла, расцветала дворянская, но и всероссийская да и общечеловеческая литература — и едва ли будет она в своей душевности когда-либо превзойдена.

Сатира Толстого чаще всего была направлена не столько против левых (нигилистов), сколько против правых (обскурантов). Вспомним *“Сон Попова”*. Его остроумие очень уж рассудочно: почти всегда можно объяснить — почему это смешно, дурно. Между тем, нет комизма без некоторого абсурда. Лучшие комические стихи в России сочинял... Достоевский — за подписью капитана Лебядкина.

Козьма Прутков, вымышленный Толстым вместе с братьями Жумчужниковыми, лишь изредка сбивается на потешную бессмыслицу:

“Вы любите ли сыр?” — спросили раз ханжу,
“Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу”.

Забавно-торжественно изъясняется в бане гекзаметрами древнегреческий философ: “Взрытый науками лоб розами тихо укрась...”.

Толстой осуждал тенденциозность в литературе, хотя сам иногда грешил предвзятостью. Так, в поэме *“Дракон”* он проецировал современный ему провинциальный итальянский национализм в отдаленный Тринадцатый век. Главный герой поэмы, рыцарь-гвельф, негодует: “Италия германцу отперта” (немецким имперским войскам). Но Толстой забывает: в Средние века Италия, Германия были пустые звуки. Тогда что-то значили Бавария или Швабия, Флоренция или Венеция, а более всего — Рим... Гибеллин Данте одобрял поход германского императора Генриха Седьмого в Италию и оплакивал его раннюю смерть в

Пизе. Здесь обнаруживается ограниченность Толстого-либерала. Его Дракон похож на крылатую шуку или же он — помесь ящера и жабы. Но это чудовище не пугает, как скажем, гоголевский Вий.

“Широкий читатель” до сих пор соблазняется эффективностью, красотой баллад Алексея Толстого. Особенно повезло “Василию Шибанову” и “Князю Репнину”. Но ритмы в этих стихах вялые, монотонные. Толстому удалась баллада о вымышленном воеводе балтийских славян — Боривое. Он отражает ополчившихся на него германских и скандинавских крестоносцев. Рассказ оживлен хорями с необычными сплошными женскими рифмами:

И, начальным правя дубом,
Сам в чешуйчатой рубахе,
Боривой кивает чубом:
“Добрый день, отцы монахи!

Есть прелесть в коротких порхающих ямбах сатирической “Истории Государства Российского”. Кто не помнит хотя бы “рококошную” характеристику дочери Петровой: “Веселая царица / Была Елисавет...”.

Замечательна мирная революция, произведенная Алексеем Толстым в поэтике: он ввел в русскую поэзию т. н. неточные и иногда очень звучные рифмы: имя-ими; нивах-счастливых... В русской поэзии XX-го века эти “ассонансы” были канонизированы.

В моей критике я ориентируюсь на отзывы поэтов о поэтах, на их вкусы, оценки. Кажется, нет ни одного поэта (от символистов до наших дней), который был бы чем-то творчески обязан Алексею Толстому. Уж очень он русский “викторианец”, как Теннисон и Лонгфелло, свергнутые с англосаксонского Парнаса.

Полонский (1819-1898). Две темы с разными вариациями повторяются в лирической поэзии Якова Полонского: напевная, романсная и риторическая, гражданская. До сих пор помнят, поют и слушают его “Песню цыганки”: “Мой костер в тумане светит...”. Униженная и оскорбленная героиня Достоевского Наташа Ихменева любила мучительные стихи “Колокольчика”.

Из под самого сердца вырывались у Полонского восклицания, вроде: "Выноси меня, тройка усталых коней".

У стихотворения "*Затворница*" столетняя история. Оно было написано 20 июля 1846 г. в Тифлисе, где Полонский тогда служил. Стихотворение, по всей вероятности, автобиографично. Это лирический рассказ о коротком романе с бедной девушкой:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.

Она твердила ему "речи детские", но целовала "не по-детски пламенно". Дважды повторенная подробность — "И ветер занавеской / Тихонько шевелил". В последней строфе страсть разгорается и — "Ветер занавеской / Тревожно колыхал..."

Прошло сорок два года. Полонскому почти 70 лет, и он пишет эпилог к этому своему юношескому стихотворению: "*У двери*" (1888 г.). Он стучится в комнату того же самого дома, но никто не откликается. Поздние сожаления: он только теперь понял, что потерял ее по своей вине. "Она — мой друг единственный..." Здесь слышится лермонтовский отзвук: "Тебя, мой друг единственный..." Это стихотворение Полонский посвятил молодому Чехову, который ответил ему посвящением рассказа "*Счастье*". А еще через 56 лет на парижском бульваре 74-летний Иван Алексеевич Бунин неожиданно вспоминает свой юношеский роман, отчасти сходный с романом Полонского. Рассказ Бунина помечен маем 1944 г. и называется: "*В одной знакомой улице*". Так всюду слышится аккомпанимент стихов "*Затворницы*" Полонского.

Обеим героиням — и Полонского, и Бунина, — хотелось убежать со своими возлюбленными. Но *он* — *ее* покидает, а позднее горько кается. Юношеская страсть давно угасла, и в памяти осталась острая жалость.

Кто-то из политических заключенных кое-что изменил в "*Затворнице*": "речи детские" превратил в "речи дерзкие" (т. е. революционные) и в этом варианте стихотворение вошло в репертуар острожных песен, что, несомненно, исказило авторский замысел. Но, вместе с тем, искажение и обогатило сто-

летнюю жизнь стихотворения.

Полонский ценил Некрасова и сам писал гражданские стихи.

Желчный Салтыков-Щедрин пытался оклеветать Полонского: он-де в лирике — эклектик, а в политике — либерал, что в устах сатирика звучало резко-отрицательно. На самом деле у напевного Полонского были свои слова, свои мелодии и это он, нежно-печальный лирик, выковал запоминающиеся стальные стихи (1869 г.):

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Здесь Полонский явно, и с успехом, соперничает со стале-литературной поэзией Некрасова.

Отмечу еще одно — выкованное — гражданское стихотворение — отклик на дело террористки Веры Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника Трепова. Присяжные оправдали Засулич и лет через пять она вместе с Плехановым основала в Швейцарии русскую социал-демократическую (марксистскую) партию:

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Полонскому удавались преимущественно отдельные строки и строфы. Он поэт аккордов, нежных, гитарных или мандолинных о несчастной любви или же аккордов громких, фортепьянных, гражданской поэзии.

Поэмы его неудачны, как и романы, которые он писал для заработка. Нишеты он не знал, но часто с трудом сводил концы с концами. Охотно ездил с семьей по гостям, и не раз проводил лето в имении Тургенева Спасское-Лутовиново. Отдыхал в

усадебке Фета Воробьевка ("Старик гостил у старика").

Полонский иногда договаривался до чудеснейших стихов в "пьесах", казалось бы ничем не примечательных, хотя бы в позднем стихотворении "*Новый Дом*" (1893 г.). В карете едут немолодой богатый муж и молодая бедная жена:

И колыхается карета;
И, дар обычной суеты,
Оранжевый букет
С ней дрогли пышные цветы.

Это не только мелодрама о неудачном браке. Здесь чувствуется пронизывающий холод небытия, губящий все прекрасное. Это поэзия беды и жалости, предвещающая Анненского.

Афанасий Фет (1820-1892) писал жене: "Если спросить как называются все мои страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им Фет". Ему было лет четырнадцать, когда в немецкой школе, в лифляндском городке он узнал, что зовут его не Шеншин, а Фет. Позднее открылась и другая тайна: помещик А. Н. Шеншин, которого он считал своим отцом, им не был. Только в 1873 г. по высочайшему указу ему было присвоено имя Шеншина, но в поэзии он остался Фетом.

Другая беда. Его тяготило тяжелое наследство. Сошли с ума его брат Петр, сестра Надежда Борисова и ее сын Петя, способнейший мальчик. Многого от Пети ждали не только "дядя Афоня", но и друзья семьи — Тургенев, Толстой. Надо полагать, безумие грозило и Афанасию Афанасьевичу. Силой своей "железной воли" он преодолевал болезнь постоянными занятиями: укрощал лошадей, хозяйничал в имении или занимался переводами Горация, Шопенгауэра. Не только изнуряющим трудом, но и мелкими заботами Фет отгонял черные мысли.

Толстой (в письме от 7-го декабря 1876 г.), поблагодарив Фета за стихи, заметил: "... на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта". Не значит ли это: истинные поэты непоэтичны. В жизни Фет повиновался рассудку. Влюбился в талантливую

музыкантшу Марию Лазич, но из-за недостатка средств у обоих отказался от женитьбы.

В поэзии Фет, по собственному признанию, мало ценил разум и писал по интуиции. Иногда оказывался не в ладах с логикой. Есть непредусмотренный поэтом комизм в таких вот строках: "У всех в глазах признательной слезою / Родимое сказалось молоко...". Встречаются у него и банальные выражения. Но поражает он и смелыми образами. Если Данте в "*Божественной комедии*" ("*Рай*", XXX, 77) слышал "смех травы", то у Фета находим "травы в рыданьи".

У Фета, как и у близкого ему Полонского, немало романсных стихотворений: "На заре ты ее не буди", "Я пришел к тебе с приветом". В свою эротику он вовлекает природу:

И грудь дрожит от страсти неминуче
И веткою все носится пахучей
Акация в раскрытое окно...

Сколько страсти в известном безглагольном стихотворении Фета: "Шепот, робкое дыханье". ●но возмутило "бессмысленностью" туповатого нигилиста-пуританина Добролюбова.

Великий Фет — не только романсный поэт: куда больше силы и упоения в его метафизической поэзии. Марина Цветаева утверждала: "поэт никогда не атеист, всегда многобожец". ●оставим многобожие, оно едва ли обязательно для поэта. Но, несомненно, поэты что-то о духе, духовности знают.

Фет не верил в счастливый конец мира. Сколько жути в его стихотворении "*Никогда*". Ему кажется: он выходит из гроба, но земля мертва, он видит одни жалкие торчки: мертвый лес *торчит*, и церковь с ветхой колокольной тоже *торчит* "в безоблачной дали". Людей нет и ему хочется еще раз умереть. В эпилоге — мрачное упоение:

А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути!

Чувствуя приближение конца, Фет пытался зарезаться столовым ножом. Ему хотелось самому предупредить ненавистную смерть.

Атеизм бывает самоуверенный, самодовольный: дескать, у

меня, образованного человека, нет уже никаких средневековых предрассудков. Но такого рода атеизм, типичный для прошлого столетия, в наше время угасает: великие беды XX-го века (войны, революции, геноцид, терроризм) отучили от атеистической самоуверенности. Есть еще безбожие отчаявшихся — Шарля Бодлера или Иннокентия Анненского. Но это не полный атеизм хотя бы уже потому, что им не довольствуются. Фету тоже не хотелось быть безбожником. Обесмысливающую смерть от отрицал в стихах

Покуда я дышу — ты мысль моя, не боле.

Но это отрицание — иллюзорное. В другом метафизическом стихотворении Фета Бог есть, и он так к Нему обращается:

Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильнее и ярче всей вселенной.

Значит, невечный человек только *временно* обретает вечность. Но ведь временной вечности быть не может!

Своего метафизического зенита и поэтического акме Фет достиг в 60-е гг. Еще неслыханные доселе в российской поэзии, мучительные и могучие ритмы слышатся в этих задыхающихся стихах (дольниках):

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Как это часто бывает у Фета, многие слова у него *не те* — затертые, банальные ("измучен жизнью", "душой уступаю"), но сразу захватывает тяжелый ритм, подвигающийся толчками, рывком. Здесь ошущается астма поэта. Мандельштам верно угадал:

И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш...

Или же это — тяжелое дыхание какого-то большого.

смертельно раненого зверя — агония ассирийского льва или быка. Последний стих этого стихотворения —

Легко мне жить и дышать мне не больно...

ничего не разрешает, не утешает, здесь мы ощущаем то же упоение отчаянием. Эпиграф к этому стихотворению заимствован у Шопенгауэра, которого Фет ценил и которому отчасти следовал в своей философии. Шопенгауэр — злой гений впадавшей в безбожие Европы, которую он склонял к индуизму, уводил в нирвану.

Но Фета этот восточный соблазн не мог удовлетворить. Из стихотворения "Измучен жизнью" он выделил три строфы, где вспоминается о гибели отвергнутой им и сгоревшей Марии Лазич. Здесь уже нет ни шопенгауэровщины, ни Индии. Фету снится не отвлеченное "солнце мира", а нечто очень личное, близкое:

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела.
И снится, снится: мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

Едва ли Фет верил, что такая встреча возможна, но тем страстнее ему хотелось встретиться со своей погибшей возлюбленной. Для брака у него не хватило капитала, но хватило творческих сил для посмертного прославления. — Фет чуть ли не сорок лет посвящал стихи Марии Лазич.

Еще одна лирическая высота в поэзии Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня.
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Этими стихами восхищался Л. Толстой. Понравились они и Н. Н. Страхову, но он заметил Фету — огонь не плачет! Славянофил-идеалист Страхов не так уж далеко ушел от Добролюбова; оба они, честнейшие интеллигенты, мало смыслили в поэзии.

Какой же огонь плачет? Огонь любви, красоты... В спасе-

ние, в будущую жизнь Фет не верил, и тем сильнее, страстнее жалел; в мраке отчаяния ему светила жалость.

Еще одна высота Фета — стихи, посвященные пению Т. А. Берс-Кузминской — свояченицы Толстого и прототипу Наташи Ростовской:

А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Это уже не юношеская романсная эротика, а высшая любовь — и райская поэзия, но все еще здесь, на земле. Марина Цветаева сказала, что за эти фетовские строки она готова отдать все свои стихи.

Недавно Н. А. Струве напомнил о благочестивых и будто бы христианских стихах Фета. Маловер или индус-шопенгауэровец искренно потянулся к христианству. Так, он переложил на русский язык молитву Господню:

Всеобщий наш Отец, который в небесах...

Стоит ли разъяснять, что такому "всеобщему отцу" молиться нельзя. Столь же неудачно и пушкинское переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина. Все это покушения с негодными средствами. Но во многих стихах Пушкина, да и в очень светском "*Евгении Онегине*" слышится музыка псалмов. Фет ближе к Богу в своем отчаянии, в богооставленности и в жалости.

Фет был бравый улан, не менее молодого Ростова влюбленный в своего Государя (Николая I-го) и политикой не интересовался. Но после отставки, став помещиком в нигилистические 60-е гг., он возненавидел революционеров, либералов: Некрасова называл лжепоэтом. Стал даже обскурантом: останавливал кучера перед зданием Московского университета и сплевывал в сторону своей бывшей альма матер.

Фет — нежный любовник, страстный метафизик, пристрастный политик, и в жизни, и в поэзии ценил разнообразие. И это сближает его с Константином Леонтьевым. Он так писал Тургеневу:

Ценя сердечного безумия полет,
 Я тем лишь дорожу, кто сразу всё поймет
 И тройку, и свирель, и Гегеля, и скуку,
 И фриз, и рококо крутую закорюку,
 И лебедя в огнях скатившегося дня.

Малоизвестны замечательные воспоминания Фета, доведенные им до 1889 г. (он умер в 1892 г.).

Были такие помещики Орловской и Тульской губерний: ездили друг к другу в гости, вместе охотились, при встречах пили шампанское, уже не пушкинское Аи, а Релерера. Наезжали к ним Полонский, общий друг и критик В. П. Боткин, бывал и Николай Николаевич Толстой: он был не менее гениален, чем его брат Лев Николаевич, но отсутствие сосредоточенности и творческого эгоизма помешали ему проявиться в литературе. Тут же, не спеша, писалась великая русская литература — *"Первая любовь"*, *"Война и мир"*, и стихи Фета. Для Тургенева он был Феттие, а для Толстого — дядинька Фетинька... Здесь же пела Татьяна Кузминская — Наташа Ростова.

Николай Некрасов (1821-1877).

Поэтом можешь ты не быть,
 Но гражданином быть обязан.

Некрасов был и поэтом, и гражданином, хотя Тургенев утверждал, что поэзия в его стихах не ночевала... но ее почти нет в тургеневских стихотворных опытах.

Таким ли тираном был его отец-помещик? Так ли страдала его мать? Но ему, несомненно, плохо жилось дома, и он юношей переехал в Петербург, где несколько лет голодал-холодал — и добился-таки литературного успеха. В 1846 г. он стал редактором основанного Пушкиным и захиревшего было журнала *"Современник"*. Эти стихи автобиографичны (хотя Некрасов и не происходил с Полтавщины):

Огни зажигались вечерние,
 Был ветер и дождик мочил,
 Когда из Полтавской губернии
 Я в город столичный входил.

Здесь один из излюбленных Некрасовым трехсложных размеров (амфибрахий). Некоторую монотонность этого метра он преодолевает четкостью и энергичностью выражения, с добавлением воющих дактилических рифм.

Современники говорили о неискренности Некрасова: писал о страданиях русского народа, а сам просиживал ночи за зеленым столом. Его называли торгашом. Да, он был литературный делец, но своих бедных сотрудников не слишком прижимал. Существеннее то, что и в жизни и в поэзии Некрасов был человеком больших страстей. Если бы не грешил, не было бы его замечательных покаянных стихов ("Я за то глубоко осуждаю себя..."). По своей страстности он сродни Достоевскому — тоже игроку, но неудачливому, тогда как Некрасов часто выигрывал. Они познакомились в юности: молодые Некрасов и Григорович ночью разбудили Достоевского, чтобы поздравить его с "*Бедными людьми*"; они только что прочли эту повесть. Незабвенная ночь молодых энтузиастов — событие в русской литературе. Позднее они разошлись: революционер Некрасов и верноподданный Белого Царя Достоевский, который, впрочем, тоже в своем христианстве был революционером.

В поэзии Некрасов — великий мастер повелительного наклонения. Сколько у него таких вот страстных приказов-призывов:

Вьль на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?

Или:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело оюбви!

В то время даже гимназистам было ясно: *великое дело любви* — это революция!

Казенное прославление октябрьской революции и последующие за ней великие беды (голод, террор) давно уже лишили ореола слово "революция". Но меня, старого контрреволюционера, эти некрасовские стихи трогают, воодушевляют: в 60-

70-х годах XIX века я, возможно, мог бы соблазниться этим *лже-делом* любви.

Императивы звучат не только в политике Некрасова, но и в его эротике. Молодой коробейник обращается к своей любушке:

Выйди, выйди в рожь високую...

Униженные и оскорбленные Достоевского преимущественно горожане, а среди угнетенных Некрасова немало крестьян. У него было особенно острое сочувствие к матерям, потерявшим сыновей: Орина, мать солдатская и Касьяновна ("*В деревне*").

Некрасова привлекали сильные натуры. В поэме "*Кому на Руси жить хорошо*" выделяется короткий рассказ о Якове Верном, завезшем в лесную глушь своего барина-обидчика. Барин (да и читатель) думают, что Яков сейчас *порешит* своего господина. Но слуга в отместку сам вешается на высокой сосне. Как зловеще звучат стальные, пружинистые стихи:

Будешь ты, барин, холопа примерного,
Якова верного,
Помнить до Судного дня!

Во весь рост показал Некрасов двух кающихся грешников. Первый — разбойничий *атаман Кудеяр*, ставший иноком Питиримом. Песнь о нем включена в поэму "*Кому на Руси жить хорошо*" и в искаженном виде вошла в фольклор. Еще значительнее *Влас*, потрясавший Достоевского. Был он кашеем-мужиком, но покаялся, роздал свое имущество, и теперь обходит Русь, собирая лепту на построение храма Божьего.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.

Здесь пиррихии во второй стопе четырехстопного хоря замедляют ритм и насыщают силой слово "медленно".

В поэме "*Мороз Красный Нос*" Некрасов возвеличивает крестьянку Дарью. Она

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет...

Дарья трудится в поте лица, но —

Не жалок ей нищий убогий
Вольно ж без работы гулять!

Хотя и сама Дарья не разжилась. Осталась бедной вдовой и замерзла в лесу, где

Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Здесь — враждебная человеку природа, но есть упоение в некрасовских стихах, возвеличивающих и бедную Дарью и убийственный Мороз.

Некрасов был кровно связан с интеллигенцией, но многих крестьян, будь то Яков верный, Влас или Дарья, он понимал лучше, чем интеллигентских героев, вроде "Рыцаря на час". Сочувствовал интеллигентам, и втайне их (включая самого себя) презирал. А мужики были ему дороги всякие — и сильные, и слабые...

Его "Русских женщин" портит идеализация и сентиментализм; многие стихи в этой поэме лишены упругости, кажутся расслабленными.

Розанов, да и многие бормотали унылый и затаенно-страстный стих Некрасова "Еду ли ночью по улице темной..." В этом стихотворении тот же скверный петербургский климат, что и во многих повестях Достоевского:

Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?

Здесь — подлинная мелодрама: она продает себя, чтобы купить гробик ребенку и ужин отцу...

Но и самые мелодраматические стихи Некрасова трогают, если в них есть ритмический напор. Сколько силы и даже моши вот в этом мелодраматическом аккорде — отклике на смерть молодого Писарева.

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!

Грешен: я иронически улыбался, вспоминая нравственный императив Некрасова: "Сейте разумное, доброе, вечное..." Но иронизировать, в особенности в наше время, не над чем и незачем. Вот уже более шестидесяти лет в России сеется неразумное, недоброе, невечное, а тем временем многие из писателей-эмигрантов Третьей волны по-хамски издеваются над рабствующим, но и страдающим русским народом. И что-то не видно доброго сеятеля с некрасовскими семенами.

У Некрасова в его *"Псовой охоте"* есть такой яркий образ:

И в обагренные кровью усы
Зайцев лизали голодные псы.

От этого удачнейшего и омерзительнейшего стиха тошнит.

Но вот эти жалостные стихи Некрасов написал в преддверии гроба:

Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

Правда, эти строки ассоциируются с одним ранним стихотворением Некрасова (1848 г.) о молодой крестьянке, которую били кнутом на Сенной площади. Она — родная сестра его Музы.

В цикле стихов *"О погоде"* — лошади, избиваемые извозчиками-палачами (*"Надрывется лошадь-калека..."*). Возница бьет клячу —

...по лопаткам,

И по плачущим кротким глазам!

Еще: *"понуканье измученных кляч..."*. Каждая из этих измученных лошадей — и Муза, и Россия, может быть, даже он сам... Тот же образ избиваемой клячи мучил во сне Раскольникова. И здесь Некрасов встретился с Достоевским.

Повторяю, поэзия в стихах Некрасова ночевала — и даже в его иногда очень растянутых поэмах. А ночевала ли религия? Многие крестьянские герои Некрасова, Влас или Кудеяр, верующие, и он смог их понять изнутри. А сам или не верил, или о Боге молчал. Его упоминания о Христе вялые, неубедительные.

Но прав Мережковский, парадоксально утверждавший, что Некрасов был ближе ко Христу, чем Тютчев, написавший известные стихи о Христе, который "в рабском виде" исходил всю Русь. Тютчеву нехватало острого сострадания неверующего Некрасова и верующего Достоевского.

Я ссылаясь на многие известные стихи Некрасова. Но в его лирике немало и незамеченных удач. Эти вот строчки попались мне на глаза (и на уши!) в скучноватом мелодраматическом стихотворении "*Панаиа*" (бывший петербургский денди, торгующий телом своей дочери):

Музыка вроде шарманки
Однообразно гудит,
Сонно поют испытые цыганки

У Пушкина все цыганки красавицы. А Некрасов уже знал ту жалкую некрасивую красоту, которую позднее воспевал Анненский.

В цикле замечательных стихов "*О погоде*", вопреки содержанию, радуют и бодрят эти два стиха:

Похоронная музыка чище
И звончей на морозе слышна,

Некрасова, человека и поэта, понимала, любила, но иногда и мучила своенравнейшая красавица Авдотья Головачева-Панаева, но в конце концов они разошлись. Уже во время своей предсмертной болезни Некрасов женился на скромной незаметной Фекле Викторовой. Он звал ее Зиной. Она за ним самоотверженно ухаживала — "Двести уж дней, двести ночей...". И Некрасов взывал:

Зина! закрой утомленные очи!
Зина! усни!

По воспоминаниям П. Н. Ковалевского, ухаживавшая за Некрасовым молодая румяная Зина превратилась в старуху с желтым лицом. А умерла она в 1915 г.

В своей поэтике риторический поэт-гражданин Некрасов перекликается с имперским певцом Фелицы — и смерти — Державиным. Позже с ним вступил в перекличку Анненский: те

же "больные" сцены, та же жалость. Прямых заимствований как-будто нет. Но некоторые стихи Анненского написаны в ключе Некрасова, например:

А сердце... бубенчиком бьется
Так тихо у потной шлеи.

Аполлон Григорьев (1822-1864). "Григорьев был несомненный и страстный поэт", — писал Достоевский и был прав. А. Григорьев был также литературным критиком, славянофилом на свой лад, антиподом Белинского. Но интеллигенция пошла не за Григорьевым, романтическим мечтателем, а за Белинским, властителем дум многих поколений радикалов и революционеров. Общее у них — горячность. Оба были неистовы — и Виссарион, и Аполлон. И оба писали неловко, громоздко и многословно.

Всё же при жизни Григорьев имел некоторое влияние. Его славянофильское *почвенничество* утверждали и развивали Достоевский и Страхов. Его ценили Фет и, в особенности, Константин Леонтьев. В нашем столетии Блок посвятил ему пронизательный очерк. Но мне кажется, мало кто его по-настоящему понимал.

Если есть русская душа, то она была у Аполлона Григорьева. На него похож Митя Карамзов (как заметил Блок), и это его широту Достоевский рекомендовал сузить. Подрастал в русейшем Замоскворечье, хотя и не был, как того можно было ожидать, купеческого рода. Он — сын чиновника из недавних дворян и кучеровой дочери. При всей своей замоскворецкой русскости и славянофильских воззрениях, Григорьев любил и понимал Запад, и этим отличался от недоучки Мити Карамзова. Он знал три иностранных языка, вчитывался в Гегеля. Был масон и писал масонские гимны. Восхищался итальянским искусством и театром Шекспира. Что-то было у него от немецкого вагабонда или парижского "бозмьена".

Григорьев был соткан из противоречий, но всегда оставался романтическим скитальцем. Выросши, примерный мальчик Полошенька превратился в пьяницу-буяна. В Лувре он умолял Венеру Милосскую послать ему женщину, "которая была бы не торговкой, а жрицей сладострастия", и получил "устюжскую

барышню” легкого поведения. В экстазе Григорьев обращался с Богом запанибрата, даже ругался с Ним, а Бог будто бы знал, что “стоны и ругательства” Аполлона — тоже вера. Превозносил русскую кротость, но мог сочувствовать Марату...

Замечательны *цветные* (т. е. не отвлеченные) *истины* Григорьева, восхищавшие Леонтьева. Иногда Леонтьев и Григорьев противоречили друг другу, но они могли бы стать яркими слагаемыми русской культуры, сочетавшей русскую старину с европейским свободомыслием. Такая культура намечалась в России в годы короткого Серебряного века, но полностью не реализовалась.

Вклад Григорьева в поэзию невелик — всего несколько строф или строчек и его цыганские стихи, но без них русская поэзия была бы беднее. Заслуженно прославлена его *“Цыганская венгерка”*:

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?

Фет, в студенческие годы живший в замоскворецком доме Григорьевых и друживший с Полошенькой, верно подметил: в напевах цыганско-гитарного Григорьева есть тоска, но слышится в них и счастье. Замечателен и отзыв самого Григорьева; он так вспоминает о встрече с любимой (Леонидой Визард) — “когда *ожесточенно* звенела венгерка, эта метеорская, кабацкая поэма звуков безысходного страдания”. Но в песне был исход. Есть особое упоение в цыганской стихии, обольщавшей столько поэтов, писателей, начиная с “египтянки” Державина и до Блока; на Западе цыганщина увлекала хотя бы Вальтер Скотта или Виктора Гюго.

За два года до смерти, совсем еще не старый, сорокалетний Григорьев пролепетал эти жалко-жалобные стихи.

Однако, зябко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?

Цыганские страсти в нем уже угасли. Остались *жалкие слова*, которые так счастливо ввел в русскую поэзию Иннокен-

тий Анненский. В его сонете, посвященном Петру Потемкину, какая-то подозрительная личность в участковой *холодной* мечтает о флаконе с винцом и о папиросах:

Курнуть бы... Чирк — и пых!

Здесь та же интонация, что и в двух стихах рано обветшавшего Григорьева. А в его прежних цыганских песнях поистине звучало счастье, светилась одна из его *"цветных истин"*. Вот эпилог его *"Цыганской венгерки"*:

Всею скорбью дребезжи
Распроклятой доли!

Какое это было блаженство изливать тоску — дребезжать под звуки гитары!

Аполлон Майков (1821-1897). Кое-кто еще помнит хрестоматийные стихотворения Аполлона Майкова — "Весна! Выставляется первая рама..."; "Пахнет сеном над лугами". Или

Золото, золото падает с неба!
Дети кричат и бегут за дождем...

Майков придавал большое значение своей трагедии *"Два мира"* из эпохи императора Нерона. Там молодой христианке Лиде так и не удалось обратиться в христианство достойнейшего римлянина-язычника Деция. Неудача Майкова в том, что он как-то понял язычество, но не христианство (кн. Д. П. Святополк-Мирский). А нам, читателям Вячеслава Иванова, Иннокентия Анненского и Осипа Мандельштама, кажется, что он не сумел показать и античный языческий Рим.

Как это ни странно, Майкову несомненно удавались в поэзии короткие "сценки", например, *"Менуэт"*, написанный *сказом*. Старый бригадир попадает из провинции на придворный бал. Вот что он говорит о Екатерине Великой:

Перед ней склоняют выи,
А она лишь, как живой
Образ, так сказать, России,
И видна над всей толпой.

Наше глупейшее, пошлейшее "так сказать" не засияло ли здесь ярче всех алмазов Матушки-Царицы и князя Таврического?

Хорош у Майкова и Анакреон, окруженный восторженными девами:

Дряхлый, пьяный, весь разбитый,
Череп, розами покрытый, —
Чем им головы вскружил?
А они нам хором пели,
Что любить мы не умели,
Как когда-то он любил!

В обоих стихотворениях слышится особенное, майковское сухонькое потрескивание четырехстопных хореев.

Юный Майков был близок к петрашевцам, но не пострадал. А вскоре стал верноподданнейшим поэтом; прославлял Николая I-го ("Коляска").

В 40-50-х гг. возникла русская интеллигенция, идейная и беспочвенная (по Г. Федотову). Произошел разрыв между империей и обществом. Интеллигенты "собак вешали" на царей. Это вешанье продолжалось и в либеральной прессе старой эмиграции, и до сих пор продолжается в СССР, с некоторыми поправками для Петра Первого. Что и говорить: оценка интеллигенцией монархии была уж очень односторонней. А Майков в своих энергичных хореях воздал царям должное:

Русь собирали и скрепляли
И ковали броню ей
Всех чинов и званий люди
Под рукой ее царей

Это стихотворение было приурочено к открытию памятника Пушкину в 1880 г.

Иван Никитин (1824-1861). Так ли уж был несчастлив в жизни воронежский мещанин Иван Саввич Никитин, владелец постоянного двора, а позднее книготорговец в Воронеже? В провинциальной глуши его "открыли" дружески к нему расположенные интеллигенты из чиновников. Они его и просвещали и

ободряли.

Никитина иногда называют преемником Кольцова, который тоже был воронежским мещанином и поэтом.

Никитин подражал Кольцову и Некрасову, но был в поэзии слабее обоих. Он ударил по сердцам стихом, который запомнился и другим поколениям —

Вырыта заступом яма глубокая...

В одном из поздних стихотворений Никитин помянул забитого земледельца, который на своего владельца давно уже точит топор...

Немногоими своими стихами в этом роде Никитин заслужил билет в пантеон радикальной и даже революционной интеллигенции. А ранние его патриотические стихи критики-интеллигенты старой России старались замалчивать. О них напомнил Бунин в "*Жизни Арсеньева*". Арсеньев-гимназист (не вполне рождественный Бунину) жил нахлебником в тесной квартирке мещанина Ростовцева, занимавшегося скупкой и перепродажей хлеба и скотины. Ростовцев иногда заходил в комнату гимназистов и просил их почитать стихи. Особенно ему нравилась "*Русь*" молодого Никитина:

Под большим шатром
Голубых небес
Вижу, даль степей
Зеленеется

Бунин пишет: это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. "И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: "Это ты, моя Русь державная, моя родина православная" — Ростовцев сжимал челюсть и бледнел.

— Да, вот это стихи! — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. — Вот это надо крепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш".

По мнению Бунина, такие вот патриотически настроенные Ростовцевы были характерны для 80-х годов, которые интеллигенты называли *безвременьем*, повторяя некрасовские строки:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

При этом Бунин отлично знал, что мешане-кулаки умели очень даже ловко "объегоривать" презируемого ими мужика, но, повторяю, он все-таки им сочувствовал, потому что писал "*Жизнь Арсеньева*" в годы второго советского крепостного права. Кулацкое "объегоривание" — детская игра по сравнению с насильственной коллективизацией.

Да, был *красноватый* Никитин, но был и *белый*, и хорошо, что Бунин напомнил о нем в своей прославленной повести.

Ю. Иваск

ВОСЕМЬ ВОСЬМИСТИШИИ

Лишь удивиться простоте —
И над тобой уже не властна
Ни страсть, ни то, чему бесстрастно
Мы преданы вообще — тшете.

Когда уловишь эту речь,
Ее увертливую силу,
Все прочее уже "не в жилу".
Но этой речи не перечь.

2

Чистота святого страха
Наследить на белизне:
Снега белая рубаха
Точно счастье во сне.

Здесь отведал в изумленьи,
Снова мальчик-лоботряс,
Бескорыстного служенья
Этих белотканых ряс.

3

Еще едва успели наследить —
Ступить на снег так просто и опасно.
Крупницы кварца, леденцы слюды
Усыпали голубоватость наста.

Чернеют окна, улицы пусты,
Блестит луна, как вымытое блюдо.
А тротуара белые листы
Под фонарем искрятся, как смеются.

4

Сказало молчанье:
Значенье имен
Имеет звучанье
Когда ты пленен.

Когда не свободен
И праздный без крыл
Звучанье молчанья
Еще не раскрыл.

5

И память помнить не хочу
И о молчании смолчу
И ничего не берегу
На опустевшем берегу.

Внимаю умной пустоте
В ее прозрачной высоте,
А впрочем, где тут низ, где высь?
О память, ты не отзовись.

6

Расти, веселое созданье,
Зеленой выпренности ствол,
Дубочек среди хвои смол,
Чуточек в чуде мирозданья.

Испуг пред жизнью Необъятной,
Былой поры святая блажь...
И ты, дубок корней невнятных,
Вникай в свой лиственный мираж!

7

Стружки под рубанком плотника,
О, янтарная древесность,
Франтоватые кудряшки,
Как белеса их слоистость.

Завихренье чистоты.
Запах смелости работы.
Непрочитанные ноты
Всей древесной высоты.

8

Во след за лопнувшими почками
Иное чудо наяву, —
Птиц караван мазками сочными
Пропишет неба синеву.

Пусть вас отыщет вновь — не поздно ли?
И снова застает врасплох
Ненарекаемый, непознанный,
Недосягаемый сполох.

Вадим Крейд

КЕЛЬТСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ирландия, самая значительная из кельтских стран и единственная, пользующаяся в наши дни государственной независимостью, хотя и была издавна хорошо знакома русской публике по переводам (преимущественно с английского и французского), почти не нашла у нас отражения в художественной литературе. За одним, но зато блестящим исключением: подразумеваю пьесу Н. С. Гумилева "Гондла".

Да не заподозрит читатель, что я совершаю ту же ошибку, что и вызванный спиритами дух Гамбетты в романе Пьера Бенуа "Дорога великанов": смешиваю Ирландию с Исландией! Действие гумилевской *драматической поэмы* и впрямь разворачивается в Исландии, но главный герой, Гондла, и главная героиня, Лаик, — ирландцы, и в одной из центральных сцен фигурирует целый отряд ирландцев.

Гумилев имел привычку, — убийственную для его обычно малокультурных критиков! — говорить лишь о вещах, которые знал до глубины. Поэтому, находя у него отклонения от летописной точности, следует видеть в них не промахи, а сознательную адаптацию фактов в пользу поэтического вымысла.

Впрочем, отклонений у Гумилева мало. Наоборот, подобно Пушкину, он сумел в кратких эпизодах передать самую суть раннесредневековой Ирландии, коснуться двух ключевых проблем ее существования: ее христианской миссии и ее оборонительной борьбы со скандинавами.

При попытке соотнести хронологический сюжет "Гондлы" с реальными событиями, трудности возникают не столько с ирландской, сколько с исландской стороны: упоминаемые тут

деяния Эрика Красного и колонизация Гренландии относятся не к IX, а к X в. Что до Ирландии, то в ней IX столетие — “золотой век”, а X — апогей войны с викингами, кончившейся полным их разгромом.

К 800 г. кельты (милезианская раса ирландских преданий), проникнув на Зеленый Остров то ли из Испании, то ли с юга Франции, целиком ассимилировали местные племена (загадочный *народ богини Даны*, фирбольгов и фомориан), распространились на северную половину Шотландии, создали свою высокую культуру и, мирно приняв крещение из рук святого Патрика (390-461), сделали ревностными проповедниками истинной веры на европейском материке (в частности, на территории нынешних Германии, Австрии, Нидерландов и дальше). Они являлись носителями не только новой религии, но и латинского (отчасти и греческого) просвещения и имели полное право именовать свою родину страной святых и ученых: их познания намного превышали уровень остального Запада. Приспособив латинскую письменность и заменив ею свой прежний огамический алфавит, они развили также первую по времени в Европе литературу на народном языке (необычайно разнообразную и богатую).

Составляя культурное целое (как, скажем, и наша *Святая Русь*), Ирландия, на беду, не была политически единой, распавшаяся на ряд королевств (семь больших и множество подчиненных им мелких). Правда, надо всем возвышались верховный король или император — *ард ри*, и национальный совет — *риг даиль*. К несчастью, власть всеирландского короля становилась реальной лишь в руках выдающихся людей.

Между тем на эту страну, где “зеленое лето никогда не сменяет зима”, надвигались черные тучи, надолго ставшие кошмаром для ее жителей, исторгая из их уст молитву: «*A furore Normannorum libera nos, Domine!*» С начала IX в. на берегах Ирландии стали высаживаться *люди с железными руками и железными сердцами*, чужеземцы двух сортов — светловолосые норвежцы и темноволосые датчане.

Вопреки разобценности сил, ирландцы довольно быстро среагировали на навалившееся на них *вавилонское пленение*

(приведшее к разрушению монастырей с их сокровищами культуры и к основанию на побережьях скандинавских городов): в 848 г. ард ри Малахия нанес пришельцам тяжкое поражение. Но только в 1014 г. верховный король Бриан Бору их окончательно разгромил при Клонтарфе, причем в этой битве погибли он сам, его сын и его внук. Любопытно, что от Бриана Бору происходил, по материнской линии, генерал де Голль, видимо, унаследовавший кое-какие свойства от своего далекого предка.

Показанная у Гумилева попытка *старого конунга* устроить союз волков с лебедями вполне понятна: в этот период возникало множество династических браков и временных государственных и военных объединений; население Гебридских и Оркнейских островов и посейчас остается плодом смешения кельтоскандинавской крови; даже в самой Исландии жило немало кельтов. Вот почему совершенно естественно, что в "Гондле" ирландцы свободно объясняются между собою.

Противопоставление двух народов в пьесе — ключ к подходу Гумилева (который его толкователи часто неспособны охватить): героизм для него есть подлинный героизм, если он служит делу добра, а добро для Гумилева воплощается в учении Христа.

Викинги смелы и могучи, но служат только своему эгоизму, признают единственно культ хищнической силы. Их закон есть *волчий закон*. В сравнении с ними ирландцы излучают свет одухотворенности и человечности, проявляющийся, например, у их вождя в таких словах (при виде преследуемого):

Братья, вступимся, он христианин
И наверно из нашей страны.

И это — после вполне реалистической картины бездушных хитростей и холодных жестокостей, царящих в Исландии.

Для ирландцев, всегда гордившихся, что их остров — земля святых, не удивителен вопрос Гондлы:

Что, скажите, в родимой стране
Так же ль трубы архангелов шумны?

И когда он осведомляется о святых и райских духах, словно бы

они обитали среди холмов и болот Гибернии, начальник ирландских воинов скромно и сочувственно сообщает:

Бедный ум, возалкавший о чуде,
 Все мы молимся этим святым.
 Но, простые ирландские люди,
 Никогда не входили мы к ним.

По плану конунга, Гондла, несомненно, должен был сделаться в Эрине *ард ри*, а отнюдь не одним из областных королей, хотя бы и большой провинции, как Улидия, Коннахт или Ориэль. У Гумилева несколько раз подчеркнуто: "А Ирландии всей королю..."; "И корона Ирландии целой...". Причем, как выясняется, данная схема являлась вполне осуществимой (несмотря на вносимые обстоятельствами коррективы). Вождь ирландцев так описывает Гондле происшествия за время его отсутствия:

Наступили тяжелые годы
 Как утратили мы короля,
 И за призраком легкой свободы
 Погналась неразумно земля.
 Мы наскучили шумом бесплодным
 И был выбран тогда, наконец,
 Королем на собраньи народном
 Вольный скальд, твой великий отец.

Выражение *скальд* (вместо *бард*) свидетельствует, что ирландец держит речь по-древненорвежски, чтобы она была понятна присутствующей толпе исландцев и их конунгу с ярлами. Выбор же на трон Ирландии барда не слишком необычен: каста филидов была там аристократической, включающей нередко потомков и боковых отпрысков младших линий царственных домов. Зеленый Остров видел немало таких монархов, как Кормак Мак Куллелан, лингвист, богослов и юрист, король и епископ в Кашеле.

"Гондла" принадлежит к числу вещей, читающихся легко, но за каждой строкой — целый арсенал исторических, мифологических и географических намеков. Нельзя, скажем, ни ждать, ни требовать от рядового читателя, чтобы он знал, что *скрелинги*

— это эскимосы, но не зная этого, он не уразумеет, что в соответствующем пассаже речь идет о Гренландии.

Поэтому издание пьесы с серьезными, толковыми комментариями было бы очень полезным. Позволим себе выразить некоторое сомнение по поводу нижеследующего примечания Г. П. Струве в опубликованном им издании Гумилева: "Кимрский (или кимрийский, как принято говорить сейчас) язык — то же, что язык валлийский...".

Не знаем, кем и где принята форма *кимрийский*. Например, в книге Э. Агаяна "Введение в языкознание" (Ереван, 1959 г.), в "Этимологическом словаре русского языка" М. Фасмера (Москва, 1964-1973) и в "Кратком этимологическом словаре русского языка" В. Шанского, В. Иванова и Т. Шанской (Москва, 1971) всюду стоит именно *кимрский*. Вряд ли стоит приветствовать внедрение сего наукообразного термина, вразумительного исключительно для узкого круга специалистов, вместо хорошо известного публике слова *валлийский*.

Уточним заодно, что термин *кимры*, как и название Уэльса *Кембрией*, возникли в VI в., обозначая соратников некоего завоевателя, принца Кюнеды; сумгу означает по-валлийски "спутники", "товарищи".

Не удивительно, что Гумилев в своей ссылке на статью Э. Ренана с присущим ему безошибочно хорошим вкусом заменил слово *кимрский* словом *кельтский*.

Хронологические неувязки пьесы имеют, очевидно, следующие корни: Гумилеву представлялось недобросовестным приписать фантастическому, хотя и вполне правдоподобному на фоне эпохи Гондле реальному историческому отцу среди подлинных верховных королей Ирландии; а если бы он уточнил год, то пришлось бы.

Заодно воспользуемся тут случаем разрешить сомнение Г. П. Струве, выраженное им в примечаниях к "Гондле": "Откуда он (Гумилев) заимствовал имя героя, остается неизвестным".

На этот вопрос как раз нетрудно ответить. В древнеирландской повести "Причина битвы при Кнухе" фигурирует некто Кондла — слуга короля Конна О-Ста-Битвах, который сопровождает Мюрни, беременную Фингалом, в ее странствованиях по

Ирландии после того, как ее муж Кумалл был убит в бою, а отец от нее отрекся. Этим именем, без сомнения, Гумилев и воспользовался, умышленно изменив первую букву.

Иною оказалась в русской литературе судьба Шотландии: этим мы обязаны Джеймсу Макферсону (1738-1796) и его "Песням Оссиана", которые ученые снобы любят называть подделкою. Определение это крайне относительно: Макферсон, для которого гаэльский язык был родным, опубликовал, начиная с 1760 г., ряд английских пересказов подлинных преданий, скомпоновав и обработав их с большой свободой. Специалистам по кельтскому фольклору нетрудно обнаружить у него неточности; для широкой, тем более иноземной публики, они были и остаются драгоценным введением в сокровищницу горношотландских эпоса и лирики. Заслуга Макферсона перед его родным народом безмерна.

У нас тема Оссиана появилась уже у Державина и почти сразу породила замечательное сценическое произведение, имевшее огромный, и заслуженный, успех: трагедию В. Озерова "Фингал", рассматриваемую литературоведами как ни более яркое выражение тенденций предромантизма в творчестве этого высоко-талантливого и в высшей степени несправедливо недооцененного потомством драматурга. На свою беду, Озеров был младшим современником Державина и старшим — Пушкина. Он писал в эпоху сентиментализма, когда и язык и вкусы претерпевали интенсивные и стремительные изменения, в силу коих его слог представляется нам теперь устарелым, а классическая условность его театра — натянутой. Участь его творчества можно сравнить с таковою Карамзина, чьи художественные вещи тоже вызывают у нас улыбку, и тем не менее, роль обоих писателей в развитии русской культуры была самой благотворной. Но пожнать славу довелось не им, а их преемникам...

"Фингал", откровенно заимствованный у Макферсона, насыщенный туманом кельтских сказаний, поражает параллелизмом своего сюжета с сюжетом "Гондлы" (хотя вряд ли Гумилев пользовался Озеровым как источником). Отнюдь не вымышленное *Локлинское царство* есть *Лохлан*, Страна Озер, кельтское название Норвегии (и иногда шире, Скандинавии). Этого стран-

ным образом не замечают советские озероведы (см., например, вводную статью И. Медведевой к собранию сочинений Озерова в "Библиотеке поэта", Л., 1960). Отсюда и культ Одина у жителей Локлинского царства, чуждый и противный *каледонину* Фингалу, прибывающему и уезжающему морем, на корабле. Да и имя местного владыки, *Старн*, — явно скандинавское. Коварный монарх заманивает к себе шотландца, предлагая ему руку своей дочери, на деле же с тайным умыслом его погубить; покушение не удается, и разъяренный отец убивает девушку, перешедшую на сторону Фингала.

Драматическая история разворачивается отнюдь не на фоне междоусобной войны горных кланов, но отражает историческую борьбу между кельтами и скандинавами.

Озеров с большим мастерством рисует среду, нравы и характеры своих героев. Вот бард воспевает возглавителя своего клана:

Встает Морвена вождь Фингал;
Оружье грозное приял;
Стрела в колчане роковая;
На груди рдяна сталь видна;
Копье как сосна вековая,
И щит как полная луна.

Вот девушка из свиты принцессы выражает ей свою преданность и желает счастья:

Цвети, о красота Моины,
Как в утро раннее весной
Цветут прелестные долины
Благоуханной красотой!

Сама Моина рассказывает о себе так:

В пустынной тишине, в лесах, среди свободы,
Мы возрастаем здесь, как дочери природы,
И столько ж искренни, как искренна она.

На что восхищенный Фингал ей отвечает:

Не столько звуки арф в вечерний час
 Приятны при заре, сколь твой приятен глас.

Герой трагедии Озерова, это — Фингал Мак Кумал или Финн Мак Кул, сказочный газельский воитель III в. и отец Оссиана.

Тот же Фингал упоминается в послании Гнедича к Батюшкову:

Иль посетим Морвен Фингалов,
 Ту Сельму, дом его отцов,
 Где на пирах сто арф звучало
 И пламенело сто дубов.

У каждого русского поэта оссиановские мотивы приобретают свою собственную окраску. "Кольна" молодого Пушкина полна радости жизни (в ней чудными стихами изложен эпизод из прозаического перевода Костровым "Песен Оссиана"). "Эолова арфа" Жуковского явно отражает его трагическую любовь к Машеньке Протасовой и разлуку с нею, надломившую всю его дальнейшую жизнь. Одна из сравнительно редких у Жуковского чисто оригинальных, а не переводных баллад, "Эолова арфа" переносит нас опять-таки в знакомую уже нам область горной Шотландии:

Владыка Морвены,
 Жил в дедовском замке могучий Ордал...

Но у Жуковского есть и переводная (с английского) баллада на горношотландские темы — "Уллин и его дочь", начинающаяся словами:

Был сильный вихорь, сильный дождь;
 Кипя, ярилася пучина;
 Ко берегу Рино горный вождь
 Примчался с дочерью Уллина.

Это — переложение баллады Томаса Кэмпбелла (1777-1844) "Дочь лорда Уллина". Переводы Жуковского из Вальтер Скотта ("Замок Смальгольм" и "Суд в подземелье") не относятся к

нашей теме, так как в них действие локализовано в южной, некельтской Шотландии.

Особые отношения были с Шотландией у Лермонтова, видевшего в ней свою исконную и утерянную родину и ностальгически о ней вздыхавшего:

Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.

Он даже высказывал, как свою заветную мечту:

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля.

Но —

Между мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Владимир Соловьев, большой философ и талантливый поэт, побывал в Шотландии в 1893 г. и под впечатлением путешествия написал "Песню горцев", представляющую собою перевод отрывка из вальтерскоттовской "Девы Озера":

Гордо наш пиброк звучал в Глен-Фруине,
И баннохар стоном ему отвечал.
Глен-Люсс и Росс-Дху дымятся в долине,
Пустыней весь берег Лох-Ломонда стал.

Транскрипцию гаэльских слов и названий оставляем на совести Соловьева. Заметим только, что *пиброк* — это шотландская волынка, но *Баннохар* — не название музыкального инструмента (как можно бы подумать), а имя местности.

Последним по времени из русских поэтов обратился к шотландской теме Георгий Иванов в стихотворении, которое начинается строфою:

Шотландия, туманный берег твой
И пастбища с зеленою травой,
Где тучные покоятся стада,
Так горестно покинуть навсегда!

и завершается строчкой:

Храни Господь Шотландию мою!

Переходя к Бретани, мы должны вернуться к Гумилеву, к его коротенькой вещице "Дева-птица", где действие происходит "в тенистых долах Броселианы". *Броселиана* — огромный лесной массив, некогда существовавший в Бретани, последним остатком которого является Пемпонский лес, на территории теперешнего департамента Иль-э-Вилэн. Об этом лесе Виктор Гюго говорит в романе "93-й год", что он "весь полон ручьев и оврагов". В стихотворении не выдержаны специально ни местный, ни какой-либо исторический колорит. И все же там есть атмосфера бретонского фольклора (с ним Гумилев, бесспорно, был хорошо знаком по своей работе над переводом французских песен).

Нельзя обойти молчанием и "Сказания о замках Бретани" Анжелики Балабановой, собранные на месте, и частично с бретонского (о знании языка свидетельствуют приводимые ею цитаты).

Самое важное отражение Бретани в нашей литературе представляет, однако, пьеса А. Блока "Роза и крест". Чрезвычайно любопытна разница в приемах работы у двух поэтов! Гумилев, следуя пушкинской традиции, не дает никаких ссылок на авторитеты и источники (иное дело, когда он начинает рассуждать о теории поэтики!). Ведь, например, мы только по косвенным данным знаем, что в "Скупом рыцаре" изображена Бургундия. Наоборот, Блок с тяжелой профессорской педантичностью приводит обширный перечень использованных трудов, словно для защиты диссертации.

Но в пьесе Блока, в готовом виде, поражает именно отсутствие *жизни* вообще, в особенности же — духа Средневековья, столь ярко ощутимого и у Пушкина и у Гумилева (и, конечно, в ином роде, у Жуковского, Лермонтова, А. К. Толстого). Вспоминается замечание Льва Толстого о замышлявшемся им, но не написанном романе из петровской эпохи: все герои, их одежды и

позы им продуманы, но вот вдохнуть в них движение ему не удается.

Несмотря на изучение лирики трубадуров (которая, между прочим, немало на Блока повлияла и, казалось бы, должна быть ему близка!)*, основные персонажи заимствованы, скорее, из фавлю, нежели из феодальной литературы более высокого класса: капризная и похотливая женщина, карьерист — паж, блудливый капеллан, тупой и жадный граф. А образ Бертрана явно скопирован с Дон Кихота; все же Сервантес, даже посмеиваясь над своим героем, не ставит его в столь глупые и унижительные положения, например, не заставляет дежурить под окном у любимой, когда с нею другой. Впрочем, данную ситуацию Блок позаимствовал, огрубив и утрировав, из "Сирано де Бержерака" Э. Ростана.

Относительно удачнее получилась фигура старого менестреля Газтана и сцены, разыгравшиеся не в Провансе, основном месте действия, а на побережье Арморики (бретонские пейзажи и природа были знакомы Блоку по кратковременным туда поездкам).

На первый взгляд можно подумать, что поэт просто не сумел понять душу Средних Веков. Его интерпретация эпохи схожа со "Сценами из рыцарских времен" Пропера Мериме с их примитивными насмешками (с высоты тогдашнего прогресса! Мы-то, повидав позднейшие плоды просвещения в виде ГУЛАГов и газовых камер, не в состоянии разделить наивное самодовольство Мериме). Но ведь и Пушкин отталкивался от тех же "Сцен", тем не менее, под его пером все подлинно, *переливается огнем!*

От столь прямолинейного объяснения приходится отказаться перед лицом курьезного факта: у "Розы и креста" было несколько последовательных вариантов (советские издания добросовестно их воспроизводят). Первый вариант, в отличие от второго и, особенно, от третьего и окончательного, — гораздо ярче, и в нем много от настоящего Средневековья; там психология героев, включая Изору, — куда человечнее. От первоначального

*Это подтверждает и превосходный перевод в тексте "Розы и креста" знаменитой сирвенты Бертрана де Борна.

наброска Блок по причинам, о которых нам остается лишь гадать, повернул совсем не в ту сторону, и не улучшил, но сильно испортил свой замысел.

Куда красочнее и глубже выглядел в черновом тексте и бретонский местный колорит.

Изображенный Блоком период относится к первым годам правления Пьера де Дре по прозвищу Пьер Моклерк, французского принца и внука короля Людовика Толстого, получившего герцогский престол благодаря браку с Алисой, наследницей бретонской династии (она приходилась сестрой юному и блестящему Артуру Бретонскому, попавшему в плен к англичанам и убитому там, видимо, по приказу его дяди, Иоанна Безземельного). Это был чрезвычайно бурный период, отмеченный необычными для прежних бретонских властителей усилиями герцога сломить власть феодалов и духовенства. Все это, однако, в пьесе не нашло места; ее историческая часть целиком концентрируется на событиях на юге Франции, связанных с крестовым походом против альбигойцев.

В высшей степени интересно исследовать тот основной источник, которым пользовался Блок, — книгу виконта Теодора Эрсара де Ла Вильмарке "Барзаз Брейз. Народные песни Бретани", впервые опубликованную в 1841 г., переизданную в 1867 г. и в 1964*. Приложенный к сборнику параллельный французский текст сделал его доступным для Блока и других любителей.

Ла Вильмарке (1815-1895), по-бретонски Керваркер, аристократ из семьи, отличавшейся симпатией к местным традициям, уроженец чисто кельтского района Арзано-Кемперле в Финистере, был в духовном отношении учеником и последователем Шатобриана и Ле Гонидека (составившего бретонские словарь и грамматику, сыгравшие важную роль) и сам — создателем бретонского романтизма.

Хотя в наши дни бретонская литература стала весьма богатой и разнообразной во всех жанрах, включая театр (Т. Мальманш, Ж. Приэль), роман различных типов, от бытового (Ю. Дрезен) до детективного (Я. Керверхез, Р. Эмон) и, разумеется,

*Barzaz Breiz, Chants populaires de la Bretagne.

поэзию (Я. Каллох), "Барзас Брейз", пожалуй, — лучшее, что было ею создано. Не зря Жорж Санд сравнивала эту книгу с "Одиссеей".

Эти "народные песни", откликающиеся на все главные события многовекового бытия Бретани, носят явные следы пера большого мастера, хотя их мотивы всегда подлинные и большинство из них имеет прототипы в реальном бретонском фольклоре. Представим себе русские песни, собранные Пушкиным или Лермонтовым, — вот что такое "Барзас Брейз".

Не удивительно, что Керваркеру предъявили обвинение в фальсификации, как и Макферсону (хотя и с меньшим основанием). Он не стал этого обвинения опровергать, но в последующих публикациях (менее значительных, чем первая) со скрупулезной точностью соблюдал нормы филологической техники.

Первым критиком Керваркера выступил его современник, поэт и фольклорист Франсуа Люзель, или, по-бретонски, Франсе Ан Юэль. Он сам собрал и издал весьма ценные бретонские песни, мистерии и сказки, но в художественном отношении они не идут ни в какое сравнение с "Барзас Брейз". Самые сильные обвинения Люзеля относятся к наиболее архаичным (и наименее засвидетельствованным в устной традиции песням, изданным Керваркером. "Гибель города Ис" ("Ливаден Герис") входит идейно в данную категорию, хотя подлинность легенд о затонувшем городе Ис (или Керис) никто не оспаривает, и даже его реальное существование все более начинают считать вероятным.

У Блока точнее всего передана вторая половина баллады "Ливаден Герис", тогда как первая, речь святого Геноле, предвещающая наводнение, пересказана крайне субъективно.

В подлиннике, после вступительного куплета: "Слыхал ли ты, слышал ли ты, что сказал человек Божий королю Градлону в городе Ис?" следует примерно такая проповедь отшельника: "Не предавайтесь удовольствиям любви и развлечениям. За радостью следует страдание", то есть, приготовьтесь к наступающему бедствию, раскайтесь в своих грехах и ведите себя благоразумно. Блок же передает так:

Не верьте любви!
Не верьте безумию!
За радостью — страдание!

Тут он входит в прямое противоречие с философией подлинных бретонских песен, и в частности, одной из них, зафиксированной Анжеликой Балабановой: "высшее на земле счастье — любить и быть любимым".

С предельной краткостью и силой изложена суть легенды о городе Ис в прекрасном стихотворении О. Анстей "Китеж", навеянном Блоком.

Неизвестно, сколько читателей прочло в России "Барзас Брейз". Благодаря приложенной к книге французской версии, она была доступна всем образованным людям. Но сохранилось одно довольно занятное свидетельство о ее внимательном прочтении — роман Сергея Мстиславского о революции 1905 г. "На крови", где автор цитирует — по-бретонски! — по крайней мере три из включенных в "Барзас Брейз" песен ("Опора Бретани", "Иоанна Пламя" и "Горностаи").

С. Мстиславский (1876-1943), автор ряда романов — "Без себя" (о гражданской войне в России), "Грач, птица весенняя" (о подпольщике Н. Баумане), "Крыша мира"(связанный по сюжету с "На крови") представлял собою тип русского аристократа и офицера, ставшего революционером. Зная его Н. Мандельштам подтверждает, что Мстиславский необычайно гордился тем, что он рюрикович. Но в связи со своими революционными взглядами, Мстиславский даже отрывкам из песен придал подчеркнуто антимоноархическое звучание, какового нет в оригинале. Отрывки введены в текст весьма искусно (герой знакомится с девушкой, Магдой Бреверн, которая переводит "Барзас Брейз" на русский язык и обсуждает с ним детали перевода).

Независимо от Блока, к бретонской тематике обратился К. Бальмонт, в стихотворении "Бретань" так описывающий типичный армориканский ландшафт:

Как сонмы лиц, глядят толпы утесов
Седых, застывших в горечи тоски.
Бесплодны бесконечные пески.

В другом стихотворении, "Сила Бретани", Бальмонт касается все того же предания о затонувшем городе:

В таинственной как лунный свет Бретани...
В те ночи, как колдует здесь луна,
С Утеса Чаек видно глубь залива.
В воде — дубравы, храмы, глыбы срыва.
Проходят привиденья, духи сна,
Вся древность словно в зеркале видна,
Пока ее не смоет мощь прилива.

Можно еще упомянуть стихи о Бретани крупного эмигрантского казачьего поэта Н. Туроверова:

Приморские деревни
Над камнем и водой...

Другой эмигрантский поэт, рано скончавшийся Владимир Диксон (1900-1929) сделал прозаические переложения нескольких бретонских легенд. Они вошли в его посмертный сборник "Стихи и проза" (Париж, 1930).

Иностранная фамилия писателя объясняется происхождением В. Диксона от шотландца, переселившегося в Ирландию в 1690 г. после трагической битвы на Бойне, где он сражался на стороне Вильгельма Оранского.

Меньше, чем Бретани, повезло у нас близкому к ней по языку Уэльсу. И однако, как мы убедимся, о нем писали по крайней мере три больших русских поэта.

Стихотворный отрывок Пушкина "Медок в Уаллах", к которому он сам сделал примечание, что вместо *Уаллы* надо читать *Уэльс*, имеет своим источником поэму Роберта Соути (1774-1843), английского романтика "Озерной Школы", у которого Пушкин и Жуковский многое заимствовали. Согласно преданию, валлийский принц Медок в XII в. посетил Америку (в частности, Мексику). В десятитомном издании собрания сочинений Пушкина 1959 г. к стихотворению дается довольно нелепый комментарий: "Уэльс — графство в Великобритании". Следовало бы сказать "княжество" или "провинция", или как-либо

еще иначе, ибо Уэльс включает в свой состав много различных графств (Кармартен, Пемброк, Гламорган, Энглеси и др.).

Вольным переложением баллады того же Соути "Лорд Вильям" является баллада Жуковского "Варвик". Действие ее происходит в пределах Уэльса, на его рубежах с Англией, в эпоху Средневековья. Название реки Северн заменено у Жуковского именем другой реки *Авон*, протекающей по соседству (*авон* по-валлийски значит просто "река").

Наконец, уже в эмиграции, Владимир Смоленский переложил на русский язык историю Тристана и Изольды, опираясь на французскую версию Бедье. Эта легенда восходит к циклу короля Артура, первоначально сложившемуся у кельтов; события локализованы в основном в Уэльсе и Корнуэльсе.

Изо всех населенных кельтами стран только самая маленькая, остров Мэн, не нашла, как будто, никакого отклика в русской литературе; во всяком случае, мне такового обнаружить не удалось.

В. Рудинский

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ*

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

19 сентября 1951 г.¹

Дорогой Марк Александрович,

Вот какое письмо получил я нынче от В. Александровой:

"Глубокоуважаемый" и дорогой Иван Алексеевич, спасибо за письмо. Я ознакомила издательство с его содержанием. К великому своему прискорбию должна сообщить Вам, что издательство не может сделать исключение даже для Вас, хотя искренне сожалеет о том, что таким образом лишается удовольствия Вас издать. Издательство просило меня сообщить Вам, что оно в любое время возобновит переговоры с Вами о заключении контракта, если Вы пожелаете изменить Ваше решение.

С сердечным приветом
Вера Александрова".

Я в таком ужасном материальном и физическом состоянии, что не знаю что и делать. Пишу Александровой, что *подумаю*, а пока что прошу сообщить мне пункты контракта.

А Вы? Вы уже получили контракт? И, если да, то не можете ли сообщить мне его главные пункты?

Целую Вас и Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Б.

P. S. 25-го сент[ября] должен быть у меня знаменитый франц[узский] врач (Мукэн) — я совсем погибаю от удушья и

*См. "Н.Ж" No. 150. 152-155.

слабости сердца. С ним придут Беляев и Зернов — это, значит, обойдется нам тысяч в десять! А *всего капитала* у нас осталось меньше ста тысяч! А это "Издательство имени Чехова"... добавьте сами, что я могу о нем сказать! И кому оно хочет угождать? Кому, зачем, почему? С каким восторгом я проклял бы его, если бы кто-нибудь другой спас мои последние дни!

Прилагаю мои "Вопросы относительно контракта". Прочтя, *пожалуйста возвратите*.

1. За исключением подписи и P. S. письмо напечатано на машинке.

24.IX.51 г.

Дорогой Марк Александрович, откуда Вы взяли, что я могу писать Александровой и Вредену (ему особенно) резко? Ей я пишу уже давно "дорогая", ему особенно сердечно. Он только что прислал мне самое дружеское письмо — и я ему уже ответил вчера: "сдаюсь, набирайте меня по этой ужасной "новой" орфографии". Необходимо только, чтобы в типографии было ё и е, г. е. (всё — и все), иначе просто мука — спотыкаться на этом.

Ваш Ив. Б.

7.1.1952 г.

Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
"Как бы нам с тобой дознаться,
У кого бы нам издаться?"

Но Зелюк умер, о Гукасове и думать нечего, — отвечает только ИМКА:

Отвечает Имка: "Мы
Издаем одни псалмы
Да про девок и лакеев
Повесть de Mme Makeev".

Ив. Б.

7 янв[аря] 52 г. Вечер.

Дорогой Марк Александрович,

Письмо на север послано уже позавчера. А можно до 26-го янв[аря] посылать. Расписку моего заказного письма я послал Вам вчера. Возвращаю Вам и копию Вашего письма от 29 дек[абря] и советую оторвать и уничтожить то, что приписано в нем внизу рукой, — Ремизов, Зайцев? Думаю, что никогда этого не будет. Ужасно рад, что дело с Вашим романом и контрактом разъяснилось. Очень благодарю, что напишете Николаевскому. Напишу и я ему. Цвибака в это дело, равно как и в сбор на меня, не надо вмешивать ни в коем случае. — Кончаю, сейчас уходят от нас Ляля и Олечка — уже почти полночь.

Целую Вас обоих — Ив. Б.

[Алданов Бунину]

11 января 1952 г.

[...] Ваши стихи чрезвычайно остроумны, мы оба долго смеялись. К сожалению, сказанное в них горькая правда: кроме "Издательства имени Чехова" больше ничего не осталось. А что если и оно просуществует недолго? [...]

11 февр[аля] 1952 г.

Дорогой Марк Александрович, мне очень хотелось бы появиться в *ближайшей* книге "Нового Журнала" (где, надеюсь, уже не будет Берберовой, но, конечно, будет этот поганый гном, шарлатан с красным паспортом, бывший усердный сотрудник "Советского Патриота" Ремизов). Хочу напечатать в *этой* книге 2 стишка, при сем **прилагаемых***. Но куда, кому их послать? Дорогой друг, пошлите Вы — Вы это знаете. Заранее благодарю и целую.

Целую руку Татьяны Марковны. Вера очень кланяется.

Ваш Ив. Б.

* Ночь

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет

До постели лег.
 Никого в подлунной нет,
 Только я да Бог.
 Знает только Он мою
 Мертвую печаль,
 Ту, что я от всех таю...
 Холод, блеск, мистраль.

Искушение

В час полуденный, зыбко свиваясь по Древу,
 Водит, тянется малой головкой своей,
 Ишет трепетным жалом нагую смущенную Еву
 Искушающий Змей.
 И стройна, высока, с преклоненными взорами, Ева,
 И к бедру ее круглому ластится гривою Лев,
 И в короне Павлин громко кличет с запретного Древа
 О блаженном стыде искушаемых дев.

P. S. По древним преданиям, в искушении Евы участвовали Лев и Павлин. Ив. Б. [*Новый Журнал*, 28 (1952), стр. 3].

[Алданов Бунину]

12 февраля 1952 г.

[...] Стихи чудесные, принадлежат к Вашим самым лучшим. Мне тоже очень, очень хочется, чтобы они попали в ближайшую книгу. Но не опоздали ли Вы?... Возможно, что книга уже верстается, если еще не печатается. А ведь Ваши стихи надо напечатать на первом месте [...]

Утро, 13-го февр[аля] 52 г.

Дорогой Марк Александрович,

Получил Ваше письмо и решаюсь опять Вас беспокоить: будьте добры послать мои стихи в Нью-Йорк, в "Новый Журнал", — 223 West 105 Str., New York 25, N. Y. (таков адрес, напечатанный в книге XXVII на днях мной полученной). Напишите, пожалуйста, что я хотел бы очень попасть в *ближайшую* книгу, — она, думаю, еще не совсем готова, — на

Н. В. какое угодно место (а не на первое), и что Вы извещаете об этом Карповича, который, конечно, согласится заглянуть на мое участие в этой книге. И еще, сделайте милость поправить четвертую строку в стихотворении "Ночь", в этой строке сказано:

Гор, долин нагих,

а надо так:

Гор, холмов нагих.

Благодарю Вас заранее и обнимаю. Татьяна Марковне кланяюсь в ножки.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Перечитал в этой книге "Нов. Журнала" Степуна — "Накануне войны 1914 г.". Захлебывается от восторга перед всем, что мне просто нестерпимо. Между прочим, и перед физической красотой Блока. А у Блока кудрявость барана и такая тяжелая нижняя челюсть, что годилась бы Сампсону избивать ею Фелистимлян!

1. Приписано Буниным над "с": "Фелистимлян" — и?"

17.3.1952 г.

Очень благодарю, дорогой Друг, за Ваши заботы о моем здоровье. Я еще очень слаб, лежу и потому диктую. Относительно заглавия имейте в виду, что уже объявлено в Чеховском издательстве, что выйдет в свет книга Корякова "Освобождение души". Я бы и по-русски и по-английски назвал Ваш роман "Живи как хочется" — это всех и везде будет заинтриговывать, многим будет очень нравиться, некоторых возмущать, что тоже отлично.

Целуем Вас обоих сердечно!

Ваш Ив. Бунин

P. S. Нынче получил, наконец, из Чеховск[ого] издательства свою книгу. Изданием очень доволен.

1. Эта часть письма напечатана на машинке.

[Алданов Бунину]

19 марта 1952 г.

Дорогой Друг,

Я по-настоящему тронут, чрезвычайно тронут тем, что Вы, несмотря на слабость и нездоровье, сочли возможным тотчас мне ответить. От души Вас благодарю. Разумеется, так и назову роман: "Живи как хочется". И не только потому, конечно, что Коряков назвал свою книгу "Освобождение Души" (я этого не знал, и действительно неудобно было бы после этого выпустить в том же издательстве еще "Освобождение", — было бы слишком много "освобождений"); главное то, что *Вы* заглавие "Живи как хочется" одобряете.

Так "Жизнь Арсеньева" издана хорошо? Это очень приятно. Неужели и опечаток немного?!

Получил вчера от Николаевского письмо. Он на мой повторный вопрос отвечает, что делает все возможное для получения субсидий для Вас, "хотя это теперь трудно".

Вчера же пришло письмо от Карповича, первое ко мне из Лондона. Он в восторге от Ваших стихов. Спрашивает меня, можно ли ввиду Вашего нездоровья к Вам зайти: "в конце этой недели" уезжает в Париж, затем через Женеву в Италию. Я *тотчас* ему ответил, дал ему Ваш телефон, попросил предварительно Вам позвонить и сказал, что, по моему мнению, Вы его примете. Не знаю только придет ли мое письмо в Лондон до его отъезда.

Вас раздражила статья Степуна. Меня тоже немного раздражила, хотя и меньше, чем многое из того, что парижские литераторы печатают в литературном отделе "Нового Русского Слова". Что ж делать, они все уверены, от Ремизова до Терапиано, что самое высокое и важное в литературе было это самое: Блок, Ремизов, Брюсов, петербургские башни, московские салоны, "акмеизмы", "символизмы" и разные "откровения", вроде тех, о которых серьезно и очень подробно рассказал талантливый и ненормальный Белый. (Его воспоминания много интереснее и его романов, и его стихов). Все же мне кажется, что, *после Ваших воспоминаний*, уже не совсем так, как недавно пишут, по крайней мере, о "Двенадцати" и "Скифах". Я же эти два шедевра всегда считал отвратительными и написал это о

“Двенадцати” очень кратко в моей конфискованной книге “Армагеддон” (очень плохой) еще при жизни Блока [...]¹

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 133, 143.

17 июня 1952 г.¹

Дорогой Марк Александрович,

Напишите поскорее, пожалуйста, что сказал Вам доктор о шуме в ушах. Я почти уверен, что нет ничего плохого, — шум этот бывает от многих причин, вовсе не опасных, но все же успокойте нас, дорогой² друг.

Статью о новой кн[иге] “Нов. Ж.” написал Андреев совершенно дикую (“Рус[ская] Мысль” 11 июня)³ — о Зайцеве такое, что никто не писал подобного о Шекспире, о Гете, только о Сталине так пишут. Если Вы газеты не найдете, то Вера может выписать то, что он написал о Вас.

Нынче я прочел (в Н[овом] Р[усском] С[лове]) и еще одну замечательную вещь: сообщение Вредена о том, что это милое “И-во имени Чехова” собирается еще издать по части поэзии: “все самое пошлейшее, что идет в каждом воскр[есном] номере Н[ового] Р[усского] С[лова] уже много лет: Пастернак, О. Мандельштам и Гумилев”. А эта ... В. Александрова возвратила мне нынче мою “Жизнь Арс[еньева]” (то, что я послал в свое время для набора с моими поправками) при таком письме: “Многоуважаемый Иван Алексеевич, в согласии с существующим порядком, по которому И-во обязано по истечении трех месяцев с момента выхода книги вернуть автору оригинал его рукописи, при сем возвращаем Вам рукопись Вашего романа. С совершенным уважением В. Александрова”.

Вот так-то теперь пишет! А когда-то: “Глубокоуважаемый и дорогой... С *трепетом* жду Вашего ответа...”. Да не лучше и этот г. Вреден: тот так ни слова и не написал мне в ответ на мое столь Вам известное письмо. Вы так нахваливали мне его, что я писал ему с таким простодушием, к которому он отнесся столь недостойно (говоря мягко).

Сейчас мертвый сезон уже. *Но осенью я напечатаю кое-что*

о моей истории с этим идиотским и подлым издательством.

Как зовут жену Соломона Самойловича Атрана? Нас тоже очень огорчило известие о его кончине. Он, действительно, был редким человеком. И куда, по-Вашему, адресовать мое письмо?

Сегодня я получил по авиону фельетон из Н[ового] Р[усского] С[лова] о том, как меня читают и ценят в России, несмотря на мою старую орфографию, — "дочитывают до дыр" [...]⁴

1. Письмо напечатано на машинке со вставками, написанными рукой Бунина.

2. Так в оригинале

3. Андреев писал: "Многие часто предпочитают несравненную прозу этого удивительного тайновидца русского слова его поэзии. Однако, напечатанные здесь два небольших и совершенно различных по духу стихотворения "Ночь" и "Искушение" столь ошеломляюще сильны в своей завершенной лаконичности, в единстве смысла и ритма, в лирической и картинной наполненности, в чисто Бунинской простоте формы и глубине поэтического содержания, что читатель невольно вынужден сделать длинный перерыв в чтении журнала прежде, чем вновь находит в себе свободу для восприятия страниц иных авторов". О Зайцеве: "Б. К. Зайцев напечатал несколько глав из своей новой книги "Древо Жизни" последней части автобиографического цикла о Глебе. По совести говоря, произведение это даже привыкших к слаженной ясности прозы Бориса Зайцева поражает своей совершенностью, внутренней гармоничностью, напряженностью и остротой предмета повествования и кажущейся легкостью внешнего раскрытия темы, — знаки не только высочайшего уровня мастерства автора, но и его писательской а — значит — и человеческой мудрости. "Древо Жизни" невозможно рассматривать в категории "удачной беллетристики".

4. Бунин ссылается на статью "Советская Россия и Иван Бунин", написанную Вяч[еславом] Завалишиным и появившуюся в "Новом Русском Слове" 15 июня 1952 г. Завалишин цитирует слова пейзажиста А. А. Рылова, который заявил: "Бунин воспроизвел увядание русской усадебной культуры, но посмотрите, — воодушевился Рылов, — с какой проникновенной силой и с каким чувством меры пишет Бунин о таинстве смерти. Я же бессилён найти в этом таинстве очарование и красоту". И в поддержку своего мнения Рылов читает стихотворение Бунина "Растет, растёт могильная трава". Особенно похвальные были слова Паустовского: "Сказать, что Бунин — пейзажист — значит, ничего не сказать. Бунин как бы стоит на крыле храма или на вершине горы, откуда ему открыты все судьбы России, в её минувшем, настоящем, и будущем.

Бунин необыкновенно одухотворенный художник слова, и одухотворенность раскрывается им не только в изображении природы, но и в изображении интуитивных, незамеченных другими сторон интимной жизни человека".

В конце статьи Завалишин пишет: "Бунин популярен не только среди писа-

телей, но и среди читателей. Большевикам эта популярность — не по душе. В начале тридцатых годов произведения Бунина были вычеркнуты из советской средней школы. Но, несмотря на окрики сталинских цензоров, книги Бунина, в советской России издававшиеся крайне редко, переходили из рук в руки и зачитывались до дыр”.

[Алданов Бунину]

20 июня 1952 г.

[...] Да, можно сказать, [Андреев] густо расхвалил Зайцева, — еще много лучше, чем Аронсон Кленовского! Не сомневаюсь, что эта часть статьи уже отправлена — не Борисом Константиновичем, а Зеелером и Паскалем — в Стокгольм. Я думаю, что у Зайцева много шансов на Нобелевскую премию [...]

21.VI.52 г.

Дорогой Марк Александрович, получили Ваше письмо. Слава Богу, что кроводавление у Вас сравнительно небольшое. А что до шума в ушах, то Михельсон, бывший у нас вчера вечером, говорит, что и у него этот шум и что *знаменитый* фран[цузский] врач сказал ему, что ничего опасного в этом нет. На фельетон в "Русской Мысли" Шведская Академия вряд ли обратит внимание, обратила бы, если бы он был подписан Зеелером. Мои болезни ничуть не ухудшились оттого, что Александра не написала мне "дорогой", но "многоуважаемый"... Уж очень она зазналась! А Вредену ее болезнь, конечно, беда — вон сколько у него еще и *новых* проектов, как написал в Н[овом] Р[усском] С[лове] какой-то "книжник", имевший с ним беседу: он хочет помочь еще и американским писателям издаваться (хотя Черчилль, напр., вовсе не американец).

"Окаянные дни" предлагать ему и Александровой мне никогда не приходило в голову. Это Аргус однажды написал, что это единственная книга о большевиках, имеющая значение. Я вообще уже *ничего* не хотел предлагать этому милому издательству после того, как г. Вреден не удостоил меня ответом на мое письмо. Будьте добры успокойте Шварца. "С томом рассказов", говорит Шварц, "все было бы решено в два счета". Видел я эти 2 счета! Да и как же могло быть это, раз Вреден, которому я написал в свое время, что "И-во имени Чехова" так обидно ведет

себя со стариком Буниным, что ему, "может быть, придется покинуть это издательство", так великолепно воспользовался случаем: "Ах, так! Да, Вы еще и критикуете нас? Так позвольте Вам выйти вон!". Как назвать такой поступок? А предполагал я предложить этому И-ву книгу очень, очень неплохих рассказов, — главное, весьма оригинальных: *Весной в Иудее и другие рассказы*. Такую книгу, думаю, покупали бы (евреи, конечно, ибо русские не любители книжки почитать).

Что до "Знания", то я просто поражен был, прочитав Ваши строки о нем! Да какое мне было дело до того, что "Зн[ание]" издавало Скитальцев, Муйжелей. Писатели это были скверные, но печататься рядом с ними все же можно было, и я ничуть "не волновался", что "Знание", издательство *частное*, печатает их. Но ведь Форд пожертвовал свои деньги на *общественное* дело, на просветительное, пропагандное, на печатание лучших произведений старых и новых эмигрантов! Тут уж были причины волноваться мне — когда я увидел какой дикий, идиотский кавардак являют издания "Издательства Чехова", который, если бы встал из гроба, обложил бы его крупнейшим матом. "Соборяне", Тютчев, Тыркова (*только что* кончившая печатать свои скучнейшие и часто вполне ничтожные воспоминания в "Тетрадах" Гукасова — и т. д. и т. д.).

Целую Вас и Т. М. Ваш Ив. Б.

Головные боли мои продолжаются с дьявольской силой.

[Алданов Бунину]

30 июня 1952 г.

[...] Чеховское издательство решило допечатать еще немалое количество (повидимому, 3000) экземпляров "*Жизни Арсеньева*"! [...] Это даже не успех "*Жизни Арсеньева*", а триумф! [...]

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 133.

7 июля 52 г.

Дорогие друзья, Вы, конечно, знаете, какая ужасная жара у нас, и легко можете себе представить, каково мне в моей клетке с моим удушьем, когда нельзя даже окно отворить, ибо уличный

воздух еще горячее, чем в доме. Но что я! Я в ужасе за Веру: она и без жары была едва жива от всех своих работ и забот, но жара совсем доканала ее: доктор Зернов, вызванный к ней, нашел, что надорвалось ее сердце, — оно всегда было у нее отличное, — и прописал ей корамин, нашел крайнее малокровие, — она уже давно, сокращая расходы, питалась просто нищенски... Теперь у нее пузыри под глазами, опухшее лицо, — я порой не могу удержаться от слез, глядя на нее... *Все это пишу Вам втайне от нее.*

Вреден до сих пор не написал мне ни слова. Каково! О том, что этот Chekhov Publishing House, будь он проклят до 77 колен, должен издавать второе издание "Арсеньева", я узнал от Вас, а про издание сборника моих рассказов — от Вейнбаума! Нынче пришло письмо от Lilian Dillon Plante (по-английски!) о том, что это самое издательство печатает антологию русской поэзии (Александрова и на больничной койке не сдастся!), хочет поместить десять моих стихотворений, перечисляет их — и я, прочитав это перечисление, завыл на весь дом от бешенства и негодования: половина этих стихотворений писана мною лет 70 тому назад и по убожеству поистине нечто редкое! Вот еще одно страшное доказательство, в какие руки попало это издательство! Это уголовное, уголовное дело!

Целую Вас.

Ваш Ив. Б.

Вечер 9 окт[ября] 52 г.

Писал Вам нынче утром, дорогой Марк Александрович, и забыл сказать, что я понял это "предисловие", не так, как Вы сообщаете, — не в виде биографическом, — а как некоторое *удостоверение*, что автор книги, снабженной "предисловием", достоин издания ее "Чеховским Издательством". Вот откуда шла моя лютая обида. Да и сейчас я думаю: *только ли* биографическую справку хотело дать обо мне читателям это милое И-во?

"Реагировал" я на это дело, м. б., слишком пылко. Но я был болен гриппом (да и сейчас еще не совсем здоров).

Как завидовал я Вам и Ляле, получив Вашу открытку с Капри! Не видать мне больше ничего, кроме моей гнусной квартиры!

А Надежде Александровне [Тэффи] и в голову не приходило

умирать так скоро: в письме ко мне 24 сент[ября] просила меня дать ей полное издание Дон Кихота, — "советское", — которое я читал в Juan-les-Pins, надеясь что-нибудь ухватить в Дон Кихоте для испанского рассказа, обещанного Рогнедову, но которое никак не принадлежало мне (к большому моему сожалению, ибо уж как я мотал головой, читая, от восхищения умом Сервантеса). Письмо это было очень жалобно и написано большими и очень не ровными каракулями, но все-таки далеко от смерти.

Еще раз кланяюсь Вам и Т. М.

Ваш Ив. Б.

Пишу, а в голове: нынче Н. А. почует уже в могиле!

31 октября 1952 года¹

Дорогой Друг,

Чеховское Издательство дает *всем* авторам *только шесть экземпляров*. Никаких других своих изданий оно всем нам никогда не дает. Пожалуйста, не тратьте на нас Ваш новый роман: мы найдем способ прочитать здесь его, возьмем в библиотеке, — есть такая, где можно достать все книги Чеховского Издательства, — или попросим Любовь Александровну дать нам, а Вы из своих экземпляров пошлите кому, по Вашему мнению, следует послать для отзыва. А помимо этого напишите издательству, кому и оно должно послать Ваш роман для отзыва. Относительно Карповича и Вейнбаума думаю, что *лично им* они не пошлют, хотя не уверен в этом. Скидку делают, кажется, в двадцать пять процентов.

Ремизов, по-моему, премии не получит.

"Русскую Мысль" мы не покупаем. Нам занесли соседи один номер, где было по поводу кончины Тэффи строк десять (совершенно идиотских) Зеелера² ...А Каллаш озаглавила свой фельетон о ней в "Рус[ских] Новостях" так: "Светлая душа". Хороша светлая!

Обнимаю Вас и целую руку Татьяне Марковне. Вера шлет вам обоим дружеский привет. Л[eonид] Ф[едорович] Зуров] кланяется Вам обоим.

Ваш Ив. Бунин

Задыхаюсь адски!

1. За исключением некоторых поправок и подписи письмо целиком напечатано на машинке.

2. "В понедельник скончалась Надежда Александровна Тэффи. Не стало настоящей русской талантливой писательницы. Как далека была мысль о смерти, когда знал, читал и понимал этот искрометный, чудесный, полный жизни дар Тэффи... И все же Тэффи покинула наш мир — далеко от горячо любимой ею родины — России. Русская литература потеряла одного из лучших своих представителей. Владимир Зеелер" ("Кончина Н. А. Тэффи", *Русская Мысль*, 8 октября 1952).

2 января 1953 года

Дорогие Друзья,

И мы поздравляем Вас с Новым Годом и от всей души желаем вам здоровья, счастья и всякого благополучия.

Давно не писал Вам, да и сейчас не могу, — диктую, но и то задыхаюсь. Беда в том, что вот уже второй месяц пошел, как я теряю кровь, мой геморрой вдруг опять посетил меня. Но это уже не прежнее время, теперь я из-за этого едва жив. То, что писал Вам Адамович, неправильно: когда задыхаешься, да еще перед кровью, лицо кажется пополневшим, а голос напрягается от возбуждения.

Письмо, известное, Вам пошлю не нынче-завтра заказным авионом.

Вы пишете, что во второй половине января Вы будете во всяком случае в Париже — будем рады, соскучились по вас. Мы надеемся, что рука Татьяны Марковны к этому времени, наконец, поправится.

Читаете мои книги в издании Петрополиса? Разве они у Вас есть, или в библиотеке берете? Что хвалите меня, конечно, очень рад этому. То, что хотите взять эпитафией мои стишки, очень приятно. Кланяюсь и благодарю.

Статьи Сабаньева о Шалапине не читали. А очень интересно было бы прочитать. Когда она была напечатана?

Что Вреден молчит, это меня, конечно, не удивляет. Роман Ваш по-английски и по-русски, конечно, продается.

Мои две книжки выходят в свет, как пишет Терентьева, в феврале, пролежавши у издательства полгода без движения. А

это нас, конечно, страшно подковало: надеялись, что к январю они выйдут в свет, и мы получим деньги к этому времени, иначе не стали бы входить в такие расходы по устройству ванны.

Что до Ремизова, то я просто имени его не могу слышать теперь. И каково видеть буквально каждое воскресенье его подлое издевательство и над читателем и над русским языком в Н[овом] Р[усском] С[лове]. И вот еще что он сам про себя рассказывает с восхищением, вероятно, насчет самого себя: будучи мальчишкой, любил забираться в церковь, когда церковь была переполнена. Тут он прижимался к кому-нибудь, стесненный толпой, и мочился в шапку или картуз перед ним стоящего.

Ну, устал диктовать. Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Бунин

[Следует приписка В. Н. Буниной]

[Алданов Бунину]

8 января 1953 г.

[...] Спасибо и за разрешение взять Ваши стихи эпиграфом. Как Вы помните, у меня в этой повести эпиграфы есть к каждой главе. Вы там будете единственный живущий писатель, а то все Платоны, Шиллеры, Стендали. Отлично понимаю, разумеется, что *Вам* это ни к чему, но *мне* очень, очень радостно¹.

У меня есть девять томов Ваших произведений издания Петрополиса, все в переплетах. Перечел все девять, — не знаю уж, в который раз... Рад, что в феврале Ваши книги выйдут... Посовети, я думал, что они в 1953 издадут только одну Вашу книгу. Это большая удача, потому что тогда скоро, думаю, можно будет начать с ними разговор об издании четвертой книги? [...]

1. Алданов ссылается на свою *Повесть о смерти*, в которой он воспользовался стихами Бунина 1916-го г. ("Синие обои полиняли, Образа, дагерротипы сняли") в качестве эпиграфа к восьмой главе пятой части.

20 апреля 1953 г.¹

Дорогой Марк Александрович,

Спасибо за Ваши оба письма и за поздравление. Простите,

что не писали.

После Вашего отъезда я опять был болен, и опять был пенициллин и все прочее. С тех пор я так слаб, что, вот, не могу писать рукой, а диктую. А Вера уже совсем утомилась за Страстную и Святую. С архивом почти все кончено, осталось ей еще кое-что переписать.

Рад, что Ваш роман, по сообщению Александровой, продается хорошо. Вы пишете, что Вреден и Терентьева не писали Вам ни разу, но разве для Вас новость, Вреден, а Терентьева, очевидно, теперь совсем на втором плане.

Я тоже не знаю, возобновило ли издательство покупку книг, да и что ж им возобновлять, когда у них уже накоплено невероятное количество черт знает чего. Вы как-то писали, что ведь я не возмущался тем, что издает "Знание", а тут возмущаюсь, но ведь "Знание" было совершенно частное предприятие, а "Чеховское Издательство" — **общественное**, созданное для старых и новых эмигрантов, а меж тем на что же это, например, для новых эмигрантов, людей в крайней степени практических, Гумелев да Гумелев², Ахматова, а теперь еще и Цветаева? Как продаются мои книги — да как им продаваться, когда никому из критиков мои книги не были посланы. Вот *мне самому* пришлось дать Адамовичу их из своих шести экземпляров (совершенно идиотских *шесть!*). Слышал, что о Вас нехорошо написано в "Возрождении", но слышал только, что издеваются: "Пиши, как хочешь!"³ Вот Вам Ваш сукин сын Мельгунов.

Был два раза у нас Степун, Н. Н. — один, она простудилась и боялась к нам придти. Оба они очень пополнили. Но, слава Богу, кажется, благополучны. Обещали приехать осенью. Читал он две лекции: одну — "О творчестве Бердяева".

Позовет ли меня опять в Москву Телешов, не знаю, но хоть бы сто раз туда меня позвали, и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я мог бы двигаться, все равно **никогда** не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа.

С нетерпением жду Вас в Париж, очень хочется поговорить. Целую Вас и руку Татьяне Марковне.

Вера шлет Вам самый дружеский привет.

Ваш Ив. Бунин

-
1. За исключением некоторых поправок и подписи, письмо целиком напечатано на машинке.
 2. Так написано Буниным.
 3. Титул романа Алданова — *"Живи как хочешь"*.
-

15 июля 1953 года¹

Дорогой Марк Александрович,

Очень благодарю Вас за обстоятельное и интересное письмо.

Прежде всего о Магеровском ... архив, которым он заведует под руководством Мосли, предложил мне за мой архив *тысячу долларов*, и я на это ответил, что эта сумма так далека от той, которую я желаю получить, что прекращаю все дальнейшие переговоры по этому поводу.

Вообще вопрос о продаже нашего архива мы пока отложили. Заняты другим. Если Чеховское Издательство получит новую ассигновку, то я буду просить его исполнить то, что обещал мне Вреден в августе 1951 года, то есть издать *третий* сборник моих рассказов, в который должны войти мои, может быть, наилучшие рассказы: "Петлистые Уши" и другие весьма жестокие рассказы-с одной стороны, а с другой — "Аглая" и ряд рассказов весьма благостных. Что до книги о Чехове, то я думаю, что она должна выйти летом 1954 года к пятидесятилетию со дня смерти Чехова. Эту книгу мы с В. Н. надеемся скоро сделать; эта книга может быть замечательна прежде всего потому, что в жизни Чехова была большая и, думаю, единственно большая любовь к Авиловой, которую я знал еще тогда, когда она была очень молода и красива, но была уже замужем и имела троих детей, и поэтому никак не могла соединить свою жизнь с жизнью Чехова, которого тоже бесконечно любила. Мы знали ее и тогда, когда она с мужем переехала в Москву с 15-ого года; она пережила большевизм в страшной нужде, была за границей у больной дочери. Я старался ей помочь всячески. У нас есть целый пук ее писем, чрезвычайно замечательных; одним словом, такая книжка для Издательства имени Чехова была бы настоящий клад. Но я никак не желаю навязываться Издательству с этой книгой; повторяю, мне важно издать третий сборник моих рассказов, о которых сказано выше.

Слух о том, что "Русские Новости" очень резко отозвались о моей статье насчет "Русской Мысли", Зеелера и Зайцева, так глуп, что я могу только руками развести. Самая бешеная ненависть, которая существует между животными, есть ненависть собак к выдрам, так вот такая же существует ненависть "Русских Новостей" к "Русской Мысли".

Алексинский, конечно, будет отвечать на статьи Кусковой относительно Мельгунова. Я попросил "Н[овое] Р[усское] Слово" поскорее прислать мне вырезки статей Кусковой.

Посылаю Вам статью Алексинского о Мельгунове. Покажите ее в редакции и вообще кому хотите [...]

Знаю, что Слоним выпустил Историю Русской Литературы. Я читал, что этот прохвост столько наврал чепухи в этой "Истории", что дальше идти некуда.

Ну вот, я уже очень устал. Погода у нас нелепая: то жара, то холод, грозы и ливни. Я просто едва жив.

Шлем Вам с милой Татьяной Марковной наши поцелуи и поклоны.

Ваш Ив. Бунин

Л[еонид] Ф[едорович] Зуров] шлет Вам и Татьяне Марковне сердечный привет. "Ляля" и Олечка [Жировы], которая выдержала экзамены, отдыхают в Капбретоне, будут счастливы, что Вы их вспомнили.

1. За исключением некоторых поправок, вставок и подписи письмо целиком напечатано на машинке.

24 июля 1953 г.¹

Дорогой Марк Александрович, получил Ваше во всех отношениях горестное для меня письмо. Неужели Чеховское Издательство не могло бы сделать некоторое для меня исключение, не равнять меня с каким-нибудь Терапиано, — издать в конце этого года новую третью книгу моих рассказов, кстати сказать, весьма "читабельную"? Я на всякий случай эту книгу вскоре посылаю в издательство.

У нас опять наступила жаркая погода, что для моего удушья не лучше, чем холод и дождь.

Получили ли Вы письмо от Веры, в котором она писала Вам о тяжелой болезни бедного Л[еонида] Ф[едоровича], которой все так ошеломлены.

Был неожиданно Цвибак и привез нам коробку икры, которую мы и съели с большим удовольствием.

Когда Вы возвращаетесь во Францию?

Целуем вас обоих.

Ваш Ив. Бунин

(“Тот, кто получает пощечины”)²

1. За исключением некоторых поправок и подписи письмо целиком напечатано на машинке.

2. Следует письмо от В. Н. Буниной.

6 августа 1953 г.¹

Дорогой Марк Александрович,

Когда Вы возвращаетесь в Париж? Любовь Александровна сказала нам, что в начале осени. Но ведь осень велика, в сентябре, в начале октября?

Увидите ли перед отъездом Вредена и Веру Александровну? Надеюсь, что да, — так сделайте одолжение, попросите их пустить мою книгу в набор поскорее, я пришлю ее в “Чеховское Издательство” в самом недалеком будущем. Я думаю, что это будет очень неплохая книга.

Здоровье мое просто невыносимо. Вы знаете, какое у нас ужасное нынешнее лето: то духота грозовая, то холодные дожди, последнее время холод стоял просто осенний. Это, конечно, очень отражается на моей астме, а кроме того, я все последнее время буквально истекаю кровью. Слаб я, конечно, ужасно, а тут еще то несчастье, которое случилось у нас в доме, — болезнь Зурова. Он теперь в другой клинике, на испытании, к нему не пускают, Вера справляется по телефону: он спокоен, спит, ест, пишет. Но положение его, видимо, очень серьезное.

Все собирався написать Вам о конце Вашей “Повести о Смерти”, очень рад Вам сказать, что конец этот очень мне понравился. Как страшно умирал Бальзак!

Изумляюсь, зачем понадобилось "Чеховскому Издательству" выпустить эту бесконечную ерунду под заглавием "Двенадцать стульев", которая, кроме того, была в прошлом году полностью напечатана в этой паскудной "Русской Мысли".

До какой поры существовала газета "Дни"? Профессор калифорнийского университета Александр Каун был в последний раз во Франции в 1937 году и писал мне, что видел на собрании этой газеты Мережковского: "Мережковский, злой старикашка с клыками и с глазами больной гремучей змеи".

Что еще сказать Вам? Полусижу в постели, диктую эти строки Вере и вот уже устал.

Будьте здоровы, дорогой друг, обнимаю Вас и целую руку Татьяне Марковне.

Кодрянские уплывают из Франции 13 августа. Они Вам многое расскажут о нас.

Вера целует вас обоих.

Ваш несчастный всячески

Ив. Б.

P. S. Мне очень хотелось бы, чтобы "Чеховск[ое] И-во" выпустило мою книгу *поскорее*, потому, во-первых, что мы с Верой живем, — при моей вечной, всяческой болезни, при докторях и ужасных тратах на лекарства, — все время в тревоге, чем жить завтра (материально), а во-вторых, потому, что ведь вполне возможно, что я вот-вот умру.

Очень стыдно будет тогда "И-ву имени Чехова", держащему меня на одном уровне с Терапиано!

Первая часть этой книги начинается "Петлистыми Ушами", вторая — "Аглаей".

1. За исключением некоторых поправок, вставок, подписи и P. S. письмо целиком напечатано на машинке.

14 авг[уста] 1953 г.

Пришло Ваше письмо от 28 июля, дорогой Марк Александрович.

Спешу ответить — только на то, что касается меня, и очень кратко, ибо *поистине* едва жив, — пишу, как почти всегда, полусидя

в постели, — и от нестерпимой жары и духоты, уже сравнительно давно воцарившейся у нас, и от жесточайшей "диктатуры пролетариата", тоже удушающей нас, и ото всего прочего, что совершилось в нашей и без того всячески несчастной домашней жизни, уж не говоря о том, сколь она тяжка при нашей нищете, — ведь у меня даже все остатки подштанников, к примеру сказать, состоят из рвани, из ключьев, из заплат на заплатях! Для Вас, впрочем, новости в этом нет и поэтому перехожу к делу. А дело это таково: Н. Р. Вреден обещал мне твердо в августе 1951 года издать меня три раза: вот я и послал *Вам* нынче с Кодрянским третий сборник моих рассказов, — будьте добры подержать его у себя до конца мертвого сезона в Нью-Йорке, а затем передать в Чеховское Издательство, *которое я весьма прошу по возможности без промедления* ответить мне, когда именно сдаст оно его в набор, заключив договор со мной. В конце текущего года у меня некий юбилей: 20 лет со времени получения мною Нобелевской премии, о чем, конечно, будет сказано в иностранной печати, в разных странах, так что было бы весьма неплохо выпустить мой новый, вышеупомянутый сборник к *Рождеству сего года*.

Я, однако, на этом не настаиваю: неуютно будет издательству делать такую поблажку старому хрычу Бунину, — пусть не делает; пусть выпустит сборник, как прошлый, — в конце февраля 1954 года. М. б., я еще буду жив к тому времени. *А что до моей книги о Чехове, то это дело совсем особое, не должствующее быть ни в какой связи со сборником, который повезли Кодрянские.* Книгу о Чехове я, Бог даст, приготовлю к 54 году — *и она будет редкая*: я многое, многое скажу о нем — и об Авиловой, ведь я знал Авилову, женщину редкой красоты и душевной и телесной, — единственную, глубокую и трагическую любовь Чехова, — с ее молодости; знала ее потом и Вера Ник. и у нас есть большая пачка ее писем к нам о ее во всех смыслах просто страшной жизни — не только по отношению к Чехову, к ее любви к нему, тоже единственной в ее жизни и тоже поистине трагической, но и по тому, что она переживала со времени воцарения Ленина в смысле беспредельной нищеты, стоя в мокрых опорках на Смоленском рынке и продавая свое последнее, самое последнее от своих прежних достатков.

Вот на этом я и кончаю. И прибавлю: ежели Чех[овское] Издательство не издаст моего сборника (хотя бы и в феврале 54 года), я *порываю с ним свое сотрудничество*.

Целую Вас и дорогую Татьяну Марковну. Ваш Ив. Бунин

P. S. Как прелестна была во всем Авилова (в девичестве Страхова)! Красавица, женщина светская была она — и вот как рассказывала она мне о своем первом посещении (с рукописью) "Вестника Европы", — о своем разговоре с редактором его, Михаилом Михайловичем Стасюлевичем:

— Я так оробела, что начала бормотать: "Вот я... вот я... Матвей... Стасюлей Матвейч... Михаил Стасюлевич... я потому... Я хочу предложить вам себя..."

Свою подпись под воззванием я, конечно, даю.

21 авг[уста] 53 г. Дорогой друг, написал Вам большое письмо, хотел послать заказным — нельзя, все еще бастуем. Вот его резюме: прошу "И-во имени Чехова" издать то, что послал с Кодрянскими, к декабрю. Сегодня — 20 лет со времени моей Ноб[елевской] премии. Если не захотят — жаль! Но тогда пусть издадут в начале 1954 г., все-таки исполнят обещание Вредена издать мои сборники *три* раза. А книжку о Чехове дам немного позднее — *это ни в какой связи со сборником (последним) моих рассказов*. Если же все здесь сказанное "И-во" отвергнет, порываю *всякое* мое сотрудничество с "И-вом" *навсегда*.

Целую Вас обоих. Вера шлет привет.

Ваш Ив. Бунин

О жизни больного З[урова] у нас мы с В. *никогда* не спорили, не говорили.

24 авг[уста] вечер [1953 г.]

Дорогой Марк Александрович,

Огорчен болезнью Татьяны Марковны, я ее люблю, целую ее руку, от всей души желаю ей здоровья.

Мой сборник рассказов я послал Вам с Кодрянскими, просил их Вам передать его, сказать, чтобы Вы были добры поддержать его у себя до начала возобновления жизни "Чеховск[ого] И-ва", а затем передать его туда. Из Вашего

письма от 20 авг[уста], полученного нами нынче, вижу, что Вы до сих пор Кодрянских, уехавших 13 авг[уста], еще не видали, — удивлен и беспокоюсь. За последнее время я писал Вам о моих литературн[ых] делишках — и кратко и подробно, но одно и то же, — раза три, кажется — ужели Вы *ничего* не получили? Видимо, нет, посему опять повторяю: ежели "Чех[овское] И-во" сборник мой не издаст (до начала 54 года и вообще), желает взять у меня *только* книжку о Чехове, я прерываю с ним всякие отношения навсегда. Пусть печатает еще что-нибудь, вроде "12 стульев" (уже напечатанных у Зеелера в прошлом году)! А если не желает скандального разрыва со мной, то пусть издаст в начале будущего года мой сборник, а немного позднее книжку о Чехове, — я надеюсь прислать ее к концу текущего года.

А Мельгунов, — "я, как историк!" — не может, очевидно, не лгать, не клеветать: вот я только что прочел его идиотскую брехню о Николае Втором, — оказывается, тот был пьяница жесточайший, алкоголик, глаз никогда не продиравший от "зеленого змия"! А кроме того и развратник гнуснейший!

Гулю я разрешил напечатать мои египетские стихи, но дошло ли до него это разрешение? Забастовка у нас, как Вы, конечно, знаете, идет полным ходом. Маленков не дремлет!

Обнимаю Вас сердечно. Ваш Ив. Б.

1 сентября [1953 г.]¹

Дорогой Марк Александрович,

Отвечаю на Ваше письмо от 27 августа, по пунктам, кратко, ибо последнее время страдал болями в кишках.

1) Никому ни единого бранного слова по адресу Чеховского Издательства не говорил и не буду говорить.

2) Новый сборник моих рассказов будьте добры передать Александровой или кому-нибудь другому, когда кончится мертвый сезон, — присоединив к нему при сем прилагаемые "Сны", — мой рассказ 1903 г., — как третью часть этого сборника.

3) По-моему, можно сделать, как Вы предлагаете: издать двухтомную мою книгу: 1) рассказы, 2) "Чехов".

Надеюсь, что в декабре книга о "Чехове" будет готова.

Будьте добры поговорить в И-ве, приемлемо им мое

предложение или нет?

Я не требую *никаких обязательств*, а просто принципиального согласия на мое предложение. Если не будет ассигновок, то, конечно, дело кончается само собой.

Еще раз от всей души желаю выздоровления Татьяне Марковне, целую ее руку, целую Вас.

Ваш Ив. Бунин

1. За исключением некоторых поправок и подписи письмо целиком напечатано на машинке.

*Иван Алексеевич Бунин скончался
8 ноября 1953 года.*

*Марк Александрович Алданов скончался
25 февраля 1957 года.*

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

1 июля 1957 г.

Во время одного из формирований этапов однажды к вечеру в карантин была приведена женщина — бывший прокурор. Я о ней уже слышала, ее ненавидели заключенные, побывавшие у нее в руках, ненавидело и боялось начальство тюрьмы. Она, бывшее его начальство, оказалась в тюрьме в качестве заключенной, севшей за взятки и продолжавшей вести себя по-прежнему начальственно: критиковала тюремные порядки, требовала для себя каких-то привилегий, а не получив их, обращалась с письменными жалобами к генеральному прокурору, в ЦК партии и т. д.

По-видимому, и она слышала обо мне, потому что вскоре подошла знакомиться. К моему удивлению, она оказалась образованным человеком: окончила факультет общественных наук, но окончила она его в первые годы революции, когда читали еще некоторые из старых профессоров, и в ходу были некоторые из прежних учебников. Кроме того, она специализировалась на экономике. Мы разговорились с этим бывшим советским прокурором, которая вызвала к себе мое журналистское любопытство, разговорились как коллеги-юристы, вспоминая разные предметы, курсы, известных профессоров.

Люди двух различных политических полюсов, двух миров, мы в разговоре на научные и университетские темы смогли на полчаса найти общий язык.

Уже смеркалось, когда принесли ужин, но она увидела, что у меня нет ложки, что я суп пью из миски, а гущу вылавливаю

*См. "Н. Ж." № 150-153.

корочкой хлеба. После ужина, когда почти совсем стемнело, она подошла ко мне и протянула чайную ложечку.

— У вас нет ложки, я хотела бы, чтобы вы взяли эту ложку на память обо мне, вашей коллеге.

Я пробовала отказаться, она, видимо, обижалась. Тогда я с благодарностью взяла ложечку, но удивилась про себя ее тяжести. Ночью был вызван этап, с которым ушла и женщина-прокурор.

А когда я утром стала рассматривать ложечку, подаренную мне этой ненавистой всем женщиной, бывшим прокурором, ложечка, к моему смущению, оказалась серебряной.

Среди более или менее продолжительных обитательниц карантина были две сестры. Старшая была молодой женщиной лет двадцати пяти, вторая — девушкой лет пятнадцати-шестнадцати. Обе они были колхозницы, обе — хорошенькие блондинки.

Младшая вела себя довольно скромно, но старшая, видно, человек бывалый, была нахальна и развязна. О своем деле она говорила, что они с сестрой случайно в сумерках или тумане по ошибке зарезали чужого теленка, приняв за своего. Этот рассказ сразу внушил мне недоверие, т. к. это было бы дело не уголовное, а гражданское. Вскоре я, действительно, услышала, что сидит она по ст. 169-й УК за вооруженную кражу.

С этой женщиной у меня как-то произошел неприятный инцидент. Я в тот день была дежурной по камере. На моей обязанности лежало вымыть цементный пол камеры утром и после обеда и помогать вольной дежурной при раздаче пищи, а также наблюдать за порядком в камере. От мытья пола меня почти каждый раз избавляли молодые девушки, не дававшие мне мыть пол или помогавшие мне его мыть.

Когда во время раздачи обеда дежурная отперла двери камеры и выпустила меня в коридор, чтобы помочь ей при раздаче, я увидела, как она *ногой* придвигала к нам от соседней камеры стопку невымытых мисок с остатками пищи. Дежурная быстро наливала баланду из бака в миску и передавала их мне одну за другой, а я, стоя на пороге камеры, передавала их подхлывшим ко мне женщинам или передавала на ближайшие нары. Дежурная, передавая миски, громко считала. Помнится, порций

по числу сидящих должно было быть тридцать. Но я заметила, что молодая колхозница-бандитка для себя и сестры взяла не две порции, а три, т. е., говоря по-тюремному, "закосила" порцию. Одной порции не хватило, дежурная уже заперла дверь, оставив открытой только "кормушку" — откидывающийся наружу люк — часть двери. Мне или кому-то другому предстояло остаться без обеда.

— Гражданка дежурная, поспешила сказать я в "кормушку", пока дежурная еще не отошла, — одной порции не хватает.

Дежурная с недоверием заглянула в камеру.

— Не может быть, я дала все тринадцать.

— Как хотите, но я останусь без обеда.

Думаю, что потому что дежурной по камере была я, т. е. человек, которого даже она не могла подозревать в "закошении" порции, дежурная с ворчанием подала через окошко еще одну порцию.

Как только дежурная отошла от двери к следующей камере, я накинулась на виновную:

— Как вам не стыдно "закашивать" порции! Ведь благодаря вам я или кто-нибудь другой из наших товарищей мог остаться голодным. Я вас не выдала, но говорю вам, что стыдно так поступать.

Боже, как она вскинулась на меня, какой бранью она меня осыпала! Под конец она сказала фразу, которую я вспоминаю до сих пор:

— *Вот поживете в СССР и увидите, что в СССР честной нельзя прожить.*

В унылом карантине читинской областной тюрьмы сгушались сумерки.

Скудный тюремный ужин был давно съеден, света еще не давали. Мы лежали на нарах в ожидании звонка на поверку. Нас в карантине было не так много, человек пятнадцать, все больше по мелким делам: за непрописку, несколько крестьянок за "государственную кражу" — унос небольшого количества овощей или пшеницы с поля; одна военная девушка за дезертирство — отъезд с фронта без второстепенного увольнительного доку-

мента. Политических было всего две или три. Кроме меня, это были простые женщины, не понимавшие, за что их посадили.

Дня за два или три до этого вечера в наше спокойное общество с шумом и треском, с громким пением и похабной руганью ворвались две урки. Они сразу внесли с собой атмосферу преступного мира и тюрем больших городов. Те урки, которых я видела до этого в распределителе, и те, с которыми я сидела в первой моей камере, были окружены какой-то более провинциальной атмосферой. Эти — вспоминали тюрьмы Москвы, Одессы и других больших городов.

Тут я впервые во всей полноте услышала ту неприличную, ужасную трехэтажную русскую ругань, матерщину, в атмосфере которой, с небольшими перерывами, мне суждено было прожить следующие десять лет моей жизни. В то время я ее совершенно не понимала, я слышала как-будто бы русские слова, хоть и непонятные, но что-то подсказывало по тону, каким они произносились, по хохоту, который их сопровождал, что это — словесная погань. Я не понимала ее, но три дня, помню, уши и щеки у меня горели от стыда от того, что слово, это Божье орудие, более того, то, о чем в Евангелии сказано, что слово — это Бог, можно было превратить в такое орудие дьявола.

Оглядевшись и поняв, что их поведение вызывает совсем не то впечатление, которого они добивались, а главное, что они в абсолютном меньшинстве, урки несколько изменили свой тон. Они стали отчасти сдерживать свой язык и разговаривать по-человечески.

Я с большим любопытством приглядывалась к ним. Одна из них, Катя, худенькая, высокая, некрасивая блондинка, говорила с простонародным выговором. Позже, когда она стала нам декламировать, она меня совершенно поразила. Другая, Лариса, среднего роста брюнетка южного типа, была очень привлекательна. Большие выразительные и дерзкие черные глаза с густыми бровями и ресницами, смугло-розовый цвет лица, яркие губы. При этом голова наголо побрита — при поступлении в тюрьму в красивых, вьющихся черных ее волосах, по словам Кати, оказались нежелательные обитатели. А в читинской тюрьме было на этот счет очень строго.

Накануне этого дня, когда мы сумеречничали в карантине,

Катя вдруг начала нам декламировать. В затихшей камере раздалось слова поэмы Маргариты Алигер "Зоя". При первых звуках декламации я в изумлении приподнялась. Куда девался простонародный акцент малограмотной уголовной преступницы-воровки и проститутки Кати! Она декламовала прекрасным звучным голосом, с совсем другим произношением и интонациями, со сдержанной красивой манерой исполнения, полной трагической силы, но без ложного пафоса. В этой декламации, помимо подлинного таланта, чувствовалась школа.

Катя кончила. Женщины тихо вытирали слезы, а я, восхищенная и изумленная, подошла к ней.

— Катя, да вы настоящая актриса! У вас несомненно талант, да, кроме того, вы где-то учились декламации, не отрицайте!

Катя польщенно улыбнулась.

— Я действительно училась в кружке самодеятельности в одном из лагерей. У нас там были и настоящие актрисы и режиссеры, мы даже выезжали с постановками в другие лагеря.

Точно два человека стояли передо мною. Велика талантливость русского человека, и порою совсем необычайна та оболочка, которую талант себе выбирает.

Успех Кати, видимо, задел самолюбие Ларисы. Она начала рассказывать анекдоты. И тут оказался подлинный талант, и эта могла бы добиться известности на эстраде!

Лариса была дочерью майора из Иркутска. Четырнадцать лет она сбежала из дому с лейтенантом, похитив у отца восемь тысяч рублей. Вскоре она со своим лейтенантом разошлась и пошла по торному пути. Через несколько лет она, однако, выправилась, и вернулась к отцу, где вскоре вышла замуж за одного офицера и имела от него сына. Началась война. Муж Ларисы ушел на фронт. Лариса, оставшись одна, бросив сына у своего отца, ушла к другому мужчине, некоему Саше, захватив чемоданы со всеми личными вещами мужа. Но теперь она бросила и Сашу, и своего восьмилетнего сына, и вернулась на прежний преступный путь.

Катя рассказала, что у нее уже десять судимостей за кражи и ограбления. Сейчас она сидит по десятой, а одиннадцатая по еще нераскрытому делу (она звонко хохотала, рассказывая) —

впереди: в Иркутске она провела ночь с одним офицером, напоила его и обокрала: унесла шинель, мундир, сапоги, деньги и портфель с документами.

Обе красавицы направились, по Ларисиному желанию, в Читу. Лариса рассказала со сконфуженным смехом, что ее, такую специалистку, профессионалку-воровку... обокрали в дороге, унеся чемоданы мужа. Лариса так взбеленилась, что сгоряча пошла делать заявление об этом в уголовный розыск на первой же большой станции. При этом нужно было предъявить паспорт, а он у Ларисы был подчищенный, "со снятием судимостей". Как говорится, и на старуху бывает проруха. Когда профессиональное начальственное око воззрилось на паспорт оскорбленной в своих лучших воровских чувствах Ларисы, оно сразу же обнаружило подчистку, и Лариса была препровождена в читинскую тюрьму для очередного следствия.

Ко мне Лариса прониклась внезапным доверием.

— Понимаете, — шопотом сказала она, — у меня здесь, в охране тюрьмы служит родной брат — офицер. Как я с ним встречусь после всего? Он такой честный и строгий.

Красивое ее лицо побледнело и выражало настоящее страдание.

Все это было накануне, а в этот день (возвращаясь к началу моего рассказа) мы лежали на нарах в нашем тюремном карантине и ожидали в сумерках поверки. Вдруг загрохотали засовы, дверь распахнулась и в камеру стремительно вошел какой-то офицер с фотографией в руке. Я успела заметить, что при виде этого офицера Лариса нырнула с головой под одеяло.

Держа фотографию в руке, офицер обошел нашу небольшую камеру, вглядываясь в сгущающихся сумерках в лицо каждой из нас. Я заметила у него погоны капитана.

— Чья это фотография? — каким-то звенящим металлическим голосом спросил он. Я почувствовала в воздухе какую-то еще непонятную мне драму.

— Встаньте! — прозвенел над Ларисой звучащий, как металлическая струна, голос.

Лариса, наконец, решила откинуть одеяло и встать. Ее лицо было белым. Мне казалось, что я начинаю понимать: "брат".

— Как ваша фамилия?

Та же, что и ваша — Кадацкая! — ответил дрожащий и в то же время вызывающий голос Ларисы.

Все замерли. Несколько секунд прошло в напряженном молчании.

— Мало еще тебе дали! — крикнул офицер и, швырнув карточку на пол, вышел. Дверь камеры захлопнулась.

Лариса — брат? — спросила я у бледной Ларисы.

Муж!

Муж? Каким образом?

Я вам сказала не всю правду. Брат мой, действительно, раньше служил здесь, но когда я еще ехала сюда, я узнала, что его перевели в другое место. Но зато когда меня арестовали, то сразу обратили внимание на мою фамилию и сказали, что меня отправят к мужу — пусть разбирается. Он только что вернулся с фронта, назначен заместителем начальника читинской тюрьмы, а так как начальника сейчас нет, то он — фактический начальник.

Для автора-жизни законы неписаны.

— Лариса, на этом дело не кончится, он сейчас пошлет за вами, — сказала я.

— Девочки, дайте какой-нибудь шарфик голову повязать. — обратилась к нам с просьбой Лариса.

Едва только она успела повязать свою бритую голову косынкой вместо какой-то белой тряпочки, как опять загрохотал засов, дверь отворилась, в ней стояла дежурная.

— Кадацкая — к начальнику тюрьмы.

Лариса ушла, провожаемая нашими лучшими пожеланиями. Она вернулась в камеру уже поздно вечером, часа через три-четыре. Глаза ее опухли от слез, но лицо сияло радостью и все светилось.

— Ой, девочки, когда я пришла к нему в кабинет, он плакал, положив голову на руки.

Она рассказала, что муж долго и нежно говорил с нею, умоляя ради него и сына бросить бродячую преступную жизнь. Он обещал завтра же на дрезине съездить на ту станцию, где ее арестовали и выяснить, что можно сделать для облегчения ее участи.

— Я надеюсь, что ты получишь не больше двух лет. Я устрою тебя в лагере в 8 километрах от Читы, буду часто наве-

шать и поддерживать. Только дай мне слово, что ты справишься и вернешься ко мне.

Лариса все обещала. Добавлю, что когда дня за два-три до этого ее при поступлении в тюрьму регистрировали в конторе, она обронила фотографическую карточку того самого друга ее мужа, Саши, к которому ушла с мужниными чемоданами и которого тоже бросила. Дежурный подобрал карточку и передал начальнику тюрьмы, который сразу узнал своего соперника. Выяснив, что карточку обронила одна из поступивших за последние дни женщин, он проверил списки и нашел фамилию своей жены — свою собственную фамилию.

Ларису стали ежедневно вызывать на свидания к мужу. Вскоре ее перевели в другую камеру, и это было понятно: неудобно было оставлять ее на глазах у нас, свидетельниц ее первой знаменательной встречи с мужем. Позже я узнала от девушки, сидевшей с Ларисой, что она пошла на очередное свидание с мужем в оренбургской шали одной девушки, бурках — другой, жакете — третьей и... больше не вернулась.

„Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Büschen wohnt.
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn der reichlich lohnet.“

Goethe. „Der Sanger“

Длинная узкая “секция” в этот ноябрьский вечер, тонушая в глубокой мгле; коптилок-пузырьков с керосином и воткнутым в них фитилем еще не зажигали. Это — женская половина 4-го барака на пересыльном лагере Карабас (в Казахстане, в 4-х часах езды поездом от Караганды). Этапы сменяют друг друга. Одни приходят, другие уходят. Сюда же приезжают на освобождение окончившие срок со всего Карлага.* Другие же только отсюда начинают свою горестную лагерную жизнь.

*Система Карагандинских лагерей.

Крики, брань, смех, матерщина висят в воздухе. Очень много блатных женщин, перебрасываемых на другие участки, т. к. от них стараются избавиться каждый участок. Позднее они даже устроили кровавую поножовщину у нас в сенях, так что медицинские сестры в маленькой барачной амбулатории забаррикадировались и боялись до утра выйти; в результате драки были раненые.

И вот в этой обстановке, в кромешной тьме в глубине секции зазвучала песня. При первых звуках ее я вздрогнула и пошла в темноту, на льющисея звуки.

Я шла, как в немецкой средневековой легенде дети из города, обидевшего Крысолова, шли и ушли навсегда, следуя за звуками его дудочки. Я шла и шла бы еще бездумно и долго, следуя за звуками прекрасного женского голоса, лучезарно засиявшего передо мною в кромешной тьме моей тогдашней жизни.

Я дошла до певицы и остановилась. Она пела какую-то оперную арию, как-будто знакомую, но которую я вспомнить не могла. Чудный большой голос, привыкший к театральным залам, прорывался сквозь отчаянные шум и гам, которые хоть отчасти, повинувась зову красоты, все же притихали. Что она пела? Мне даже не пришло в голову спросить. Да и не все ли равно мне было в ту минуту? Я жадно ловила прекрасные звуки, как иссохшая земля пустыни ловит капли редкого, случайно занесенного ураганом дождя.

Певица кончила.

— Спасибо вам, спасибо, — сказала я во тьму, в которой я не могла различить даже и контура певицы. Дикая шум и гам возобновились с прежней силой.

— Вы учились пению, вы артистка, — сказала я утвердительно. — Как вы поете!

Легкий смех послышался в ответ.

— Да, я окончила консерваторию, я оперная певица, — ответила она.

Мы расстались, а когда я утром пошла разыскивать ночного соловья, я его не нашла.

Ночью, пока я спала, этап ушел, и артистка ушла с этим этапом.

Больше я ее никогда не встречала.*

3 сентября 1957 г.

Кроме следователей, начальников, конвоиров и случайных спутников по несчастью из Манчжурии, русских эмигрантов, это был чисто женский мир. Но иногда, издали, приходилось соприкасаться с миром мужским, пока что только блатным.

Однажды в тюремном дворе послышался шум. Наши девушки сейчас же взгромозились на подоконники.

— Смотрите, смотрите, — кричали они нам вниз, — какую массу военных привели!

Военных? Это было интересно. Полезла на подоконник и я. Действительно, двор был полон военных. У них были спороты погоны, но во многих сразу по виду и по форме можно было узнать офицеров. Они по большей части были веселы, шумливы, жизнерадостны. Вскоре наши девушки путем переписки узнали, что было их сто двадцать человек, и что это были "власовцы".

В Харбине у нас в печати, получавшей информацию во время войны только из германских и японских источников (кроме нескольких японских официальных учреждений, выписывавших советские газеты, умалчивавшие, конечно, об измене генерала Власова), было распространено мнение, что генерал Власов был генералом-эмигрантом; и многие бывшие старые военные старались вспомнить и узнать, "не тот ли это Власов, с которым я учился в кадетском корпусе или в военном училище" (фамилия, как известно, довольно распространенная в России).

Только в Чите я впервые узнала, что генерал Власов был генералом Красной Армии и с эмиграцией ничего общего не имел. Очевидно, японская газетная информация спутала генерала Власова с теми эмигрантскими военачальниками, которые на территории Германии формировали отряды эмигрантов, сражавшихся затем в рядах германской армии.

Помню еще один привод военных, которых разместили в

*Комментарий, написанный другим почерком: Судя по времени, подозреваю, что это была артистка Петербургской оперы Наталья Васильевна Соколова, в прошлом — одна из лучших исполнительниц партии Кармен.

камере № 41 на четвертом этаже, над нами, и в камере на втором этаже, под нами. Наши вездесущие и всезнающие девушки сообщили мне с округлившимися от интереса и ужаса глазами:

— Это — "Черная Кошка".

— "Черная Кошка"? Что это такое?

Оказалось, что "Черная Кошка" — огромная, разбросанная по всем крупным городам России уголовная шайка бандитов и грабителей. Девушки мне рассказали следующее: во время войны генерал Рокоссовский будто бы предложил властям сформировать части из бытовиков-уголовников, ручаясь, что они будут хорошо сражаться. Разрешение было дано, и они, действительно, храбро сражались. Но после демобилизации многие из них вернулись к своей прежней профессии.

Мне рассказали, что члены "Черной Кошки", чтобы вернее воздействовать на воображение своих жертв, на которых они нападали на улицах, при "работе" надевали черные маски, черные перчатки, а в пальцы перчаток зашивали половинки бритв, которыми ранили свои жертвы, когда хватали их за горло. Женщины, члены шайки, одевали, кроме того, капоры с торчащими ушками, похожие на кошачьи головы.

Можно представить себе ужас какой-нибудь одиноко идущей женщины, возвращающейся вечером с покупками из магазина, когда на нее в темном переулке нападают такие существа, хватая за горло. Нападать на покупателей, особенно на покупательниц, возвращающихся вечером из магазинов, было любимым занятием "Черной Кошки", но у нее были дела и покрупнее.

У нас в камере сидела жена одного читинского рабочего, довольно молодая и спокойная женщина. Она была еще следственная, но почему-то сидела с нами, уже осужденными. Когда в тюрьму привели эту большую группу членов "Черной Кошки", жена читинского рабочего очень заволновалась. Не помню, до или после этого, она рассказала мне свое дело.

По ее словам, на базаре она познакомилась с двумя солдатами, недавно вернувшимися с фронта и пригласила их к себе пить чай. Постепенно это знакомство расширилось, и она узнала уже целую группу солдат и их подруг. Они приходили к ней в отсутствие мужа, встречались у нее на квартире, приносили ей некоторые вещи для продажи, и она их сбывала на базаре. Она

уверяла меня, что считала, что занимается только частной торговлей, "спекулирует" и понятия не имела, что связалась с "Черной Кошкой" — стала сбытчицей награбленного.

Но вот с ней случилось несчастье: ее выследили органы уголовного розыска или выдали соседи, и раз, когда она вернулась домой с базара, у дома оказалась засада. Ее задержали: агенты остались ждать тех членов шайки, которые должны были прийти, и она, запуганная агентами розыска, выдала некоторых членов шайки и их подруг.

После этого клубок стал распутываться, и в Чите было переловлено более ста членов шайки (мне говорили, что эта шайка орудовала также в Москве, Ленинграде, Киеве, особенно в Одессе, Иркутске и других городах). По-видимому, в Чите были выловлены далеко не все, потому что следователь старался добиться от этой женщины дальнейших показаний. А она или ничего больше не знала, или боялась говорить, так как ей уже было передано членами шайки, что с нею рано или поздно расправятся за предательство.

Узнав, что выданные ею бандиты приведены в тюрьму, она была смертельно напугана. Вскоре они выяснили путем переписки, что она находится в нашей камере. Однажды вечером она подошла ко мне и шопотом попросила научить ее какой-нибудь молитве, и вот я стала по ночам учить участницу шайки "Черная Кошка" произносить "Отче Наш".

Так как вскоре после этого меня увезли, я ничего больше не знаю о ее судьбе, но думаю, что она не избежала обещанной ей расправы — если не в тюрьме, то на одном из этапов, где блатные обычно сводят свои счета, или даже позже, в лагере.

Бандиты "Черной Кошки" вообще вели себя шумно, дерзко, вызывающе, но однажды они над нашей головой подняли такой содом, с пением, выкриками, топанием, плясками, что ясно было, что они перепились. Откуда? Откуда в этой строжайшей тюрьме, где тщательно проверялось и разрезалось на кусочки содержимое каждой передачи, можно было достать водку?

Начальство терялось в догадках, но нашей камере секрет был сообщен "сверху" на другой же день: подружки бандитов принесли им в тот день блины, замешанные вместо воды или простокваши на... чистом спирту. Спирт, растворившись в

желудке, оказал желаемое действие. Мне эта идея так понравилась, что я дала себе слово когда-нибудь на воле попробовать сделать такие блины.

Второй случай был такой: группа воров сидела в отдельной камере, причем и начальство, и дежурные неоднократно видели в глазок, что они играют в карты — запрещенное в заключении занятие. Но стоило открыть камеру и войти — ни одной карты не было. У них устраивали обыски, их выгоняли в коридор — ничего не помогало, карт не обнаруживали. Но стоило их запереть, и они уже опять сидели за картами. Ни угрозы, ни крики не помогали. Это походило на колдовство. Наконец, один из начальников решил выяснить добром заинтриговавшую их тайну.

— Ребята, — сказал он, зайдя однажды в камеру, — я даю вам слово, что я не отниму у вас карт, скажите мне, куда вы их прячете, когда мы к вам заходим, мне уж очень любопытно.

“Ребята” переглянулись и усмехнулись.

— Посмотрите у себя в кармане, начальник.

— У меня в кармане?!

И точно, карты оказались в кармане у начальника.

— Как они туда попали?

— А когда к нам начальство заходит с обыском, мы нашу колоду всегда кладем начальнику в карман, там уж никто обыскивать не будет. А когда начальство уходит, мы карты из его карманчика вытаскиваем.

Вот это — профессиональное искусство, доведенное до совершенства!

5 сентября 1957 г.

...К нам в карантин была переведена довольно молодая женщина с милостивым, но растерянным лицом и нервными, порывистыми движениями. Вскоре после того, как ее впустили в карантин, она, ни с кем не разговаривавшая и не знакомившаяся, вдруг обратилась ко мне и, делая нервные движения, почти истерическим голосом спросила, как ей быть: она в прежней камере забыла часть своих вещей.

Я постучала в дверь и попросила дежурную принести вещи

этой женщины. Дежурная, оглядев женщину с ног до головы, неохотно выполнила мою просьбу.

Прошло с четверть часа и новенькая опять обратилась ко мне:

— Слушайте, я еще забыла там свои тапочки, пожалуйста.

Мысленно назвав ее раззявой и удивляясь ее растерянному состоянию, я неохотно исполнила ее просьбу, потому что знала, что дежурная или откажет наотрез или будет ворчать. Так и случилось. Дежурная разворчалась, но позже все-таки принесла старые стоптанные тапочки.

Постепенно новенькая, Марья Васильевна Расколец, успокоилась и, к моему удивлению, оказалась хорошей рассказчицей. Она, по ее словам, была женой директора золотого прииска на севере Забайкалья, муж ее был призван на войну и там убит, а она с детьми, 14-летней Розой и младшим ребенком, перебралась к сестре в один из приволжских городов.

В другой раз она подошла в тюремном двореке, попросила разрешения погулять со мной и во время прогулки рассказала, что ее муж, будучи директором золотого прииска, потихоньку купил у старателей два килограмма золота. Получив извещение о его смерти на фронте, она уехала с детьми к сестре. Ликвидировала все свое имущество на прииске, но корову решила взять с собой до станции железной дороги, чтобы подарить ее начальнику милиции станционного поселка за помощь при посадке в переполненный поезд. Она очень красочно и не без юмора описывала, как гнала эту корову верст двести по тайге, а дети ехали на подводе.

Выбралась, наконец, к железной дороге, остановилась у подруги, обещала проводнице большую взятку, если та посадит ее с детьми на поезд — и, действительно, попала на поезд, подавив перед этим корову начальнику милиции.

Приехав к сестре, она вскоре поместила свою девочку Розу в школу. Там Роза подружилась с дочкой коменданта города. Во время одного из детских разговоров Роза рассказала своей новой подруге, что у мамы дома в сундуке лежат два килограмма золота, которые они привезли из Сибири, с приисков. Дочка коменданта рассказала об этом своей матери, та — мужу, а он — НКВД. А закон о запрещении хранения золота частными лицами

особенно строго проводился во время войны.

Через несколько дней после ее появления в нашей камере, открылась кормушка и дежурная позвала Марью Васильевну. Та подошла, почему-то страшно всполошившись. Я услышала, как дежурная (может быть, это была рассыльная из суда) ей сказала: "Вам заменили десятью годами. Вы это знаете?". На что Марья Васильевна нервно ответила: "Да, да, я знаю".

Я немного удивилась этому краткому разговору, но не придала ему значения. Пока Марья Васильевна расписывалась в получении повестки, ко мне подбежала одна из наших девушек:

— Вы знаете, у Марьи Васильевны была смертная казнь. Теперь ей заменили десятью годами. Сама видела, написано на повестке, — сказала она мне шопотом.

Постепенно Расколец успокаивалась, хотя была еще очень нервна. По ночам она становилась на колени на цементный пол возле своей койки и жарко и долго молилась, отбивая земные поклоны. Это меня располагало в ее пользу, т. к. она была еще молодой женщиной, выросшей при советской власти, а, как известно, современная молодежь в массе воспитывается в анти-религиозном духе.

Вскоре у меня с Марьей Васильевной произошел разговор, который вызвал у меня к ней еще большее сочувствие и объяснил, как показалось мне, ее нервность, порывистость и неусидчивость. Она опять подошла ко мне на прогулочном дворике — единственном месте, где можно было поговорить хоть с какой-то вероятностью не быть услышанным.

— Мария Лазаревна, я хочу вам сказать, — меня перевели к вам прямо из смертной камеры, я была приговорена к высшей мере.

Да что вы, Марья Васильевна!

Да, я получила высшую меру за утайку золота и несколько недель сидела в смертной камере, каждую минуту ожидая, что меня вызовут на казнь. И вот, наконец, вызвали, кратко сказав, что в контору тюрьмы. А там начальник мне зачитал, что суд заменил высшую меру десятью годами тюрьмы. И тут я свалилась в обмороке к его ногам. Вызвали врача, привели меня в чувство и затем отвели к вам, не заходя в смертную камеру, где остались все мои вещи, и велели не рассказывать, что

я сидела в смертной камере.

Ах, эта смертная камера! Мы знали ее, с трепетом проходя мимо.

Искреннее сочувствие охватило меня к этой молодой женщине, которая, собственно, с точки зрения прежнего русского или западноевропейских законодательств не совершила никакого или почти никакого преступления. Теперь, казалось мне, я нашла объяснение чрезвычайной нервности Марьи Васильевны, ее растерянности, ее ночным отбиваниям земных поклонов. Она прошла через смертный приговор, и его тень лежала на ее душе.

Но вот у нас в камере стали пропадать некоторые вещи из одежды. Было замечено, что одна молодая женщина всегда задерживается последней в камере, когда мы выходили на opravку. А нас в камере было всего двенадцать человек, и некоторые стали с подозрением смотреть на других.

Однажды, по возвращении в камеру, я заметила, что из моего маленького мешка исчезла новая, совсем еще ненадеванная белая шелковая комбинация.

Наши японки через свою говорящую по-русски подружку сообщили мне, что мою белую шелковую комбинацию украла Марья Васильевна, и что все остальные мелкие кражи — тоже ее рук дело. Я отмахнулась от японок, приписывая их подозрительность национальным особенностям, а также раздражению против Расколец. Но вскоре образ Марьи Васильевны предстал передо мною в новом освещении.

Спустя ровно два месяца после первого вызова на этап я была снова вызвана, и на этот раз уехала. Привезли меня в Иркутск, где я попала на пересылку. Тула через два дня приехала, с несколькими другими, одна женщина из нашей читинской камеры. И рассказала она следующее:

Едва ли не на другой день после моего отъезда ее вызвал опер и предъявил ей фотокарточку Марии Васильевны Расколец.

Узнаете?

Да, это женщина из нашей камеры, Расколец.

Да. А вам известно, что она убийца?

Убийца?

И опер рассказал следующее: золото, которое, по словам Расколец, ее муж скупил нелегально у старателей, и которое

будто бы Мария Васильевна утаила от властей, добыто совсем иным путем. У Расколец никакого золота не было. Утаенное золото было у ее подруги, проживавшей на железнодорожной станции, где она с детьми остановилась по дороге с прииска перед посадкой на поезд.

С Марией Васильевной, кроме двоих детей, был еще ее любовник. Ночью она с помощью любовника убила, на глазах у своих детей, эту подругу вместе с ее детьми и ограбила ее, захватив два килограмма золота. Убийство было совершено каким-то тупым орудием, и так беспощадно, что кровь и мозги запачкали все стены и полы.

Убийцы куда-то спрятали трупы, а квартиру Расколец стала хладнокровно приводить в порядок: белила стены, мыла полы и т. д. Приведя все в порядок, она на другой день села с детьми в поезд и уехала в Европейскую Россию.

Какое участие во всем этом деле принимал начальник местной милиции, получивший корову, пока неясно и сейчас выясняется. Расколец была приговорена к высшей мере (смертной казни), но по каким-то соображениям (внезапная "гуманность" советского суда в отношении убийц и бандитов) суд заменил ей смертную казнь всего 10-ю годами заключения.

Я была потрясена рассказом. Теперь я поняла: детская совесть маленькой Розы, дочери Марьи Васильевны, не могла выдержать давившего ее кошмара: ведь на ее глазах и на глазах ее младшего брата или сестры мать, может быть, любимая мать, с помощью другого человека убила их знакомую и ее детей!

Дважды обманула меня убийца Расколец, вызвав мое сочувствие своим хорошо привешенным языком. А правильной оказалась третья версия дела этой "случайной" убийцы, более жестокой, чем многие профессионалы.

19 сентября 1957 г.

Прежде чем описать свой отъезд из Читы, я хочу остановиться еще на двух женщинах, с которыми я хотя лично не встречалась, но о которых много слышала, а одну из них видела издали и слышала ее голос.

Первая была простая женщина, сидевшая за то, что убила и съела вместе со своим старшим десятилетним мальчиком своих

двух младших детей. Вся тюрьма — и политические и бытовики — относились к ней с понятным отвращением. Выдал ее старший мальчик.

Другая, Рая Соловова, была блатная, но, редкий случай, о ней говорили с симпатией и уважением не-блатные женщины, даже пожилые.

Прежде всего, обратила на себя мое внимание ее фамилия, тем более, что мне сказали, что родители Раи — “очень приличные люди”, откуда-то приехавшие в Читу, а не местные уроженцы-сибиряки. В России Петрово-Соловова принадлежали к старинному дворянству.

То, что мне говорили о самой Рае, как-будто подтверждало хорошую ее кровь. Несколько женщин мне рассказывали, что она из карцера почти не выходила, т. к., помимо собственных провинностей, всегда принимала на себя ответственность за чужие проступки, что совершенно чуждо блатным, всегда старающимся спихнуть на другого свою вину, подбросить в критическую минуту обыска краденое, а потом с лукавым и смешливым любопытством наблюдать, как из-за них страдает ни в чем неповинный человек.

А тут: “Зайдет к нам в камеру дежурный: ‘Кто сейчас из этой камеры спускал записку?’ А Рая, если даже совсем не она это делала, пальчиком себя в грудь ткнет: ‘Я’, — говорит. — ‘Собирайтесь в карцер’. И идет, бедняжка, опять в карцер. А сама такая беленькая, хрупкая и нежная, — с искренним сочувствием и уважением к Рае говорили мне старые простые женщины. — Как жаль, что вы ее не застали в камере”.

И мне было жаль: хотелось познакомиться с этой необыкновенной Раей, у которой в Чите был воровской притон и склад краденого.

Однажды я слышала голос Раи, когда во время прогулки девушки из нашей камеры подсмотрели в шелку забора, что в соседнем прогулочном дворике гуляет со своей камерой Рая; они ее подозвали и обменялись через забор несколькими фразами. Голос ее был, действительно, мелодичный и нежный, а не хрипкое рывканье, почему-то свойственное всем уркам (эту хрипкость и грубость голоса трудно приписать пьянству и разврату, по крайней мере, с мужчинами, т. к. сидя почти всю жизнь в

тюрьме и лагерях, они могут пить только в редкие, недолгие "антракты" свободы между двумя отсидками, а иметь тайные запрещенные связи с мужчинами удается с трудом, да и то не во всех лагерях. Поэтому среди профессиональных преступниц очень развита противоестественная лесбийская любовь, но об этом я скажу дальше).

Однажды, привлеченная бешеными выкриками трех мужских голосов из разных мест и нежным женским голосом из одной из соседних камер, выкрикивающим похабные шутки со смехом и отчаянным кокетством, я сделала запрещенную вещь: подтянулась за решетку и, взобравшись на покатый подоконник, выглянула в окно. Напротив нашего здания в том же тюремном дворе находился старый корпус тюрьмы, тоже заполненный арестантами.

Что же я увидела? В трех разных камерах, доведенные до иступления кокетством и поддразниванием читинской Кармен, ревели от ревности и бешенства трое бандитов, как мне тут же объяснили, все — любовники Раи, доведенные ею до того, что они бились о решетки, стараясь их выбить, а она, где-то рядом с ними, хохотала своим мелодичным смехом и дразнила этих троих...

23 сентября 1957 г.

8 мая, после предварительного вопроса о моем здоровье, я была вызвана на этап. *Прошло ровно два месяца* со дня первого вызова. Наспех простившись с моими соседками по камере, провожаемая добрыми пожеланиями, я в сопровождении дежурного спустилась во двор вместе с тоненькой чахоточной японкой.

В последний раз оглянулась я на высокое белое четырехэтажное здание читинской тюрьмы. Здесь я впервые встретилась с современной Россией. А что впереди?

Снова шла я в этапе пешком до читинского вокзала — в который раз! Еще во дворе тюрьмы мелькнула мысль попроситься на подводу, но когда я увидела, какие старые и слабые люди на ней едут, я решила не занимать на ней места, которое может пригодиться другому, и идти пешком.

Пришли мы на этот раз на станцию без особых происшествий. Издали я слышала громкоговоритель на вокзале.

объявлявший публике об отходе поездов, но к вокзалу нас, конечно, и близко не подвели. Вообще, заключенных всегда высаживают или погружают где-нибудь подальше и ведут обходными путями, чтобы вольная публика на них не очень заглядывалась, поэтому я из всех вокзалов видела, хотя бы снаружи, один только Новосибирский, да и то случайно, потому что наш вагон остановился как раз против перрона и я через две решетки увидела вокзал.

Погрузка и отъезд не оставили впечатления, заинтересовал меня лишь вагон; впоследствии много раз пришлось ездить в таких вагонах. Это был типичный "зэк-вагон" — вагон для заключенных. Иначе эти вагоны называются "столыпинскими" — по имени инженера Столыпина, который их изобрел, как мне объяснили. Эти вагоны прицепляются к пассажирским поездам по одному, редко — по два, в начале поезда, сразу после багажного и почтового вагонов. Это — чистенькие, обшитые внутри лакированными, светлокоричневыми деревянными панелями пассажирские вагоны, у которых снаружи только две особенности: с одной стороны вагон совсем не имеет окон, кроме окна в помещении дежурных и окна в уборной, с железной решеткой за стеклом; с другой стороны все окна убраны решетками, изредка стекла в них матовые, чтобы даже сквозь две пары решеток заключенные не видели Божьего мира.

На той стороне, где нет окон, находятся купе-камеры. Внизу, как в обычных вагонах, две длинные койки, но на втором этаже середина опускается и поднимается и, в случае надобности, может образовать сплошной потолок или, иначе говоря сплошные нары. Только около самых дверей в средней части этого потолка есть четырехугольная выемка и там человек, стоящий внизу, может вытянуться во весь рост и подать наверх кому что нужно. В остальной части купе, если поднята середина, можно передвигаться только согнувшись.

Есть и третий этаж — две полки, служащие для багажа, если народу немного, и спальными местами, если полно. Нормально такое купе должно при долгом пути вмещать максимум семь человек: двое внизу, трое на втором этаже и двое — на третьем. Мне приходилось ездить в купе столыпинского вагона, где находилось 23 человека. Слышала, что набивают до тридцати.

Двенадцать-пятнадцать — это обычная норма.

Принимая во внимание еще и багаж, представляю судить, с каким комфортом ездят заключенные.

Есть в конце вагона и половинные купе с койками в три этажа. Ездил я и в таких, причем вместо трех человек в таком купе было одиннадцать. В них еще тяжелее, потому что труднее взбираться наверх.

Все купе отделены от коридора сплошной железной решеткой, в которой находится решетчатая дверь. По коридору все время ходит или стоит конвойный, а то и два.

Если в этих набитых купе едут люди, которые даже в таких условиях готовы позаботиться о товарище, подвинуться, чтобы было удобнее соседу, уступить больному место внизу, то даже в этой обстановке жизнь еще временно терпима. Но если несчастного окружают эгоисты, а еще хуже — если человекоподобная акула или несколько акул-уроков втиснутся в эту сбитую в кучу человеческую массу — горе этим людям!

В конце вагона находится уборная, обычно довольно чистая, с проточной водой, с фаянсовым умывальником, иногда даже с большим зеркалом. Но условия пользования ею — это одно из самых больших страданий на этапе.

Заключенные на этапе выпускаются в уборную одновременно, в лучшем случае — по четыре раза в сутки, но есть конвои, которые выпускают лишь по три, а иногда и два раза в сутки. "Одновременно" — это значит, что одна за другой отпираются камеры и выпускается по одному-два человека в уборную. Когда закончила одна камера, она запирается, открывается следующая и т. д. до конца вагона. Если человеку понадобится пройти в уборную вне того времени, когда выпускают всех подряд, — он страдалец. Редко когда находится конвойный, который согласится отпереть камеры ради одного или даже двух—трех человек.

Конвой, не считаясь ни с чем, выпускает, обычно, раза три в сутки. Из камер постоянно несутся просьбы, крики, а если едут урки — ругань, с требованием пустить в уборную. Никогда не забуду, как в соседней камере какой-то старик с интеллигентным голосом долго умолял конвойного, молодого солдата, выпустить его в уборную. Солдаты в таких случаях обычно

каменно молчат или издеваются. Наконец, старческий голос почти с рыданием произнес: "Ну хотите, я на колени перед вами встану!", Солдата, несмотря на заступничество соседней старика, эта мольба не тронула: он его не выпустил.

Неудивительно, что на полу камер часто бывают лужи. Иногда арестанты пускают в ход собственные галоши, если они есть. Иногда в середине купе бывает маленькое углубление величиной с чайную чашку, облицованное решеточкой, очевидно, для вентиляции. Когда это углубление есть, то обычно пользуются им, особенно ночью.

Меня очень беспокоила мысль об иркутской пересылке. Еще в читинской тюрьме Мария Расколец красочно и с большим ужасом рассказывала об иркутской пересылке. Она, по ее словам, попала в огромную камеру, где самовольно хозяйничали какие-то бандитки, направляемые на Колыму. Они моментально ее "раскурочили", захватили ее белье и платья, постирали их и тут же в камере развесили, как свое.

Я обрадовалась, когда на какой-то станции недалеко от Иркутска в наше купе посадили восемь девушек, оказавшихся растратчицами. Их куда-то возили с иркутской пересылки — на следствие или суд — и теперь везли обратно. К нам они отнеслись очень хорошо и мне на душе стало легче.

2 октября 1957 г.

Мы пошли в строю вдоль путей, складов, тупиков. Я знала, какой предстоит путь: по мосту на городской берег, пешком через весь город и затем в Знаменское предместье (теперь предместье Марата), где находится тюрьма и пересылка.

Когда мы, нашим арестантским строем, окруженные конвойними с собакой-ищейкой, вступили на мост, мне так хотелось подойти к перилам, посмотреть на Ангару, на ее прозрачную, как воздух, синюю воду, настолько прозрачную, что на пятисаженной глубине ее видны, как в аквариуме, каждый камешек, каждая проплывающая рыба; настолько она синяя, что даже в ванне ангарская вода отливает голубым. Мы с сестрой и другие дети любили бросать с борта парохода в Ангару серебряную монетку и следить, как она, кружась, медленно ложилась на дно.

Как хотелось, идя в строю по мосту, посмотреть вниз на

Ангару и вспомнить свое свободное и нежно охраняемое детство! Но разве можно было! Помни, что ты арестантка, что с тобой происходит фантазмагория, что ты через тридцать три года вернулась в свой родной город заключенной и ступаешь по родной, долгожданной земле под конвоем, с направленными на тебя автоматами и винтовками!

Помнишь — маленькой гимназисточкой ты бежала по этим улицам во второй и третий класс, и иногда встречала уголовных каторжан с Александровской каторги (за 75 верст от Иркутска), которые мостили мостовые?

Помнишь, как ты их жалела? А оказывается, есть поверье, что тот, кто очень жалеет заключенных, обязательно сам попадет в тюрьму.

А помнишь, как ты робко подходила к единственному конвойному (без грозной собаки) и просила разрешения отлатить свой завтрак или деньги на него каторжанам и, получив разрешение, так же робко протягивала пакетик или серебряную монетку ближайшему каторжанину: "Возьмите же, пожалуйста". А он, сняв шапку и перекрестившись, звеня кандалами, принимал подаяние и благодарил "маленькую барышню".

"Маленькая барышня".. Вот, прошла жизнь. Тебе сорок пять лет и ты идешь по родному городу арестанткой в этап, как те каторжане твоего детства...

Мы идем налево. Боже мой, да ведь мы сейчас пройдем близко от угла Луговой и Делтевской, близко от того дома, где протекло почти все мое детство, с двух до одиннадцати лет.

Вот огромная Тихвинская площадь, в полуквартале от нашего дома. Какой огромной она казалась мне в детстве, особенно когда часть ее не была отгорожена под каток, на который мы ходили с сестрой и немкой-гувернанткой.

А когда я потом стала ходить одна в гимназию, я боялась большого центрального пространства, хотя оно было огорожено низенькой оградой, и вначале пробегала его с закрытыми глазами, пока, наконец, не заставила себя перестать бояться.

Но где же Тихвинская церковь с огороженным салом? Как часто по дороге в гимназию я проходила под сволчатым проходом, устроенным под ее колокольней. Не было Тихвинской церкви. На ее месте высились многоэтажные дома. Не виднелся

вдали и купол Нового собора, взорванного еще в начале революции. Мы прошли мимо обгорелого остова какой-то забытой мною церкви. Ее закоптелая, лишенная купола и колоколов белая колокольня печально высилась с одной стороны Тихвинской площади.

”Как могли вы писать такую клевету, что мы уничтожали церкви?” Как жаль, что вас нет теперь со мною, самый настойчивый из моих следователей, капитан Петухов!

М. Шапиро

(Продолжение следует)

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Заграница	97	184	357
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	126	242	474

РУССКИЙ БАС АЛЕКСАНДР ПИРОГОВ

Немало певцов повстречал я на своем веку. Особенно любил русские басы. Граммофонные пластинки Шаляпина вызывали восторженное чувство; в этом голосе звучали истинное мужество и драматизм. Русские тенора, которые я слышал в молодости, имели какой-то женственный оттенок. Смущало меня то, что "душки-тенора" вызывали прямо-таки истерический восторг у женщин всех возрастов. Особенно я насмотрелся на поклонниц Сергея Яковлевича Лемешева. Говорят, что Лемешев всячески прятался от них после концерта; они рвали на мелкие части его галстук, отрывали карманы от пиджаков, тискали и целовали. Впрочем, Лемешев сам был виноват: на сцене в оперном театре, или на своих концертах, он неизменно обращал свои взоры к поклонницам, вызывая у них своим "обольстительным" пением приступы истерии. Стены сотрясались от рукоплесканий и душе-раздирающих криков.

Другое дело — итальянские певцы, которые меньше подходят к определению "лирический тенор". Здесь — настоящее пение полной грудью, высокие ноты берутся не фальцетом, а естественным голосом.

Помню шуточное мнение Остапа Вишни о баритонах: "До теноров еще не настолько размякли, а басом не в состоянии гаркнуть, так, серединка наполовинку". Я не совсем разделяю такое мнение, хотя ценю наблюдательность Остапа Вишни, с которым не раз встречался и говорил по душам.

Конечно, певец певцу рознь. Скажем, такой выдающийся русский баритон, как Дмитрий Данилович Головин. Поистине, золотой голос. Но жизнь этого замечательного певца сложилась крайне трагично. Он был родом из казачьих краев (родился в селе Безопасное на Ставропольщине). Пел в церковном хоре и здесь выделился своим чудесным голосом. А в 1915 г. неожиданно переключился на оперетту и выступал в Севастополе под псевдонимом "Сокольский". В 1919 он "нечаянно" исполнил партию Демона в оперной труппе в Ставрополе и имел такой успех, что его убедили отправиться в Москву и там попробовать свои силы. Он поступил в Московскую консерваторию и учился у знаменитого в свое время певца Назария Григорьевича Райского. К слову сказать, Райского высоко ценили С. И. Танеев и Н. К. Метнер, которые написали для него свои романсы. Райский был замечательным педагогом. Из его класса вышли С. Я. Лемешев, В. Р. Сливинский и множество других знаменитых певцов. Словом, Головину было чему поучиться у Райского. Еще не успев окончить консерваторию, Головин стал петь в "Свободной опере" С. И. Зимина. Был такой театр с необычным для советской власти названием. Впоследствии театр национализировали. Как говорили остряки, "национализировали свободу". В 1924 Головина приняли в Большой театр. Здесь его дарование развернулось в полной мере. В 1928 г. Головину разрешили уехать в Италию для совершенствования своего голоса. Но итальянские педагоги долго с ним не возились. Вскоре он появился на оперных сценах Милана, Монте Карло и Парижа, о нем заговорили. Головин был готов подписать контракты с известнейшими оперными театрами Западной Европы и Америки, но советские чиновники потребовали его немедленного возвращения в Москву. Как мне рассказывал сам Головин, он постоянно получал приглашения от зарубежных дирижеров и директоров оперных театров, но ему не давали разрешения на выезд. Он пел партии Мазепы, Князя Игоря, Фигаро, Эскамильо, Риголетто, Яго, Валентина ("Фауст"), Амонасро, даже Бориса Годунова. А вы говорите — баритон!

В 1937 г. с большой помпой поставили оперу Ивана Держинского "Поднятая целина". Этому спектаклю придавали большое

значение. После упреков по поводу "Тихого Дона" композитор Держинский должен был показать, на что он способен. В качестве постановщика был приглашен Б. А. Мордвинов, известный драматический актер и режиссер. На роль Нагульнова пригласили Головина. Его голос был способен выручить и плохую музыку. Вот публика и приветствовала Головина, но не саму оперу и ее автора.

Неожиданно по Москве прошел слух о злодейском убийстве жены Вс. Мейерхольда, Зинаиды Райх. Одним из убийц называли сына Головина. И отцу пришлось расплачиваться за сына. Имя Головина стало запретным. Но его никто не мог забыть, да и некому было его заменить. Потом его реабилитировали.

"Русский бас"— это особое понятие. Особенно октависты. Ну где еще сыщешь подобную прелесть? В ином хоре "контроктавы" звучали так прекрасно, что нельзя было не удивляться этому чуду природы. Помню одного певца, который пел в концерте "Песню старого бурша" из оперы Ипполитова-Иванова "Ася" (по Тургеневу). Это — знаменитая немецкая народная песня. От баса тут требуется подлинная виртуозность. Чего стоят скачки в разных регистрах, особенно критически низкое "фа". Не дай Бог, если певец пел под низко настроенный рояль. Но этот певец ухитрялся петь "фа" октавой ниже. А свой голос он называл "колоратурным басом". А я бы определил его голос как "бассо профундо". Когда у него спрашивали, каким образом он достигает таких низких нот, он спокойно отвечал: "Мой отец был контрабасистом, а я всегда был пьяницей. Стоило мне выпить поллитра без закуски, и голос хорошо звучал".

Первый бас, с которым я лично познакомился, был Михаил Васильевич Луначарский, родной брат наркома. Я знал, что Н. А. Римский-Корсаков высоко его ценил и посвятил ему свой романс "Томительно влекутся дни мои". Пение М. В. Луначарского я слышал в одном доме, голоса тогда у него уже не было. Но он познакомил меня с известным московским басом Александром Степановичем Пироговым, к которому питал особые симпатии. Помню, как Пирогов пел в Большом театре Мефистофеля. Было мне тогда неполных девять лет, но пение Александра Пирогова запомнилось глубоко. У него был какой-то особый

голос, бархатного тембра, удивительно выразительный.

Спустя пять лет после первой встречи с Пироговым меня пригласили участвовать в концерте в числе других артистов. Это был какой-то праздничный концерт и его устраивало московское учреждение с длинным и комичным названием. Я считался малолетним виртуозом и поэтому был приглашен наряду со звездами артистической Москвы. Пирогов пожелал исполнить "Сомнение" Глинки в сопровождении скрипки. "Вы можете сыграть скрипичную партию?" — спросил меня Пирогов. Мне эта вещь была знакома по слуху, и я согласился играть без репетиции. К моему удивлению, все обошлось. Успех был огромный, и Пирогов выводил меня кланяться публике.

После концерта был ужин, и я сидел рядом с Пироговым. Тут я напомнил ему о нашем первом знакомстве. "Да, да, припоминаю. Ну как же, Михаил Васильевич! В прошлом он был большим певцом, а умер в полной неизвестности. Очень я его ценил, он меня не раз выручал. Хороший был человек".

Разговорились о Шаляпине. Ведь эту тему невозможно избежать в разговоре с басами. "Хотелось бы его теперь послушать, да и поговорить с ним откровенно. В свое время он мне давал добрые советы и много помог. Очень он любил моего брата Григория". Потом наступила минута молчания, все были заняты едой. Выпивки было вдоволь. Александр Пирогов сказал: "Вот как надо жить. Пьем не только на сцене, но и в жизни". Кто-то добавил: "Уже от одного репертуара наших басов можно стать алкоголиком". Пирогов оправдывался: "Не хочется мне изображать пьяного на сцене, а требуют. Едва выйду на сцену, еще не успею рта открыть, чтобы объявить название произведения, со всех сторон раздаются крики: Бетховена, Бетховена! Я делаю вид, что не знаю, о каком произведении идет речь. Пою романс Сергея Васильевича Рахманинова "Судьба". Там есть слова "Стук, стук, стук, стук". Слышу женские и детские писклявые крики: "Песню пьяницы, песню пьяницы!" Так громко кричат, что нет сил уговорить. Хочется им предложить романс Рахманинова "Не пой красавица при мне". Но не желая долго вступать в дискуссию, должен подчиниться требованиям пролетарской массы и спеть бетховенскую "Песню пьяницы".

Александр Степанович Пирогов пригласил меня к себе домой. У него была идея спеть ряд романсов в сопровождении скрипки и рояля. Даже обещал в награду устроить мне бесплатные пропуска на спектакли Большого театра. Сговорились о времени встречи. Я явился со скрипкой. За роялем сидел пианист и началось обсуждение репертуара. Пересмотрели много нот. Остановили выбор на Глинке, Рахманинове, Бородине, Римском-Корсакове. Мне было предложено "досочинить" скрипичную партию. Эта идея меня очень увлекла.

После первой репетиции Пирогов пригласил своих гостей, как он сказал, "на рюмку чая". Сам поставил самовар. Ароматный запах заполнил комнату. А тут и пирожные, торты, конфеты, печенья. Стал рассказывать Пирогов о своей родословной.

Все началось с деда Ивана. За могучий голос его прозвали "колоколом Ивана Великого". По всей округе славился ямщик Иван Пирогов. В деда уродился и его сын Степан — рязанский крестьянин. Голос был не такой могучий, но зато волнительно было его слушать, с душой пел. У Степана Пирогова родилось пятеро сыновей: Иван, Михаил, Григорий, Алексей и Александр. И у всех голоса как на подбор. Особенно выделялся Иван. Должен был стать одним из лучших басов в России, так и говорили. Но Иван Пирогов погиб в Первую мировую войну, едва достигнув 23 лет. На смену Ивану пришли другие братья, ведь у всех были басы. Отец говорил: "Если уродится сын с высоким голосом, значит, не от меня. Значит, жонка с кем-то согрешила. А ежели бас, то это мой, родной, прямой наследник".

Брату Михаилу не повезло. После Первой мировой войны приехал он в Петроград. Там его голос оценили, хотели взять в оперу. Но Михаил поступил в театр музыкальной драмы. И недолго прожил.

Больше повезло брату Григорию Степановичу. Добрые люди привезли его в Москву и определили в училище Московского филармонического общества. А там преподавал Михаил Ефимович Медведев. Кто такой Медведев, не надо долго рассказывать. У него был прекрасный тенор. Особенно его голос нравился Чайковскому; Медведев был первым исполнителем партии Ленского в "Евгении Онегине". С большим успехом гастролировал в

Америке, был хорошим педагогом. Из его класса вышли Александр Ильич Мозжухин, Фатма Мухтарова. Григорий Пирогов многому у Медведева научился, а когда окончил училище филармонии, поехал в Ростов, в частную оперу. Вскоре о молодом певце громко заговорили даже в Петербурге. Уже через год он дебютировал в Мариинском театре. Но был еще молодым и недостаточно опытным, хотел опять поехать в провинцию, потренироваться, да по дороге его перехватил Большой театр. Так он и пел там с 1910 до 1921. В 1923 г. Григория пригласили в Германию, и там он пел с большим успехом. Его высоко ценил Шаляпин и даже признавался, что завидует красоте его голоса. А какой диапазон у него был! От баса до сопрано. Публика его очень любила. Жаль, что мало пластинок осталось. Григорий Пирогов умер в 1931 г. Многие чувствовали свою вину перед ним — не усмотрели, не окружили должной заботой. Таких, как он, было раз, два, и обчелся.

Теперь пришел черед Александру спасти честь семьи. У Александра прорезался бас еще в 16летнем возрасте. Попытался петь в концертах. Старший брат Григорий не признавал баловства, говорил, что сперва надо научиться хорошо петь. И окончить гимназию. После гимназии Александр поступил на историко-филологический факультет Московского университета и еще стал посещать занятия в филармоническом училище. А там был педагог Василий Саввич Тютюник. Очень хороший бас, 34 года пел солистом в Большом театре, а с 1903 до 1910 год был там главным режиссером. Именно Тютюнику удалось поднять качество спектаклей Большого театра. Тютюник был исключительно требовательным педагогом и оставил по себе самую добрую память.

Тютюник не раз просил Луначарского о личной беседе. Но нарком соглашался принять Тютюника только в своем рабочем кабинете. "Разговор серьезный и трудный, нужна подходящая обстановка", — убеждал Тютюник наркома. Вмешался брат Луначарского, Михаил Васильевич. Наркому пришлось уступить, Тютюника пригласили на ужин. Стол был завален едой, хотя время было голодное. Наркому пришлось долго ждать, пока начался деловой разговор. "Надобно кормить не только ваших

молодцов, но и наших певцов, — заявил Тютюник. — В консерватории учатся очень талантливые певцы, но от голода они не могут петь, нет сил”. Луначарский стал доказывать, что страна переживает невероятные трудности с продовольствием, на фронтах голодают, в тылу рабочие пухнут с голода. ”А вы, Анатолий Васильевич, из собственных резервов сообразите”, — Тютюник так наседал на Луначарского, что тому некуда было деться. Тютюник принес с собой мешок и сложил в него все, что было на столе. А потом сказал: ”Вот, расскажу студентам, как пролетарское государство заботится о молодых талантах”. И добавил, что ”американцы — народ сердобольный, помогут голодающим наркомам”. Луначарский опешил.

По рассказам А. Пирогова, Тютюник не боялся ничего. Даже к Дзержинскому его не раз вызывали. И он умудрялся в кабинете Дзержинского петь с ним в два голоса революционные песни. Мог кого угодно ругать и выходил сухим из воды, на его чудачества смотрели сквозь пальцы.

Александр Степанович Пирогов охотно делился своими воспоминаниями. Однажды зашел разговор о басе Льве Михайловиче Сибирякове. ”Интересная личность, говорят, стал профессором консерватории в Варшаве, — сказал Пирогов. — Мой брат с ним часто сталкивался; спорили, ругались, на чем свет стоит”. Потом припомнил, как в одном спектакле в 1909 г. в Мариинском театре сошлись Г. Пирогов и Л. Сибиряков: Григорий пел какую-то предсмертную арию и, решив показать свой голос и дыхание, затянул одну громкую ноту так, что публика ему устроила овацию. В следующем акте Сибиряков спел еще громче и затянул свою ноту дольше. Дирижер Э. Ф. Направник, не любивший подобные вольности, поинтересовался, почему Сибиряков позволил себе такой трюк. Сибиряков ответил: ”Понимаете, Эдуард Францевич, этот молодой певец на сцене умирает, а дал такой звук. Ну, а мне жить надо, вот я и решил его переплюнуть”. Направник рассердился и сказал: ”Вы большой дурак, господин Сибиряков”. Но Сибиряков без обиды и смущения спросил у Направника: ”А голос? Как вы находите мой голос?”

Действительно, у Сибирякова был могучий голос и владел он им великолепно. От Александра Пирогова я узнал, что насто-

ящая фамилия Сибирякова — Спивак, а родом он с Украины. На украинском языке "спивак" — певец. Но кому-то фамилия Спивак не понравилась. Началось с самого Артуро Тосканини. Учился Сибиряков-Спивак в Италии у знаменитого педагога Ч. Росси. Услышав его голос, Тосканини пригласил Спивака петь в Милане, в Ла Скале. Там он выступил с огромным успехом под фамилией Спиваккини. Так бы ему и оставаться Спиваккини. Когда он вернулся в Россию, в 1902 г., его приняли солистом в Мариинский театр. "Ну какой же он, дьявол, Спиваккини?". Стали искать новый псевдоним. Долго гадали, пока Направник не предложил псевдоним "Сибиряков". Так и приклеилась к нему новая фамилия.

Особенно успешно Сибиряков пел Сусанина в "Жизни за царя". Пел Собакина в "Царской невесте" и вызвал восторг Римского-Корсакова. Правда, композитор старался исправить несносное произношение Сибирякова; но услышал такое оправдание: "Я же не виноват, что вы употребляете для своих опер трудные слова, которые я не могу правильно произносить. Вы должны со мной считаться".

Успешно пел Сибиряков в операх Вагнера — это была его настоящая стихия. До 1921 года Сибиряков пел в Мариинском театре, хотя его и перетягивали в Большой. Но он предпочел эмигрировать, т. к. жаловался, что в советской России не может утолить своего голода. А поесть он любил основательно, за пятерых. Его любимая поговорка была: "Сперва поем и попью, а потом запою". Уехав из России, Сибиряков посылал продуктовые посылки с надписью: "кушайте на мое здоровье". Ужасно ревновал к успеху Шаляпина: "Мы с Федором Ивановичем разные Мефистофели, и мой ни на что не похож".

В Варшаве, где Сибиряков стал профессором консерватории, оказался и другой профессор пения, Антон Владиславович Секар-Рожанский. Но у него был лирико-драматический тенор. Учился он в Петербурге. Его очень любил Римский-Корсаков и доверил ему первое исполнение партии Садко и Ивана Лыкова в "Царской невесте". С 1914 по 1919 гг. Секар-Рожанский был профессором Московской консерватории, а в 1920 г. ему удалось удрать в Польшу под предлогом польского происхождения. Рожанский

тоже любил хорошо поесть, говорил: "Не хочу большевистской заразы, хочу зразы" (национальное польское блюдо).

Случилось мне спросить Пирогова о его личном знакомстве с партийными вождями. Ведь было известно, что некоторые солисты Большого театра всячески старались попасть в дома знатных партийцев. Один известный певец даже проговорился: "С кем поведешься, от того наберешься еды и почестей". Но Александр Степанович был из породы застенчивых, сам напрашиваться не умел. Уж лучше принимать гостей у себя. Так пожаловал к нему в гости Клим Ворошилов, хотел похвастаться своим пением: известно, что Ворошилов брал уроки пения. Пирогов чувствовал себя неловко и не знал, о чем говорить. Ворошилов удивился, что Пирогов не предъявлял никаких просьб. Все у него что-то просили, а тут человеку ничего не нужно.

Пирогова вызывали петь на правительственных концертах, и он не смел отказаться. Но оказывалось, что у него был недостаточно подходящий репертуар, а советских песен он не знал. Другие певцы были оборотистей, могли со сцены и революционные песни прокричать, добиться приглашения в правительственную ложу, завязать полезные знакомства.

Как-то у нас с Пироговым зашел разговор о его репертуаре: какую роль он больше всего любит? Конечно, Бориса Годунова. Пирогов мне подробно излагал свои мысли о "Борисе Годунове". Помню его слова: "Это крамольная опера. Не зря ее сначала на сцену не пускали, потом из нее убрали опасные места. Да и в наше время кое-что ретушируют, чтобы в глаза не бросалось. А кто такой Юродивый? Думаешь, в наше время нет юродивых? Их теперь ловят и жестоко с ними расправляются". Внезапно остановившись, Пирогов смущенно сказал: "Кажется, пролепетал что-то лишнее. Просто немного пошутил".

Самым первым исполнителем партии Бориса был Иван Александрович Мельников, в 1874 г. в бенефис Юлии Платоновой. Александр Пирогов хорошо знал сына певца, режиссера Большого театра Петра Ивановича Мельникова. Когда в 1920 году Пирогов пробовался в Большой театр, П. И. Мельников сказал ему, что надо повременить, слишком молод. В 1922 Мельников-младший уехал в Ригу. Потом ставил спектакли в Милане,

в театре Ла Скала.

Пел Бориса и Александр Ильич Мозжухин, пел своеобразно, но великолепно. Особенно любил А. Пирогов исполнение партии Бориса старшим братом, Григорием Степановичем. Сколько чувства тот вкладывал в слова монолога "Скорбит душа"! Братья не раз обсуждали партию Бориса, спорили.

Александр Степанович напевает целые куски из "Бориса Годунова" для одного единственного слушателя, для меня. Я потрясен его исполнением, говорю восторженные слова. Пирогов отвечает: "Рано хвалить, пока я еще других копирую, а надо исполнять по-своему. Как ни хороша копия, а оригинал — лучше". Тут же вспомнил, что ему предложили спеть Бориса еще в 1919 году, когда ему едва исполнилось 20 лет, но брат отговорил. Впервые партию Бориса Александр Степанович пел на сцене Большого театра 12 февраля 1929 г. Все хвалили, но сам он был недоволен — "Не мог все высказать, что думал. Все хотели, чтобы я подражал Шаляпину, а у меня это не выходило". Но постепенно он сумел найти свою интерпретацию, свое собственное понимание этой партии.

Проще дело было с Мельником в "Русалке" Даргомыжского. Тут, как признавался Пирогов, он вспоминал своего собственного отца и воспроизводил его портрет. И еще, говорил Александр Степанович, ему запомнилось выражение лиц у крестьян, у которых по продразверстке отнимали последний кусок хлеба — "Надо было видеть отчаяние, написанное на их лицах! Тут и сцена сумасшествия!"

В уютной квартире Александра Пирогова всегда было множество гостей. И не только потому, что здесь можно было вкусно поесть, хотя и об этом многие не забывали. Но прежде всего привлекала возможность общения с большим русским артистом. Заглядывали молодые певцы, жаждавшие услышать добрый совет; приходили маститые актеры московских театров; бывали писатели, художники, инженеры.

Однажды я встретил у Пирогова высокого роста мужчину, одетого "во все заграничное". Пирогов нас представил: "Платон Иванович Цесевич, прошу любить и жаловать. Мой конкурент, даже опасный конкурент. Чудесный певец. Совсем недавно воз-

вратился к нам”. Имя певца мне было знакомо, я слышал о нем немало рассказов. “Что же про меня говорили?” — своим бархатым голосом спросил Цесевич. — “Восторгались вашим пением, рассказывали, что имеете большой успех во Франции и в Италии”. — “Вот видите, Платон Иванович, — заметил Пирогов, — вас хорошо помнят, даже молодежь про вас знает, куда уж лучше? А после моей смерти, боюсь, меня сразу же позабудут. В лучшем случае будут вспоминать моего брата Григория, а обо мне скажут, что, вот, тоже был певцом”. В ответ на вопрос Цесевича, почему бы Пирогову не поехать в Западную Европу, где он мог бы обратить на себя внимание, стать мировой знаменитостью, после тягостной минуты молчания, Пирогов неожиданно захохотал. И вскоре перевел разговор на другую тему.

Цесевичу обещали дать возможность спеть спектакль в Большом театре. Репертуар у Цесевича был огромный. Остановились на партии Мельника в “Русалке”. Но директор Большого театра, Елена Константиновна Малиновская что-то медлила с ответом. Да и трудно было ее заставить для откровенной беседы. Пока же Цесевичу предложили заняться концертной деятельностью. Цесевич явно чувствовал себя неловко и был в недоумении.

Пирогов предложил: “Достань-ка, Миша, свою скрипочку и давай тряхнем стариной”. Тут же был пианист, и зазвучал романс “Сомнение”. Пирогов пел божественно, он был в особом ударе. Мне показалось, что у Цесевича на глазах появились слезы. А потом он сказал: “Я так не спою!”

Цесевич записал мой адрес и номер телефона и обещал пригласить участвовать в своих концертах, конечно, если Пирогов не возражает. Через пару дней меня вызвали в Гастрольбюро и предложили концертную поездку с Цесевичем. Я охотно согласился.

Концерты Цесевича пользовались большим успехом. Его знали и помнили. Правда, говорили, что он слишком копировал Шалапина. Мне лично нравилось пение Цесевича. Да и собеседник он был прекрасный, рассказывал много забавного. После возвращения из гастрольной поездки я пересказал Александру Степановичу Пирогову услышанное от Цесевича о заграничной жизни. Он слушал сперва спокойно, а потом вдруг покраснел и

злобно сказал: "Не понимаю, на кой леший он приперся к нам. Оставался бы там. Какой дьявол его соблазнил? Подумал ли он, что его ждет? Поверил, дурак, в сладкие сказки. Обратного-то его теперь не пустят. Он уже насмотрелся на нашу жизнь. Небось, в Торгсин снес все ценное. Ну, дадут ему попеть в провинции, зарабатывает немного денег. И это все! А в Большой театр его не пустят, за это я ручаюсь. Даже преподавать ему не дадут. А там он в лучших оперных театрах мог петь, жил бы припеваючи".

После некоторого раздумья Пирогов спросил мое мнение. Но у меня не было никакого мнения.

"Пока голос звучит, мы нужны, — сказал Пирогов. — Кое-как приспособляемся, а теперь еще научились молчать и поддакивать. Даже поддакиваем — молча. А молчание — знак согласия". Высказавшись, Пирогов успокоился. А потом стал просить, чтобы я никому не рассказывал.

В дальнейшем наши встречи стали совсем редкими. Иногда Пирогов позвонит мне по телефону и справится, не могу ли с ним поехать на концерт. А я, как назло, именно в этот вечер занят...

М. Гольдштейн

РУССКИЕ СКАУТЫ НА ОСТРОВЕ ПРОТИ — 1919—1920 ГОДЫ

30 апреля 1984 г. Организация Российских Юных Разведчиков отметила свое 75—летие. Из этих 75 лет непрерывной деятельности 66 лет приходится на работу за границей.

Сегодня это не только старейшая русская молодежная организация в мире (советские пионеры были основаны в 1922 г.), но и самая крупная русская молодежная организация за рубежом.

Скаутмастер Ирина Владимировна Халафова (урожденная Комарова), будучи одиннадцатилетней девочкой вступила в скаутскую организацию на острове Проти в январе 1920 г. Она описала свое пребывание на этом острове почти с самого начала и до последнего дня существования там беженского лагеря.

В мемуарной литературе мне не встречалось более подробного описания жизни и быта этого лагеря и потому воспоминания, написанные Ириной Владимировной, являются ценным историческим материалом.

Р. Полчанинов

Как мне сообщил о. Димитрий Симонов, бывший скаут из Феодосии, осенью 1919 г. союзники вывезли в район Константинополя большой контингент беженцев, включая лазареты с ранеными из Феодосии, и разместили русских беженцев на Принцевых островах в Мраморном море. Принкипо (Буюк-Ада), Халки (Хейбели-Ада) и Антигону (Бургаз) оккупировали англичане, французы и итальянцы, а на маленьком безлесом Проти

(Кинели-Ада) были американцы.

Население острова Проти состояло, главным образом, из греческих и армянских рыбаков, еще не пришедших в себя от ужасов турецкого террора и живших в нищенских условиях. Была у пристани одна жалкая лавчонка с убогим товаром, и раз в неделю по островам в Константинополь и обратно шел почтово-пассажирский пароходик. Беженцы из Феодосии были размещены на вершине горы в упраздненном турками греческом монастыре; командование, склад и лазарет помещались у пристани в пустовавших турецких домах. Из Феодосии же были вывезены семьи штаба генерала Деникина, которым у пристани был предоставлен дом, получивший название "Деникинс хаус". Американцы заняли для себя лучшие дома и имели собственные моторные катера.

В Новороссийске в январе 1920 г., во время эвакуации, мой отец в зимний сильный норд-ост посадил свою наголо обритую после сыпняка и кори, нищую после пожара семью на американский миноносец, уходивший на остров Проти, а сам отбыл в Крым в штаб генерала Врангеля.

Беженцев из Новороссийска встретило американское командование, русские должностные лица и санитарная часть. Беженцы пошли пешком со своими пожитками в гору, в монастырь, но моя мама была так слаба, что не могла идти и нас поместили в том же "Деникинс хаус", предварительно кое-кого уплотнив.

Между "деникинцами" и "врангелевцами" был антагонизм, и поэтому нас, как семью служащего в штабе Врангеля, встретили в штыки. Вскоре отношение к нам резко изменилось. Случившаяся в нашей семье трагедия вызвала у людей сначала жалость и сочувствие, а впоследствии — дружбу. Мой восьмилетний брат расчесал ячмень на глазу, получил столбняк и через три дня умер в страшных мучениях. Маму отправили в лазарет в полупомешанном состоянии, а бывшую с нами преданную, выросшую в нашей семье прислугу — на лагерную кухню. Она взяла с собой мою пятилетнюю сестренку, а я, как большая (мне было уже 11 лет), осталась в "Деникинс хаус". Никто обо мне не заботился, никто мною не интересовался. Я не была исключением. Большинство детей в этом лагере было в более или менее подоб-

ном же положении. Матери, даже здоровые, были еще в шоке отрыва от России и беспокоились за судьбу мужей и взрослых сыновей в Крыму. Многие были обременены заботами о маленьких детях. К тому же у всех было полное безденежье.

Американское командование возложило заботу о детях и подростках на молодую и хорошенькую мисс Бризи, занятую больше своим романом, вышедшую в апреле замуж и уехавшую с Проти. Ее попечение ограничивалось тем, что раз в день она давала нам урок английского языка. Она знала французский язык, но очень плохо, а кое-кто из нас, имевших в России гувернанток, говорил по-французски. Получался балаган. Она с нами говорила по-французски и по-английски мы ничего не выучили.

Фактически вся забота о детях и подростках свалилась на скаутов. В Феодосии был скаутский отряд — человек 80. Часть из них с осени 1919 г. оказалась на острове Проти. Здесь они пополнили свои ряды из числа таких ребят, как я; родители были рады переложить заботу на других. Мисс Бризи тоже была рада, что кто-то заботится о детях и потому покровительствовала скаутам, помогая им в разных мелочах. Она нам не мешала, и мы ее любили и не мешали ей.

Начальником скаутов был Гога. Не помню точно его фамилии, кажется, Свиридов. Он был среднего роста, коренастый, широкоплечий, брюнет-неулыба. Он был ранен и сначала сильно прихрамывал, ему было лет двадцать и прибыл он на Проти с лазаретом. У него была настоящая скаутская форма и шляпа с широкими полями.

Помощником Гоги был Володя Эльснер — высокий блондин с тихим и ласковым голосом. Ему было лет 16-17. Его отец был сослуживцем моего отца. Они вместе с нами были в Константинополе, а затем уехали в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (Югославию). Было еще два-три скаута, но я их не помню.

Если Гога был всецело поглощен борьбой за Россию, то Володя — борьбой за церковь, логично завершившуюся ранней схимой. Гога был мозг и власть, Володя — забота о наших душах, но стержнем нашей скаутской единицы на Проти была Галя Горская. Глядя сейчас на ее константинопольскую фото-

графию, вижу какой она тогда была юной — ей было, самое большее, — 15 лет. Красота Гали, ее черная коса, очарование и устремленность покоряли всех от мала до велика. Когда мы прибыли из Новороссийска на остров Проти, у нее уже была "стая птенчиков", группа около 20 девочек лет 7-11, которая делилась на "шестерки".

Когда я поступала к Гале в "стаю", она меня первым делом спросила, знаю ли я молитвы. От няни и очень набожных бабушек я знала много молитв и стала, задыхаясь, скороговоркой говорить одну за другой. Когда я дошла до "Да воскреснет Бог", Галя меня остановила и сказала: — "Ты будешь начальницей "шестерки птенчиков" и будешь их учить молитвам". Потом, подумав, добавила: — "Ты молитвы лучше меня знаешь".

Школы на Проти не было и скаутские сборы были у нас каждый день и на целый день. Мы все ходили за Галей хвостом. Вместе отправлялись в столовую и купаться — девочки отдельно, под скалой, так как у нас никаких купальных костюмов не было. Что-то строили, что-то лепили из глины, играли в какие-то игры, пели песни, пекли картошку. Но нас никогда не покидала Россия — там, на севере, так близко — и так далеко.

Нам, конечно, нужны были разные мелочи. Американцы буквально заваливали нас сгущенным молоком, какао и разной едой. Это было нашей валютой для бедного населения острова. Мы выменивали нитки, иголки, ножницы, карбидные лампы, карбид, спички и тому подобное, а главное, почтовые марки и конверты. Бумагой и карандашами нас снабжала мисс Бризи. Гога и Галя снеслись по почте с русскими скаутскими единицами на соседних островах и узнали, что на Принкипо находится сам О. И. Пантюхов.

В начале марта мы были приглашены приехать на остров Принкипо (Буюк-Ада) 25 марта на празднование дня рождения Олега Ивановича Пантюхова, в честь которого должен был состояться парад, а затем игры и состязания для ребят.

Было сказано явиться в формах, а у нас на Проти формы были только у старших, с которыми, а иногда и в которых они эвакуировались из России. У нас, новичков, форм не было. Мы бегали по острову в чем попало, босиком, несмотря на опас-

ность подцепить столбняк.

Помогла нам мисс Бризи, распорядившаяся выдать со склада брезентовые туфли и материю защитного цвета. Галя выпросила у кладовщика материи на треугольные скаутские косынки, непременно принадлежность скаутской формы. Новичкам, не сдавшим вступительного экзамена, косынки носить не полагалось, но среди нас было несколько человек, в том числе и я, которые уже успешно сдали экзамены, хотя еще не дали "Торжественного обещания" — "исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и исполнять скаутские законы". Было решено, что наше "Торжественное обещание" мы будем давать в торжественной обстановке на Принкипо, в присутствии самого Олега Ивановича.

Галя кроила, а мы, маленькие девочки, как-то сами шили себе на руках и юбки и рубашки. Трехцветные ленточки для погонов были у Гоги, а это было, по нашему убеждению, самым главным.

Пошить форму оказалось проще, чем достать транспорт. С острова Антигона 25 марта шел специальный катер для скаутов, конечно, бесплатный. По дороге он должен был захватить скаутов с острова Халки, но на Проти не заехал. Мы оказались без транспорта, так как почтово-пассажирского пароходчика в тот день не было по расписанию. Пришлось Гоге и Гале нанимать лодку, за которую мы, сложившись все вместе, заплатили продуктами.

Сейчас, оглядываясь назад, я вижу какое это было отчаянное предприятие. Расстояние было большое и плыли мы долго. Лодка была большая, старая, весельная, килевая. За рулем сидел хозяин, рыбак — грек. На веслах — Гога, Галя и разведчики. Остальные — прямо на мокроватом дне, держа в руках драгоценные формы. Никто из нас не умел плавать. Выплыли на зорьке, море было, как зеркало, и благополучно и вовремя приплыли на Антигону. Хозяин с лодкой остался нас там ждать.

На катер погрузился сначала более крупный сводный отряд с Антигоны, а затем была подобрана единица с Халки. Мы были самыми убогими, так как многие скауты с других островов были в настоящих формах. Как ни странно, саму церемонию на Прин-

кипо и день, проведенный там, я помню очень туманно. Как дочка военного, я вполне понимала значение присяги ("Торжественного обещания"), и видимо, это настолько захватило меня, что все остальное как-то забылось. Лица Олега Ивановича я совершенно не помню. Запомнилась мне его шляпа и, как ни странно, его голос.

К сожалению, сам Олег Иванович в своих воспоминаниях не упоминает, как прошел этот день — его первый день рождения за рубежом. Помню, что было много скаутов в формах, потом говорили, что среди них были и иностранные скауты, приехавшие к нам, русским, в гости.

Вероятно, нас кормили, ведь мы были там целый день, наверное, были игры и состязания, в которых я, конечно, участвовала. Помню только, как мы садились обратно в лодку. Был вечер, но еще светло. Море рябило, и нас изрядно качало. По очереди вычерпывали воду ковшом. На мне была желанная косынка, я ни о чем больше не думала и по молодости не понимала опасности. Гога был отчаянный парень-фронтовик и ничего не боялся. Галя, сидя рядом с Гогой, тоже ничего не боялась. Теперь, вспоминая прошлое, я удивляюсь нашим начальникам, пригласившим нас на катер на Ангигоне и не подумавшим, как мы туда доберемся и как вернемся домой.

В середине апреля 1920 г. пароход Добровольческого флота привез на Проти контингент беженцев из Крыма. Это событие резко изменило сплоченное, дружное, увлекательное существование нашей маленькой скаутской единицы.

На Проти была высажена г-жа Жикулина, известный либеральный передовой педагог, прекрасно владевшая и английским и французским языками. Она была настроена против скаутизма, не понимала нашей спайки, не видела нашей самодисциплины, а видела в нас банду и ужасалась нашей дикости. Мисс Бриз к этому времени уже уехала.

Жикулина пристыдила американское руководство и матерей и получила нас в свою полную власть. С пароходом, привезшим беженцев, Гога уехал в Крым по призыву ген. Врангеля воевать с красными. Мы рыдали, его провожая, особенно Галя, которая как-то сразу потускнела. Гога был ее первой любовью.

Нас согнали в огромную палатку столовой, дали тетрадки и карандаши и сделали диктовку. Затем нас разделили по группам. Катя Бобрикова, дочь военного инженера, папиного помощника, Тата Модрах, тоже дочь папиного сослуживца и я попали в одну группу. Нашу четвертую подружку — Люсю Павловскую, несмотря на ее возраст, из-за ее полной неграмотности определили в самую младшую группу. Она была в отчаянии, но ни ее, ни наши просьбы не помогли. Это вызвало у нас злой и упрямый антагонизм.

Жикулина и ее помощники, конечно, желали нам добра. Сейчас, вспоминая, стыжусь своего поведения, тем более, что я задавала тон. Жикулина запретила скаутские сборы. Мы стали проводить сборы тайно. К сожалению, вели мы себя плохо и совсем не учились. Так продолжалось до июля.

В середине июля, в канун моего дня рождения, неожиданно приехал отец. Моя мать будто очнулась, но все еще жила где-то между заботами о младшей дочке и могилой сына. Отец сообщил, что Антанта возвращает Принцезы острова туркам, и что беженцы должны покинуть острова. Мы должны были ехать в Константинополь, где отец работал при посольстве специалистом по закупке оружия для армии. Закупали его и свозили пароходами Добровольческого флота тайно от союзников.

Беженцев стали развозить в разные страны, а мы переехали в посольство в Константинополь. Перед отъездом с Проти Жикулина пожаловалась на меня папе, и я получила одну из худших головомоек в жизни.

Пока при посольстве велась важная, секретная, рискованная деятельность, мы пошли учиться в школу, которую организовала при посольстве все та же Жикулина.

Осенью, думаю, что это было в сентябре, из Крыма прибыл в Константинополь старший скаутмастер В. А. Темномеров. Он собрал нас, сделал нам внушение, уладил дело с Жикулиной и скаутская работа возобновилась. Мы решили, по детской логике, хорошо себя вести и учиться — "Жикулиной назло". К нашей радости, школу вскоре закрыли, так как стали приходить пароходы с ранеными из Крыма. Они и медицинский персонал заняли все свободные помещения российского посольства, а в ноябре

рухнул Крым. На Босфор пришли пароходы. Об этом уже много писалось; скажу только, что когда отец на посольском катере объезжал эти пароходы, мы с Галей умоляли его разыскать Гогу. То ли отец, слишком занятый другими делами, не имел времени, то ли, не зная Гоги, не смог его найти, то ли Гога погиб на фронте, но отец его так и не разыскал и я больше нигде и ни от кого ничего о нем не слышала. Но то, что я получила от него и от Гали, связало меня на всю жизнь с русскими скаутами. Мои дети теперь стали руководителями в Организации Российских Юных Разведчиков, а две мои внучки, разведчицы, напоминают мне о тех далеких годах моей юности на острове Проти.

И. Халафова

НА ВЕРШИНАХ И В ПРОПАСТЯХ

Встречаясь в жизни и в литературе с очевидцами советской действительности 1920-х — 1940-х годов, слышишь или читаешь порой, что ни у твоего собеседника, ни в его окружении никогда не было никаких иллюзий относительно доктрины марксизма-ленинизма, а также всего, происходившего тогда в СССР. Я не ставлю под сомнение искренности этих утверждений. В СССР *всегда были круги и лица*, ни на миг не подпавшие под власть иллюзий, от которых, к примеру, моим друзьям и мне пришлось освободиться десятилетиями. При этом, добавлю, круг мой был национально-смешанным и принадлежал к различным общественным слоям. Все было бы слишком просто, если бы победа большевиков объяснялась лишь тем, что банда насильников, обманщиков и демагогов завлекла в свои сети и поработила множество больших и малых народов, ни на мгновение не разделявших с нею ее программу и первичные цели — в том виде, в каком они прозвучали в ее декларациях.

Иллюзии — были. Существенная часть наиболее массовых слоев населения шатнулась в решающий момент на сторону большевиков. И немалая часть интеллигенции подпала под соблазнительное обаяние "мировой безвластной коммуны" (Троцкий). Долго ли эти иллюзии были массовыми? Достаточно долго для того, чтобы завоевателями был создан аппарат, способный удерживать в своей власти общество до того, как оно в большинстве своем очнулось бы и стало избавляться от одурманивших его соблазнов.

И в рядах самих большевиков в 1917-1920-х годах было немало идеалистов, убежденных в "научности" предначертаний Маркса, которые, впрочем, каждая партийная фракция (пока они еще были) толковала по-своему.

Книга Л. Шатуновской "Жизнь в Кремле" (Нью-Йорк, 1982) рассказывает о том, как рушились в реальных человеческих судьбах эти иллюзии. Книга представляет собой воспоминания автора. На всем протяжении, кроме финала, она содержит два пласта оценок того, что в ней описывается. Первый принадлежит лирической героине книги — Лидии Шатуновской тех лет, когда происходили описанные события. Второй присущ нынешней Лидии Шатуновской, исследующей, а не только вспоминаяющей свое прошлое. Двуплановость лаконичного и сдержанного повествования создает одновременно и эффект присутствия читателя в прошлом автора, и злободневность истолкования этого прошлого. Удивительным образом Л. Шатуновская, умудренная своим горчайшим опытом, сумела не засушить живые реакции своей молодости и одновременно показать иллюзорность своего тогдашнего мироощущения.

В конце книги две системы отсчета сходятся воедино: лирическая героиня приходит к тем выводам, которые составляют основу нынешнего миропонимания автора. Так возникает дорога — от плененности коммунистическими миражами к пониманию их *исконной злокачественности*.

Студентка государственного института театрального искусства (ГИТИСа), а позднее — театровед, Лидия Шатуновская пребывала одновременно в двух общественных средах тех лет: в среде лояльной к режиму театральной и околотеатральной интеллигенции, тяготевшей к слою, именовавшемуся тогда "попутчиками", и в среде "старых большевиков". Первой среде она принадлежала профессионально, второй — по теснейшим дружеским, а затем и семейным связям. Она долго жила в семье одного из первобольшевиков-"кремлежителей" П.А. Красикова (жена его была одновременно и студенткой, и партийным руководителем ГИТИСа). Первый муж автора, Я. Шатуновский, был "старым большевиком". Сама Л. Шатуновская членом партии никогда не была. Сейчас, воспроизводя свою тогдашнюю с ними связанность, Л. Шатуновская критически препарирует обе эти среды.

"Попутчики" постольку имели в 1920-х годах "в своем творчестве известную степень свободы", — замечает она, — поскольку "они в целом были близки к тем идеалам и целям, которые официально прокламировал коммунизм"; любое отклонение от фразеоло-

логии коммунизма их этой призрачной квази-свободы лишало. В средства достижения этих идеалов и целей "попутчики" предпочитали не вглядываться. А если не вглядываться не удавалось, "попутчики" старались оправдать для себя любые деяния власти величием все тех же "идеалов и целей". Их пути были в дальнейшем разной степени компромиссны или честны, но всегда трагичны — даже тогда, когда "попутчик" вроде бы процветал (как по сей день — В. Катаев), а умирали только его честь и совесть.

Юность Л. Шатуновской совпала с коротким апогеем иллюзий "попутчиков" (она сама к ним принадлежала), и потому это время воспринималось ею *тогда* как некий художественный расцвет. Она и теперь хранит в душе отзвук этого впечатления. Внутренняя эмиграция и отчужденность, гибель или полное нравственное падение были тогда у "попутчиков" еще впереди.

С семьей П. А. Красикова Л. Шатуновская жила в Кремле, в том самом описанном В. Ходасевичем в его мемуарах "белом коридоре", где в 1918 г. поселилась все большевистская околоревлюционная олигархия. В 1931 году героиня книги со своим первым мужем переехала в Дом Правительства (в тот знаменитый "дом на набережной", о котором писал в одноименной повести Ю. Трифонов). Туда же вскоре переселили и некоторые другие кремлевские семьи. Таким образом, она наблюдала "старых большевиков" и в годы их благоденствия, пребывания в силе и фаворе, и в годы их постепенно нараставшей опалы, и в годы их гибели. Попали в поле ее наблюдений и коммунисты-сталинцы, вытеснившие в 1930-х годах "старых большевиков" из элиты и из жизни.

Почти одновременно с книгой Л. Шатуновской мне довелось прочитать еще одну чрезвычайно интересную книгу — воспоминания А. Орлова (Л. Фельдбина) "Тайная история сталинских преступлений". Коммунист и высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности, хорошо осведомленный об их деятельности, Орлов, испуганный сталинскими репрессиями против чекистов, бежал от неминуемого ареста в 1938 году из охваченной гражданской войной Испании, где он представлял НКВД, на Запад вместе с семьей (женой и дочерью). Книга написана через пятнадцать лет после побега и впервые издана на русском языке только теперь (изд. "Время и мы", 1982). В ней содержится множество исторически ценных сведений о конкретной закулисной

“технологии” ряда трагических событий эпохи “большого террора”.

Книга эта перекликается с книгой Л. Шатуновской в некоторых аспектах своей тематики, но в одном отношении она с ней отчетливо контрастирует. В повествовании Орлова есть лишь один пласт оценок, принадлежащий правоверному коммунисту-ленинцу 1930-х годов. Пятнадцатилетие, прошедшее между побегом Орлова и публикацией им на нескольких языках его записок, не прибавило к его большевистскому миропониманию ровнехонько ничего. Для него остаются в силе четкие стереотипы хорошего Ленина и чудовищного Сталина, благородных ленинцев и мерзких сталинцев, беспорочного, светлого коммунизма первых и отвратительного карьеризма вторых. Между тем время переосмыслить эти стереотипы у Орлова было, так же как и был материал для такого переосмысления.

Л. Шатуновская сурово исследует когда-то ей близкую генерацию “старых большевиков” и сменивших их сталинцев и находит в себе достаточно зоркости, чтобы увидеть нравственную и мировоззренческую несостоятельность первых, породившую засилье вторых. Известные личные сантименты к тем, кто когда-то ей был по-человечески близок, она сохраняет и по сей день, но эти привязанности не препятствуют беспощадному выводу: “Жалею ли я об участии старых большевиков, столь безжалостно истребленных Сталиным? Сочувствую ли я им? Многих из тех, кого я лично знала и кто в частной своей жизни был неплохим человеком, мне просто по-человечески жаль. Но когда я думаю о старых большевиках как о социальной группе, я не нахожу в своей душе ни жалости ни сочувствия им.

Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали и даже в помыслах не имели. Но была за ними другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно поддерживали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них.”

По наблюдениям Л. Шатуновской, каста высокопоставленных “кремлежителей” уже в начале 1920-х годов обеспечила себя и своих близких благами, недоступными никому другому в обнищавшем за годы их правления государстве. Декоративный “парт-

максимум” (законодательное ограничение зарплаты коммунистов довольно скромными рамками) эта узкая олигархия (за редчайшими исключениями) сразу же научилась обходить посредством множества хитрых способов, имея практически неограниченное потребление — помимо зарплаты. Беззастенчивое сибаритство, которому предавались почти все они, сыграло немалую роль в утрате “старыми большевиками” к началу 1930-х годов какой бы то ни было сопротивляемости, что ярко сказалось в их полной капитуляции перед Сталиным, в том числе и на их “процессах”. Л. Шатуновская рисует негласную “табель о рангах”, господствовавшую изначально в среде “кремлежителей”, незыблемую иерархию, которой было подчинено не только деловое, но и частное их существование. Правда, по наблюдениям автора, “первобольшевики” довольствовались собственным потреблением жизненных благ, фантастических для разоренной страны (в том числе и во время великого голода, искусственно созданного во время коллективизации крестьянства в начале 1930-х годов). А сталинская номенклатурная свора более поздних лет еще и мошенничала, и воровала, и спекулировала, составляя себе несметные состояния. Но уже в ранних впечатлениях Л. Шатуновской сквозит печальное недоумение перед нравственными изъянами и деградацией той среды, которую по сей день принято идеализировать, жалеть и оплакивать. И — далеко не в одном только СССР¹.

Та часть “старых большевиков”, с которой — и по семье Красиковых, и по мужу — была тесно связана Л. Шатуновская, не участвовала ни в каких внутрипартийных оппозициях и ухитрялась, исходя из принципа, что “правым можно быть только с партией и через партию” (Троцкий), сохранять лояльность по отношению к сталинской политике, несмотря на внутреннюю свою антипатию и к Сталину, и к его действиям.

Это недобросовестное раздвоение сочеталось в них уже тогда, в 1920-е годы, с полной оторванностью от народной жизни, не только с незнанием ни людей, ни их истинных нужд, но и с *нежеланием* знать правду, что особенно отчетливо проявилось во время коллективизации и связанного с ней голода. Партийная

1. Достаточно вспомнить недавние книги Ж. Элленштейна и Дж. Кармайкла о Троцком или С. Хейтмена и С. Козна — о Бухарине.

схоластическая фразеология туманила их головы, и за привычными штампами "классовой борьбы" и "классовой целесообразности" они давно уже не видели живой реальности. Они не могли ничего противопоставить Сталину еще и потому, замечает Л. Шатуновская, что не имели альтернативных концепций, которые, противореча политике Сталина, тем не менее укладывались бы в обязательные для них рамки марксизма-ленинизма. Кроме того, они не обладали и достаточной для такого сопротивления организационной инициативой.

Еще при Ленине они привыкли быть исполнителями ведущей воли (люди волевые и самостоятельные при Ленине не удерживались и места в созданной им партийной структуре не обрели). Любая победившая на вершине партии сильная, организационно и тактически одаренная личность или узкая группа могли взять их тепленькими и повести за собой с помощью ленинского "так надо", привычного и обязательного для подавляющего большинства этих партийных деятелей. При всем том они уже давно умели учуять, чья программа ведет их к власти над огромной страной и эту власть укрепляет. Внутри партии власть сосредотачивалась на самой вершине, но для бесправного общества она оказывалась распределенной по ступеням партийного аппарата, партийной иерархии. И эту власть вместе с вытекающими из нее благами терять не хотелось. Поэтому и шли за сильнейшим.

Л. Шатуновской приходилось в те годы слышать, что "старые большевики" поддержали Сталина против Троцкого, как меньшее из двух зол. Им якобы не оставалось ничего иного, кроме этого выбора, и они выбрали первого (себя в качестве претендентов на ведущие роли они решительно снимали со счета, умея лишь следовать "за", а не направлять движение).

Почему же Сталин был для них приемлемей Троцкого? Л. Шатуновская считает, что этот выбор был предопределен еврейским происхождением Троцкого и его ярко выраженным космополитизмом, тогда как основная масса "старых большевиков" была подсознательно одержима российским имперским комплексом. Мне этот вывод представляется ошибочным. Сама Л. Шатуновская пишет, что "старые большевики" в подавляющем своем большинстве не страдали антисемитизмом и что евреев

среди партийной, советской и чекистской элиты тех лет было "непропорционально много".

Начнем с того, что сам Троцкий не был мастером подспудной организационно-аппаратной стратегии и тактики дальнего прицела и не имел в своих руках того аппарата, которым уже в 1924 году располагал и распоряжался Сталин. Троцкий был революционным оратором, литератором-фейерверкером, мастером коротких военных или военизированных кампаний. Он потому и пошел летом 1917-го года за Лениным, с которым много лет враждовал, что мог действовать и двигаться к прочной власти лишь с опорой на тактика-организатора No. 1, способного создать механизмы не только завоевания, но и удержания власти в своих руках. Этой ненадежности Троцкого, как создателя и охранителя аппарата власти, "старые большевики" не ощущать не могли. Кроме того, Троцкий был убежденным глобальным коммунистическим экспансионистом. Стержнем его программы и миропонимания было стремление *немедленно и любой ценой* начать распространение коммунизма на весь евразийский материк (замечу в скобках, что это ему принадлежат слова о том, что *путь коммунизма в Европу лежит через Афганистан*).

Авантюризм идеи прямого военного распространения коммунизма на весь мир для большевизма 1918-1930 гг. был ясен. Ленин и Сталин, как правило (за редкими и краткими исключениями), соизмеряли свои экспансионистские аппетиты со своими возможностями. Создав Коминтерн, они на долгое время предопределили свою истинную внешнеполитическую тактику и стратегию как многообразное (и конспиративное, и полуоткрытое, и явное) проникновение в еще свободные страны, в сознание их граждан, в их миропонимание. Военные поползновения совершали они (и совершают их преемники) обычно лишь там, где могли бить без особой опаски. Во главу угла ими было поставлено прежде всего выживание уже созданной ими тоталитарной монопартократической структуры, дающей им власть и связанные с нею возможности. А это как нельзя более отвечало интересам основной массы партийцев, особенно высокопоставленных.

Фанатическое стремление Троцкого посредством, как он писал, "10-ти — 20-ти — 50-ти лет" непрерывной мировой ре-

волюционной войны насадить коммунизм во всем мире было в ту пору чревато крушением коммунизма в СССР: против него ополчился бы весь свободный Запад, *тогда* более сильный, чем СССР. Чисто самоохранительные интересы и поставили большинство старых партийцев против Троцкого.

Замечу мимоходом: одно, казалось бы, чисто бытовое свидетельство Л. Шатуновской корректирует тот литературный стереотип личности Троцкого, который ныне сложился в западной советологии, в некоторых радикальных (троцкистских) коммунистических движениях и среди части оппозиционеров нынешнему советскому режиму. Троцкого часто изображают как революционера-аскета. Л. Шатуновская же пишет: "Особенно надменно и замкнуто жил в этой среде Троцкий, никем из них не любимый и, как мне кажется, никого из них не уважавший и не любивший. Да и по всему стилю своей жизни, по своему бытовому укладу Троцкий резко отличался от всего нашего окружения, жившего тогда еще довольно скромно. Он быстро, одним из первых, освоил стиль и замашки большого барина. Он не снисходил до обедов в Кремлевской столовой, где обедали "все прочие". Пищу для него и его семьи готовил отдельно какой-то из бывших царских поваров. Семью Троцкого обслуживало несколько домашних работниц, и даже лакеем, кажется, обзавелся этот провозвестник "перманентной революции".

Однако, оказавшись в изгнании, Троцкий яростно ополчился против материально-бытовых привилегий партийной элиты 1930-х гг.¹. Он стал патетически гордиться барские квартиры, специальное снабжение, наличие "горничных, кухарок, кормилиц, нянь, шоферов", "автомобили, состоящие в личном пользовании", и т. д., и т. п. — все, чем сам с избытком пользовался в годы своего пребывания в числе "кремлежителей". Теперь он обещал пролетариату и крестьянству СССР немедленно ликвидировать эти привилегии, как только "истинные большевики-ленинцы" (т.е. троцкисты) вернутся к власти. Эти демагогические пассажи, рассчитанные, как и ленинская пропаганда марта — октября 1917 года, на пробуждение потребительских инстинктов

1. См. Л. Троцкий, "Что такое СССР и куда он идет". Факсимильное издание IV-го Интернационала (на русском языке), Париж 1980, стр. 200.

масс и соответственно их ненависти к имущим слоям, выглядят весьма непривлекательно на фоне сибаритства и высокомерия Троцкого, которые наблюдала Л. Шатуновская, живя с ним на одном этаже в Кремле.

Пожалуй, нет таких апологетических мифов о заре большевизма, которые не рассыпались бы в прах при попытке отыскать их корни в истории этого феномена.

Так, неким светлым пятном в прошлом близкой ей семьи П. А. Красикова представляется Л. Шатуновской его многолетняя дружба с Лениным. И сам Ленин видится ей человеком, способным, в отличие от его преемника, на неподдельную и прочную дружбу. Однако, печатное наследие Ленина перечеркивает эту скромную идеализацию. С неподражаемым цинизмом раскрывает Ленин в некоторых, принадлежащих его перу документах свое истинное отношение к коллегам по партии. И с неменьшим цинизмом издатели его сочинений публикуют эти саморазоблачения. Почувствовать их позорящий смысл как автору, так и составителям его сочинений мешает *их общий аморализм*. Приведу пример, касающийся непосредственно "дружбы" между Лениным и П. А. Красиковым. В Полн. собр. соч. Ленина (т. 46, стр. 304-305) напечатано следующее его письмо:

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ и В. А. НОСКОВУ

Клэру и Борису от Старика

"...Я бы очень и очень советовал вам кооптировать Конягу и Игната. Первого вы скоро увидите и узнаете. О втором же скажу: при войне он, ей богу, полезен и необходим; *слушаться он будет вполне* (курсив мой — Д.Ш.); от неподходящих функций его можно отстранить ...бояться, что он накооптирует черт знает кого, нечего, ибо... мы его побережем ...я от Игната взял торжественное обещание *слушаться вполне начальства...*"

Написано 5 октября 1903 г.

Послано из Женевы в Киев

В письме речь идет о кооптации недостающих членов в ЦК РСДРП.

Кто же этот "Игнат"? Это — «П. А. Красиков(1870-1939) —

профессиональный революционер, большевик. После Октябрьской социалистической революции занимал ряд ответственных постов в Верховном суде СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов» (там же, стр. 602).

Сомнений не остается.

“Слушаться он будет вполне” — вот основа политических “дружб” Ленина.

П. А. Красиков, действительно, “слушался вполне”, долго подавляя свои не раз возникавшие, по свидетельству Л. Шатуновской, сомнения. Она же рассказывает о том, что в 1938 году П. А. Красикову его долготерпение, наконец, изменило. Он, лояльно проработавший много лет на высоком прокурорском посту, высказал Сталину свое несогласие с его действиями и вскоре был отравлен по приказу диктатора. Правда, относительно последнего факта у Л. Шатуновской имеются лишь косвенные доказательства. Чудом успел умереть своей смертью и Я. Шатуновский, иногда нарушавший закон послушания.

Среди описаний сталинских тайных убийств, относительно которых Л. Шатуновская располагает косвенными, но убедительными свидетельствами, потрясает история гибели второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. До сих пор нет однозначного мнения о том, покончила ли она жизнь самоубийством или была убита собственноручно Сталиным. Орлов придерживается версии самоубийства — так же, как и Светлана Сталина-Аллилуева. Но Л. Шатуновская слышала непосредственно от Зинаиды Орджоникидзе, обряжавшей покойную, что пулевая рана была у Н. Аллилуевой *в затылке*. У нас нет никаких оснований предполагать, что З. Орджоникидзе, рассказавшая об этом лишь в очень узком дружеском кругу (и просидевшая потом много лет в заключении), выдумала эту зловещую деталь. В книге есть и другие косвенные подтверждения этого факта. Сталин был инициатором убийств миллионов людей, в чем ему никто из его окружения не попытался всерьез помешать. И все-таки убийство жены, совершенное собственными руками, добавляет некий характерный штрих не только к облику Сталина, но и к облику его ближайшего окружения.

Уже в 1932-м году в этом окружении не было человека, спо-

собного спросить с убийцы. "Кремлежители", несомненно знавшие подоплеку гибели Аллилуевой, молчаливо согласились оставаться под властью уголовного. Не нашлось среди них и такого, кто решился бы убить его, понимая, что в открытой борьбе с ним не справиться, а жить под его диктатом невыносимо. Второго Сталина (третьего Ленина) партия вряд ли бы выдвинула в начале 1930-х гг. Скорее всего с уничтожением Сталина она раскололась бы на еще полуживые тогда фракции и режим тоталитарной диктатуры рухнул бы. Но именно этого "кремлежители" и боялись больше всего на свете! Как же им было не цепляться за Сталина?

И все-таки даже небольшие эпизоды — возмущение против Сталина законопослушного Красикова или своевольного Шатуновского — показывают, что, с точки зрения Сталина, "старые большевики" не были стопроцентно надежным материалом. Реликтовые пережитки идейности, слабые, но опасные следы принципиальности, рецидивы первоначальных революционных побуждений могли в определенные критические моменты поставить некоторых из них на его пути. Кого именно, он гадать не стал. Среда, внушающая ему какие-то опасения, должна была быть уничтоженной целиком.

Сталинский "большой террор" при рассмотрении его отдельных и групповых сюжетов представляется кровавой бессмыслицей. Это впечатление усиливается еще и тем, что, проводимый с таким размахом, террор приобрел (и не мог не приобрести) характер цепной реакции. В нем проявился некий сокрушительно нарастающий автоматизм. Но окиньте взглядом террор, как целое, и вы увидите, что только так и можно было создать общество, безоговорочно подчиненное бесплодной утопии, приученное не спрашивать с власти о том, что и почему она ему навязывает.

Так было создано общество, способное десятилетиями терпеть самое нецелесообразное, с точки зрения своих действительных интересов, политико-экономическое устройство. Книга Л. Шатуновской еще раз свидетельствует о том, что настолько стабильная бессмысленность общего бытия не может быть достигнута ценой дешевле "большого террора", сквозного сыска и тотально насаждаемого доносительства. После того, как

противоестественная механизация общества достигнута, тотальный террор сменяется террором выборочным — подавлением или уничтожением оживающих "винтиков" и "узлов" машины.

Но вернемся ненадолго к загадочным "большим процессам" второй половины 1930-х гг. Л. Шатуновская воссоздает предысторию и общую обстановку, в которой они протекали. А. Орлов рассказывает об их закулисной механике с такой степенью достоверности, с которой никто об этом, насколько я знаю, не свидетельствовал. Он получил эти данные непосредственно от своих коллег и друзей — от следователей, которые "обрабатывали" обвиняемых. То, что он пишет, совпадает с картиной, нарисованной А. Кестлером в его знаменитом романе "Мрак в полдень" ("Слепящая тьма"). Как свидетельствует Орлов, существовало несколько главных приемов давления на подсудимых. В конечном счете, эти приемы срабатывали так безотказно, что при подготовке этих "больших процессов", как правило, не было и нужды в физических пытках, широко применявшихся в других случаях.

Во-первых, подсудимым угрожали, что в случае сопротивления следствию уничтожат их семьи (что, впрочем, и было потом, в подавляющем большинстве случаев, сделано, несмотря на полную покорность подсудимых навязанным им "сюжетам"). Во-вторых, им обещали сохранить жизнь в обмен на беспрецедентный самооговор. В-третьих, им упорно втолковывали, что, в силу каких-то конспиративных политических соображений, партии необходимо, чтобы они признали себя виновными во всех приписанных им невероятнейших преступлениях.

Это — "партия требует" — и послужило самым безотказным средством давления не только на обвиняемых, но и на следователей, которые, по словам Орлова, согласились быть "рычагами" Сталина против собственной воли и были уничтожены им в последующих эшелонах репрессий, охвативших и органы госбезопасности. Как это ни дико, и обвиняемые и следователи поверили в это противоестественное "так надо!" И ни одна из сторон не ощутила того, что, представляя вчерашних вождей и полужодей уголовными ублюдками, шпионами и диверсантами, они сообща отнимают у партии и революции всякий нравствен-

ный авторитет, какое бы то ни было моральное право кого-то куда-то вести и направлять. Измученная страна равнодушно внимала этой кровавой бессмыслице, а кое-кто, несомненно, радовался тому, что партия начала пожирать себя самое. Впрочем, она тут же пополнялась многочисленными карьеристами, ползущими вверх по телам казнимых.

Казалось бы, именно многолетняя преданность партии должна была противопоставить заключенных-коммунистов преступным задачам такого следствия! Но нет: не только в СССР, но и везде, где проходили сходные следственно-судебные спектакли, именно от ведущих коммунистов с их извращенным пониманием партийной лояльности, как покорности всем верховным решениям, следствие, как правило, и добывалось чудовищных самооговоров и покорного участия в мистификациях "открытых" процессов. Исключения были чрезвычайно редки. Израильский публицист И. Лахав в 1982 году взял интервью у чешского историка Карела Каплана. В 1968 году, во время "Пражской весны", К. Каплан возглавил комиссию, расследовавшую обстоятельства, связанные с политическими процессами в ЧССР начала 1950-х гг. Он получил тогда доступ к секретным архивным материалам, часть которых ему удалось вывезти впоследствии на Запад. К. Каплан рассказывает: "Сам министр безопасности Кароль Бацилек явился в камеру Сланского и выговаривал ему: "Руководящие товарищи недовольны вашими показаниями, не дающими возможность закончить следствие".

Именно это и является одним из самых ужасных, самых отвратительных, самых разрушительных для человеческой личности порождений нашего века: подобного рода "выговоры", "доведение до сведения заключенного", что "руководящие товарищи" недовольны его поведением, приводили к тому, что заключенный был психологически сломлен. Те самые люди, которых обвиняли в том, что они являются врагами народа, врагами партии, агентами империализма и были ими с первых шагов своей деятельности, *стремились даже в тюрьме "служить делу коммунизма"*! Так, например, советский советник сказал чешскому следователю с откровенной циничностью: "*С ним (речь шла об одном из заключенных) у вас не было никаких трудностей, ведь он преданный коммунист*".

Арестовав в декабре 1947 года Л. Шатуновскую и ее второго мужа, Льва Тумермана, органы госбезопасности тоже пытались выставить их в главных ролях сенсационного спектакля — "открытого процесса", который дал бы Сталину повод к тотальному истреблению советских евреев. Л. Шатуновская пишет: "Наше дело было задумано сначала как важная политическая антиеврейская акция. В ней были замешаны близкие родственники Сталина. Поэтому велось это дело под его непосредственным контролем и руководством. По ночам Комаров¹ иногда звонил Сталину по правительственному телефону. В одну из таких ночей я услышала его слова: "Иосиф Виссарионович, она не сознается. Какие будут указания?" Выслушав ответ, он сказал: "Есть. Применять по первой категории без повреждения мяса".

В результате я вышла из тюрьмы с поврежденным позвоночником и суставами рук и ног, с больным сердцем, с шумом в ушах и сильно испорченным зрением. На коже у меня долго оставались черные пятна от резиновых дубинок. Но мяса у меня не вырывали. Такие следы остались на всю жизнь у моего мужа."

Итак, "органы" пытались заставить подследственных сыграть роли "своих людей" (подобные ролям Радека и Рейнгольда по книге Орлова) на предстоящем "открытом" процессе сионистских агентов. Без громких слов и красноречивых самооценок, строго и сдержанно, со множеством глубоких наблюдений над собой и следствием, выходящих далеко за рамки двух личных судеб, Л. Шатуновская рассказывает о противостоянии двух нравственно стойких людей злодеям, давно утратившим нормальные нравственные мерилы. Следствию так и не удалось ни пытками, ни соблазнительными посулами заставить обоих пленников заговорить на языке их мучителей, вступить в торг за жизнь в системе их ценностей.

В этом, казалось бы, частном факте брежневская закономерность: из "космополитических", "вейсманистско-морганистских", "сионистских", различнейших национально-сепаратистских и других дел второй половины 1940-х — начала 1950-х годов ни одного сенсационного "открытого процесса" сделать не

1. Следователь

удалось; хотя, судя по некоторым деталям следствия по делу супругов Тумерман и другим сведениям, Сталин настойчиво требовал организации таких процессов от "органов", уже набивших на этом руку в 1930-х годах.

Причина этого не в преимущественном национальном составе обвиняемых. Евреи — участники "открытых" процессов 1937-38 гг. — "признавались" в несовершенных ими преступлениях не хуже всех остальных. С другой стороны, есть свидетельства, что генерал А. Власов и его окружение отказались признать в своих действиях измену родине, а не борьбу против Сталина и коммунизма и предпочли мучительную смерть покаянию на открытом процессе (см. воспоминания ген. П.Г. Григоренко). Пыточное следствие над группой врачей — "убийц в белых халатах" смешанного национального состава в 1951-53 гг. — тоже продвигалось с большим скрипом.

Представляется весьма вероятным, что люди, не охваченные слепым благоговением перед верховно-партийным "так надо" — в том числе представители интеллигенции, вопреки расхожему предрассудку о ее слабости, — обладали даже в обстоятельствах пыточных следствий гораздо большей устойчивостью, чем коммунисты ленинской закваски, — независимо от национальной принадлежности.

Говоря так, я нисколько не умаляю исключительности *личного* подвига супругов Тумерман: в условиях настоящего ада они не дали никаких компрометирующих показаний против других людей, чего от них в первую очередь добивались. Описание того, что было пережито ими во время следствия, являет собой воссоздание орвелловского кошмара, объединяющего в своем противоестественном мире истязателей и истязаемых. Время от времени следователь Комаров вел с измученными людьми длинные, непостижимо откровенные разговоры. Он сладострастно и судоржно обнажал перед ними скрытые механизмы их заведомо "дутого" "дела" и технологию получения "признаний" от обвиняемых на предыдущих "открытых" процессах.

Дежурной темой цинических монологов Комарова являлось "окончательное решение еврейского вопроса", которое готовил, по его словам, Сталин. Он то выворачивался перед подследственными наизнанку, то часами пытал их собственными рука-

ми. Все это происходило в Москве, в каких-нибудь нескольких метрах от улиц, по которым шла слепая толпа, не ведающая, что вся она, по словам Комарова, состоит из потенциальных подследственных. В том, что люди, имевшие огромное мужество не лгать даже под изощренными пытками, вынуждены были выслушивать параноидальные исповеди своего мучителя и входить с ним в диалог, заключено было что-то нечеловеческое. Нечто подобное имеет место в романе Ю. Алешковского "Рука", фантазмагорически воссоздающем ту же дьявольскую действительность.

В то время, когда велось дело супругов Тумерман, в СССР была ненадолго отменена смертная казнь. Обвиняемые получили по двадцать лет одиночного заключения в соответствии с бессмысленным приговором, тоже являющимся деталью бесовского кошмара. Без суда им было предъявлено анонимное постановление "тройки" (Особого совещания). Л. Тумерману вменялись в вину измена родине, групповая антисоветская агитация и пропаганда. Но не непосредственно по статье 58 УК РСФСР, а по статье 19, гласящей что хотя осужденные и не совершили преступления, но намеревались его совершить. В приговоре, определившем судьбу обвиняемых, так было и сказано, что профессор Тумерман *"имел намерение уехать в государство Израиль, хотя никаких попыток к побегу не предпринимал и никаких знакомств и связей с иностранцами не имел"* (курсив Л. Шатуновской).

Его жена обвинялась по тем же статьям: "антигосударственная деятельность, солидарность с идеями и намерениями мужа, антисоветская сионистская агитация и пропаганда".

Все это основывалось на одном-единственном признании обвиняемых — на их заявлении, что они были намерены ходатайствовать о выезде в еврейское государство, как только оно будет образовано.

Не сломившись морально на пыточном следствии, не совершив поступков (слова на следствии тождественны действиям), которые могли бы истязать впоследствии их совесть и разрушать их личность, герои книги семь лет своего заключения во Владимирской тюрьме сумели превратить в годы плодотворных размышлений и переоценки своих доарестных воззрений и пред-

рассудков.

В заключение своей исповеди Л. Шатуновская пишет: "Мы пришли от примитивной советской лояльности через омерзение и презрение к чекистам и тем, кто стоит за ними, к полному отказу от всех идей коммунизма по крестному пути мучений в советских застенках. Этот путь прошли, — с некоторыми индивидуальными различиями, конечно, — и миллионы наших соотечественников. Но боюсь, что по этому же крестному пути придется пройти тем "левым", "прогрессивным" и "либеральным" деятелям на Западе, кто продолжает еще заигрывать с коммунистами и верит — или делает вид, что верит — в возможность "коммунизма с человеческим лицом".

Да минет их чаша сия!"

Весьма огорчительно, что книга закончена в апогее — на приговоре. Несомненный интерес для читателя представило бы и повествование о семи годах одиночного заключения с его раздумьями, и процедура "реабилитации", о которой я слышала от Л. Шатуновской. Не теряю надежды, что автор продолжит свою скорбную и просветленную повесть — историю своего противостояния бредовому тоталитарному ужасу и нравственной победы над ним.

Дора Штурман

ТРОЦКИЙ

СТАЛИН

НОВЫЙ ПОДЪЕМ

Около пяти лет (1906-1911) Столыпин господствовал над страной. Он исчерпал ресурсы реакции до дна. "Режим 3-го июня" успел раскрыть свою несостоятельность во всех областях, и прежде всего в области аграрного вопроса. От комбинаций политического характера Столыпину пришлось вернуться к полицейской дубине. И как бы для того, чтобы ярче обнаружить банкротство системы, для Столыпина нашелся убийца в рядах его собственной секретной полиции.

В 1910 г. промышленное оживление стало неоспоримым. Перед революционными партиями встал вопрос: как перелом конъюнктуры отразился на политическом состоянии страны? Большинство социал-демократов оставалось на схематической позиции: кризис революционизирует массы, промышленный подъем успокаивает их. Пресса обоих течений, и большевиков и меньшевиков, имела поэтому тенденцию преуменьшать или вовсе отрицать начавшееся оживление. Исключение составляла венская газета "Правда", которая, при всех своих примиренческих иллюзиях, отстаивала ту совершенно правильную мысль, что политические последствия оживления, как и кризиса, отнюдь не имеют автоматического характера, а каждый раз заново определяются в зависимости от предшествующего хода борьбы и от всей обстановки в стране. Так, после промышленного подъема, в течение которого успела развернуться стачечная борьба большого размаха, резкий упадок конъюнктуры может, при наличии прочих необходимых условий, вызвать прямой революционный подъем. Наоборот, после длительного периода революционной борьбы, закончившейся поражением, промышленный кризис, разъединяя и ослабляя пролетариат,

может окончательно убить его боевой дух. С другой стороны, промышленный подъем, наступивший после долгого периода реакции, способен возродить рабочее движение, преимущественно в виде экономической борьбы, после чего новый кризис может перевести энергию масс на политические рельсы.

Русско-японская война и потрясения революции помешали русскому капитализму занять место в мировом промышленном подъеме 1903-1907 годов. Тем временем непрерывные революционные бои, поражения и депрессии исчерпали силу масс. Разразившийся в 1907 г. мировой промышленный кризис продлил затяжную депрессию в России на три новых года, не только не толкнув рабочих на борьбу, но, наоборот, еще более распылив и ослабив их. Под ударами локаутов, безработицы и нужды истощенные массы окончательно пали духом. Такова была материальная основа "успехов" столыпинской реакции. Пролетариат нуждался в живительной купели нового промышленного подъема, чтобы обновить свои силы, пополнить свои ряды, снова почувствовать себя незаменимым фактором производства и ввязаться в новую борьбу.

В конце 1910 г. происходят давно уже невиданные уличные демонстрации по поводу смерти либерала Муромцева, бывшего председателя Первой Думы, и Льва Толстого. Открывается новая полоса студенческого движения. На поверхностный взгляд — такова обычная аберрация исторического идеализма — могло показаться, что очагом политического оживления является тонкий слой интеллигенции, которая силою своего примера начинает увлекать за собою верхушку рабочих. На самом деле волна оживления шла не сверху вниз, а снизу вверх. Благодаря промышленному подъему рабочий класс выходил постепенно из оцепенения. Прежде, однако, чем молекулярные процессы в массах успели найти открытое выражение, они через промежуточные прослойки влили первую волну бодрости в среду студенчества. Благодаря тому, что университетская молодежь гораздо легче на подъем, оживление проявилось прежде всего в виде студенческих волнений. Однако, подготовленному наблюдателю было заранее ясно, что манифестации интеллигенции представляют лишь симптом гораздо более глубоких и значительных процессов в пролетариате.

Действительно, кривая стачечного движения скоро начинает подниматься вверх. Правда, число стачечников доходит в 1911 г. всего до 100 тысяч (в прошлом году оно не достигало и половины): медленность

подъема показывает силу оцепенения, которую надо было преодолеть. К концу года рабочие кварталы выглядели во всяком случае уже значительно иначе, чем в начале его. После хороших урожаев 1909 и 1910 гг., давших толчок промышленному подъему, наступил в 1911 г. сильный неурожай, который, не останавливая подъема, обрек голоду 20 миллионов крестьян. Начавшееся брожение в деревне снова поставило аграрный вопрос в порядок дня. Большевистская конференция в январе 1912 г. с полным правом констатирует "начало политического оживления". Резкий перелом происходит, однако, лишь весной 1912 г. после знаменитого расстрела рабочих на Лене. В глубокой тайге, за 7.000 верст от Петербурга, за 2.000 верст от железной дороги парии золотопромышленности, доставлявшие ежегодно миллионы рублей прибыли английским и русским акционерам, потребовали восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты и отмены штрафов. Вызванные из Иркутска солдаты стреляли по безоружной толпе. 150 убитых, 250 раненых; лишенные медицинской помощи раненые умирали десятками.

При обсуждении Ленских событий в Думе министр внутренних дел Макаров, тупой чиновник, не худший и не лучший среди других, заявил под аплодисменты правых депутатов: "Так было, так будет!" Эти неожиданные в своем бесстыдстве слова вызвали электрический разряд. Сперва с заводов Петербурга, затем со всех концов страны стали стекаться по телефону и телеграфу известия о резолюциях и стачках протеста. Отклик на Ленские события можно сравнить только с той волной негодования, которая за семь лет до того охватила трудящиеся массы после Кровавого Воскресения. "Быть может, никогда еще со времени 1905 г., — писала либеральная газета, — столичные улицы не видели такого оживления".

Сталин находился в те дни в Петербурге, меж двух ссылок. "Ленские выстрелы разбили лед молчания, — писал он в газете "Звезда", с которой мы еще встретимся, — и тронулась река народного движения. Тронулась!... Все, что было злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела многострадальная Россия — все это собралось в одном факте, в событиях на Лене. Вот почему именно Ленские выстрелы послужили сигналом забастовок и демонстраций". Забастовки охватили около 300 тысяч рабочих. Первомайская стачка поставила на ноги 400 тысяч. Всего в 1912 г. бастовало, по официальным данным, 725 тысяч. Общая численность рабочих выросла в годы промышленного подъема не менее, как на 20%, а экономическая роль пролетариата,

благодаря лихорадочной концентрации производства, выросла неизмеримо больше. Оживление в рабочем классе передается во все другие слои народа. Тяжело шевелится голодная деревня. Наблюдаются вспышки недовольства в армии и флоте. "А в России революционный подъем, — писал Ленин Горькому в августе 1912 г., — не иной какой-либо, а именно революционный".

Новое движение являлось не повторением прошлого, а его продолжением. В 1905 г. грандиозная январская стачка сопровождалась наивной петицией царю. В 1912 г. рабочие сразу выдвигают лозунг демократической республики. Идеи, традиции и организационные навыки 1905 г., обогащенные тяжелым опытом годов реакции, оплодотворяют новый революционный этап. Ведущая роль с самого начала принадлежит рабочим. Внутри пролетарского авангарда руководство принадлежит большевикам. Этим, в сущности, предreshался характер будущей революции, хотя сами большевики еще не отдавали себе в этом ясного отчета. Усилив пролетариат и обеспечив за ним огромную роль в экономической и политической жизни страны, промышленный подъем укрепил базу под перспективой перманентной революции. Чистка конюшен старого режима не могла быть произведена иначе, как метлой пролетарской диктатуры. Демократическая революция могла победить, лишь превратившись в социалистическую и тем преодолев себя.

Такою продолжала оставаться позиция "троцкизма". Но у него была ахиллесова пята: примиренчество, связанное с надеждой на революционное возрождение меньшевизма. Новый подъем — "не иной какой-либо, а именно революционный", — нанес примиренчеству непоразимый удар. Большевизм опирался на революционный авангард пролетариата и учил его вести за собою крестьянскую бедноту. Меньшевизм опирался на прослойку рабочей аристократии и тянулся к либеральной буржуазии. С того момента, как массы снова выступили на арену открытой борьбы, о "примирении" между этими двумя фракциями не могло быть и речи. Примиренцы должны были занять новые позиции: революционеры — с большевиками, оппортунисты — с меньшевиками.

На этот раз Коба остается в ссылке свыше 8 месяцев. О его жизни в Сольвычегодске, о ссыльных, с которыми он поддерживал связи, о книгах, которые он читал, о проблемах, которыми интересовался, неизвестно почти ничего. Из двух его писем того периода явствует, однако,

что он получал заграничные издания и имел возможность следить за жизнью партии, вернее сказать, эмиграции, где борьба фракций вступила в острую фазу. Плеханов, с незначительной группой своих сторонников, снова порвал со своими ближайшими друзьями и встал на защиту нелегальной партии от ликвидаторов: это была последняя вспышка радикализма у этого замечательного человека, быстро клонившегося к закату. Так возник неожиданный, парадоксальный и недолговечный блок Ленина с Плехановым. С другой стороны, происходило сближение ликвидаторов (Мартов и др.), впередовцев (Богданов, Луначарский) и примиренцев (Троцкий). Этот второй блок, совершенно лишенный принципиальных основ, сложился до известной степени неожиданно для самих участников. Примиренцы все еще стремились "примирить" большевиков с меньшевиками, а так как большевизм, в лице Ленина, беспощадно отталкивал самую мысль о каком-либо соглашении с ликвидаторами, то примиренцы естественно сдвигались на позицию союза или полусоюза с меньшевиками и впередовцами. Цементом этого эпизодического блока, как писал Ленин Горькому, являлись "ненависть к большевистскому центру за его беспощадную идейную борьбу". Вопрос о двух блоках живо обсуждался в поредевших партийных рядах того времени.

31 декабря 1910 г. Сталин пишет за границу, в Париж: "Тов. Семен! Вчера получил от товарищей ваше письмо. Прежде всего горячий привет Ленину, Каменеву и др." Это вступление не перепечатывается больше из-за имени Каменева. Далее следует оценка положения в партии: "По моему мнению, линия блока (Ленин-Плеханов) единственно нормальная... В плане блока видна рука Ленина, — он мужик умный и знает, где раки зимуют. Но это еще не значит, что всякий блок хорош. Троцкий блок (он был сказал — "синтез") — это тухлая беспринципность... Блок Ленин — Плеханов потому и является жизненным, что он глубоко принципиален, основан на единстве взглядов по вопросу о путях возрождения партии. Но именно потому, что это блок, а не слияние, именно потому большевикам нужна своя фракция". Все это вполне отвечало взглядам Ленина, являясь, по существу, простой перифразой его статей, и составляло как бы принципиальную саморекомендацию. Провозгласив далее, как бы мимоходом, что "главное" — все же не за граница, а практическая работа в России, Сталин сейчас же спешит пояснить, что практическая работа означает "применение принципов". Укрепив свою позицию повторением слова принцип, Коба подходит

ближе к сути дела. "По-моему, — пишет он, — для нас очередной задачей, не терпящей отлагательства, является организация центральной (русской) группы, объединяющей нелегальную, полуполигальную и легальную работу... Такая группа нужна, как воздух, как хлеб". В самом плане нет ничего нового. Попытки воссоздать русское ядро ЦК делались Лениным со времени Лондонского съезда не раз, но распад партии обрекал их до сих пор на неудачу. Коба предлагает созвать совещание работников партии. "Очень может быть, что это совещание и даст подходящих людей для вышеназванной центральной группы". Обнаружив свое стремление передвинуть центр тяжести партии из заграницы в Россию, Коба опять торопится потушить возможные опасения Ленина: "действовать придется неуклонно и беспощадно, не боясь нареканий со стороны ликвидаторов, троцкистов, впередовцев"... С рассчитанной откровенностью он пишет о проектируемой им центральной группе: "назовите ее, как хотите — "русской частью ЦК" или "вспомогательной группой при ЦК" — это безразлично". Мнимое безразличие должно прикрыть личную амбицию Кобы. "Теперь о себе. Мне остается шесть месяцев. По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая, то я могу сняться немедленно". Цель письма ясна: Коба выставляет свою кандидатуру. Он хочет стать, наконец, членом ЦК.

Амбиция Кобы, сама по себе немало, разумеется, не предосудительная, освещается неожиданным светом в другом его письме, адресованном московским большевикам. "Пишет вам кавказец Сосо, — так начинается письмо, — помните в 4-м (1904) г., в Тифлисе и Баку. Прежде всего, мой горячий привет Ольге, вам, Германову. Обо всех вас рассказал мне И. М. Голубев, с которым я и коротаю мои дни в ссылке. Германов знает меня как к...б...а (он поймет)". Любопытно, что и теперь, в 1911 г., Коба вынужден напоминать о себе старым членам партии при помощи случайных и косвенных признаков: его все еще не знают или легко могут забыть. "Кончаю (ссылку) в июле этого года, — продолжает он, — Ильич и К⁰ зазывают в один из двух центров, не дожидаясь окончания срока. Мне же хотелось бы отбыть срок (легальному больше размаха)... Но если нужда острая (жду от них ответа), то, конечно, снимусь... А у нас здесь душно без дела, буквально задыхаюсь".

С точки зрения элементарной осторожности, эта часть письма кажется поразительной. Ссылный, письма которого всегда рискуют по-

пасть в руки полиции, без всякой видимой практической нужды сообщает по почте малознакомым членам партии о своей конспиративной переписке с Лениным, о том, что его убеждают бежать из ссылки, и что в случае нужды он, "конечно, снимется". Как увидим, письмо действительно попало в руки жандармов, которые без труда раскрыли и отправителя и всех упомянутых им лиц. Одно объяснение неосторожности напрашивается само собой: нетерпеливое тщеславие! "Кавказец Сосо", которого, может быть, недостаточно отметили в 1904 г., не удерживается от искушения сообщить московским большевикам, что он включен ныне самим Лениным в число центральных работников партии. Однако, мотив тщеславия играет только привходящую роль. Ключ к загадочному письму заключается в его последней части. "О заграничной "буре в стакане", конечно, слышали: блоки Ленина — Плеханова, с одной стороны, и Троцкого — Мартова — Богданова, с другой. Отношение рабочих к первому блоку, насколько я знаю, благоприятное. Но вообще на границу рабочие начинают смотреть пренебрежительно: "пусть, мол, лезут на стену, сколько их душе угодно; а по-нашему, кому дороги интересы движения, тот работай, остальное же приложится". Это, по-моему, к лучшему". Поразительные строки! Борьбу Ленина против ликвидаторства и примиренчества Сталин считал "бурей в стакане". "На границу (включая и генеральный штаб большевизма) рабочие начинают смотреть пренебрежительно" — и Сталин вместе с ними. "Кому дороги интересы движения, тот работай, остальное же приложится". Интересы движения оказываются независимы от теоретической борьбы, которая вырабатывает программу движения.

Между двумя документами, как ни трудно этому поверить, всего 24 дня расстояния! В письме, предназначенном для Ленина, заграничным межеваниям и группировкам придется решающее значение для практической работы в России. Сама эта работа скромно характеризуется как "применение" выработанных в эмиграции "принципов". В письме, адресованном русским практикам, заграничная борьба в целом составляет лишь предмет глумления. Если в первом письме Ленин именуется "умным мужиком", который знает, "где раки зимуют" (русская поговорка выражает, кстати, совсем не то, что Сталин хочет сказать), то во втором письме Ленин выглядит попросту лезущим на стену маниаком-эмигрантом. "Логика вещей строго принципиальна по своей природе". Но борьба за эту логику оказывается "бурей в стакане". Если

рабочие в России "на границу", включая и борьбу Ленина за "принцип", "начинают смотреть пренебрежительно", то "это, по-моему, к лучшему". Сталин явно льстит настроениям теоретического безразличия и чувству мнимого превосходства близоруких практиков.

Полтора года спустя, когда под влиянием начинавшегося прироста борьба в эмиграции стала еще острее, сентиментальный полубольшевик Горький плакался в письме к Ленину на заграничную "склоку" — бурю в стакане воды. "О склоке у социал-демократов, — сурово отвечал ему Ленин, — любят кричать буржуа, либералы, эсеры, которые к большим вопросам относятся несерьезно, плетутся за другими, дипломатничают, пробавляются эклектизмом"... "Дело тех, кто понял идейные корни "склоки", — настаивает он в ближайшем письме. — помогать массе разыскивать корни, а не оправдывать массу за то, что она рассматривает споры, как 'личное генеральское дело' ". "В России сейчас, — не унимается, со своей стороны, Горький, — среди рабочих есть много хорошей... молодежи, но она так яростно настроена против границы". Ленин отвечает: "это фактически верно, но это не результат вины "лидеров"... Надо разорванное связывать, а лидеров ругать дешево, популярно, но малополезно". Кажется, будто в своих сдержанных возражениях Горькому Ленин негодующе полемизирует со Сталиным.

Внимательное сопоставление двух писем, которые, по мысли автора, никогда не должны были встретиться, чрезвычайно ценно для понимания характера Сталина и его приемов. Его подлинное отношение к "принципам" гораздо правдивее выражено во втором письме: "работай, остальное же приложится". Таковы были, по сути дела, взгляды многих не мудрствующих лукаво примиренцев. Грубо-пренебрежительные выражения по отношению к "загранице" Сталин выбирает не только потому, что грубость ему свойственна вообще, но главным образом потому, что рассчитывает на сочувствие "практиков", особенно Германова. Об их настроениях он хорошо знает от Голубева, недавно высланного из Москвы. Работа в России шла плохо, подпольная организация достигла низшей точки упадка, и практики весьма склонны были срывать сердце на эмигрантах, которые поднимают шум из-за пустяков.

Чтоб понять практическую цель, скрывавшуюся за двойственностью Сталина, надо вспомнить, что Германов, который несколько месяцев тому назад выдвигал кандидатуру Кобы в ЦК, был тесно свя-

зан с другими примиренцами, влиятельными на верхах партии. Коба считает целесообразным показать этой группе свою солидарность с ней. Но он отдает себе слишком ясный отчет в могуществе ленинского влияния и начинает поэтому с заявления своей верности "принципам". В письме в Париж — подлаживание под непримиримость Ленина, которого Сталин боялся; в письме к москвичам — натравливание на Ленина, который зря "лезет на стену". Первое письмо является грубоватым пересказом статей Ленина против примиренцев. Второе — повторяет аргументы примиренцев против Ленина. И все это на протяжении 24 дней!

Правда, письмо "товарищу Семену" заключает в себе осторожную фразу: за граница — "не все и не главное даже. Главное — организация работы в России". С другой стороны, в письме к москвичам имеется как бы случайно оброненное замечание: отношение рабочих к блоку Ленина — Плеханова, "насколько я знаю, благоприятное". Но то, что в одном письме является второстепенной поправкой, служит исходным пунктом для развития прямо противоположного хода мыслей в другом письме. Незаметные оговорки, почти *reservations mentales*, как бы имеют задачей смягчить противоречие между обоими письмами. На самом деле они лишь выдают нечистую совесть автора.

Техника интриги, как она не примитивна, достаточна для намеченной цели. Коба преднамеренно ни пишет непосредственно Ленину, предпочитая адресоваться к "Семену": это позволяет ему говорить о Ленине в тоне фамильярного восхищения и в то же время не обязывает его к углублению в суть вопроса. Действительные побуждения Кобы не остались, надо думать, для Ленина секретом. Но он подходил к делу, как политик. Профессиональный революционер, который успел в прошлом показать силу воли и решительность, хочет теперь подняться в аппарате партии. Ленин отметил себе это. С другой стороны, и Германов запомнил, что в лице Кобы примиренцы будут иметь союзника. Цель была таким образом достигнута, по крайней мере, на данном этапе. А там видно будет! У Кобы много данных, чтоб стать выдающимся членом ЦК. Его амбиция вполне законна. Но поразительны пути, какими молодой революционер идет к цели: пути двойственности, фальши и идейного цинизма!

В условиях подпольной работы компрометирующие письма уничтожаются, личные связи с заграницей редки: Коба не опасается, что два его письма могут быть сопоставлены. Если эти неоценимые человеческие документы оказались спасены для будущего, то заслуга принадле-

жит полностью перлюстраторам царской почты. 23 декабря 1925 г., когда тоталитарный режим был еще очень далек от нынешнего автоматизма, тифлисская газета "Заря Востока" опубликовала по неосторожности извлеченную из полицейских архивов копию письма Кобы москвичам. Нетрудно себе представить, какую головомойку получила злополучная редакция! Письмо впоследствии никогда не перепечатывалось и ни один из официальных биографов никогда не ссылался на него.

Несмотря на острую нужду в работниках, Коба не "снялся немедленно", т. е. не бежал, а отбыл на этот раз свой срок до конца. Газеты приносили сведения о студенческих сходках и уличных демонстрациях. На Невском проспекте собралось не менее 10.000 человек. К студентам начали присоединяться рабочие. "Не начало ли поворота?" — спрашивал Ленин в статье за несколько недель до получения письма Кобы из ссылки. В первые месяцы 1911 г. оживление принимает уже несомненный характер. Коба, который совершил до этого три побега, сейчас спокойно ожидает конца своей ссылки. Период нового весеннего пробуждения оставляет его как бы безразличным. Можно подумать, что он пугается нового приboя, вспоминая опыт 1905 г.

Все биографы, без исключения, говорят о новом побеге Кобы. На самом деле в побеге не было надобности: срок ссылки кончался в июле 1911 г.. Московское охранное отделение, упоминая мимоходом об Иосифе Джугашвили, характеризует его на этот раз как "отбывшего срок административной ссылки в городе Сольвычегодске". Тем временем состоявшееся за границей совещание большевистских членов ЦК назначило для подготовки партийной конференции особую Комиссию, в состав которой, видимо, намечен был, наряду с четырьмя другими, и Коба. После ссылки он направляется в Баку и Тифлис, чтоб встряхнуть местных большевиков и привлечь их к участию в конференции. Оформленных организаций на Кавказе не было, приходилось строить почти на чистом месте. Тифлиссские большевики олобрили написанное Кобой воззвание о необходимости революционной партии. "К сожалению, передовым рабочим в нашем кровном деле укрепления нашей родной социал-демократической партии, помимо политических рогаток, провокаторов и прочей сволочи, приходится наталкиваться на новое препятствие в наших же рядах, а именно на людей с буржуазной психологией". Речь идет о ликвидаторах. Воззвание заканчивается

одним из обычных для нашего автора образов: "Мрачные кровавые тучи черной реакции, нависшие над страной, начинают рассеиваться, начинают сменяться грозowymi облаками народного гнева и возмущения. Черный фон нашей жизни прорезывают молнии, и вдали уже вспыхивают зарницы, приближается буря". Воззвание имело целью возвестить о возникновении тифлисской группы и тем обеспечить немногочисленным местным большевикам участие в предстоящей конференции.

Вологодскую губернию Коба покинул легально. Прибыл ли он легально с Кавказа в Петербург, остается под вопросом: бывшим ссыльным обычно запрещалось в течение известного срока проживание в центрах страны. Но, с разрешения или без разрешения, провинциал вступает, наконец, на территорию столицы. Партия еще только выходит из оцепенения. Лучшие силы в тюрьмах, ссылке или эмиграции. Именно поэтому Коба и понадобился в Петербурге. Его первое появление на столичной арене имеет, однако, эпизодический характер. Между окончанием ссылки и новым арестом проходит всего два месяца, из которых три-четыре недели должна была отнять поездка на Кавказ. Мы ничего не знаем о том, как Коба осваивался с незнакомой обстановкой и как приступал к работе в новой среде.

Единственным памятником этого периода является посланная Кобой за границу коротенькая корреспонденция, описывающая тайное собрание 46 социал-демократов Выборгского района. Главная мысль доклада, сделанного видным ликвидатором, заключалась в том, что "никаких организаций в партийном смысле не нужно", так как для работы на открытой арене достаточно "инициативных групп", которые занимались бы устройством публичных докладов и легальных собраний по вопросам государственного страхования, муниципальной политики и пр. Ликвидаторский план приспособления к лжеконституционной монархии встретил, по словам корреспонденции, дружный отпор со стороны рабочих, в том числе и меньшевиков. Под конец собрания все, кроме докладчика, голосовали за нелегальную революционную партию. Ленин и Зиновьев снабдили письмо из Петербурга примечанием от редакции: "Корреспонденция тов. К. заслуживает величайшего внимания всех, кто дорожит партией... Лучшее опровержение взглядов и надежд наших примирителей и соглашателей трудно себе представить. Исключителен ли случай, описанный тов. К.? Нет, это типичный случай". Однако, лишь очень редко "партия получает такие точные

сообщения, за которые мы должны быть благодарны тов. К.". По поводу этого газетного эпизода Советская Энциклопедия пишет: "Письма и статьи Сталина говорят о непоколебимом единстве борьбы и линии, какое существовало между Лениным и его гениальным соратником". Чтоб получить эту оценку, пришлось выпустить, одно за другим, несколько изданий Энциклопедии, истребив по пути немалое число ее редакторов.

Аллилуев рассказывает, как, приближаясь в один из первых дней сентября к дому, он заметил у ворот шпиков, а у себя на квартире застал Сталина и еще одного грузина-большевика. Сообщение Аллилуева о "хвостах" Сталин встретил не очень учтивой репликой: "Чорт знает что такое, товарищи превращаются в пугливых мешан и обывателей!" Шпики оказались, однако, реальностью: 9 сентября Коба был арестован и уже 22 декабря прибыл на место высылки, на этот раз в губернский город Вологду, т. е. в более благоприятные условия, чем раньше. Возможно, что высылка явилась простой карой за незаконное пребывание в Петербурге.

Заграничный центр большевиков продолжал направлять в Россию эмиссаров для подготовки конференции. Связь между местными социал-демократическими группами устанавливалась медленно и часто обрывалась. Провокация свирепствовала, аресты имели опустошительный характер. Однако, то сочувствие, которое встретила идея конференции среди передовых рабочих, сразу показало, по словам Ольминского, что "рабочие только терпели ликвидаторство, но внутренне были далеки от него". Эмиссарам удалось, несмотря на крайне тяжелые условия, связаться с целым рядом местных нелегальных групп. "Точно пронеслась струя свежего воздуха", пишет тот же Ольминский.

На конференции, собравшейся 5 января 1912 г. в Праге, присутствовало 15 делегатов от двух десятков подпольных организаций, в большинстве своем очень слабых. Из докладов делегатов с мест вырисовывалась достаточно ясная картина состояния партии: немногочисленные местные организации состояли почти только из большевиков, с большим процентом провокаторов, которые выдавали организацию, как только она начинала поднимать голову. Особенно печально представлялось положение на Кавказе. "Никакой организации в Чиатурах нет, докладывал Орджоникидзе об единственном промышленном пункте в Грузии. — В Батуме также никакой организации нет". В Тифлисе "та же картина. За последние несколько лет ни

одного листка, никакой нелегальной работы"... Несмотря на столь явную слабость местных групп, конференция отражала новое дуновение оптимизма. Массы сдвинулись, партия чувствовала попутный ветер в своих парусах.

Вынесенные в Праге решения надолго определили маршрут партии. В первую голову конференция признала необходимым "создание нелегальных социал-демократических ячеек, окруженных возможно более разветвленной сетью всякого рода легальных рабочих обществ". Неурожай, вызвавший голод 20 миллионов крестьян, лишней раз подтвердил, по словам конференции, "невозможность обеспечить сколько-нибудь нормальное буржуазное развитие России при направлении ее политики... классом крепостников-помещиков". "Задача завоевания власти пролетариатом, ведущим за собой крестьянство, остается по-прежнему задачей демократического переворота в России". Конференция объявила фракцию ликвидаторов стоящей вне партии и призвала всех социал-демократов "без различия течений и оттенков" вести борьбу с ликвидаторством во имя восстановления нелегальной партии. Доведя, таким образом, до конца разрыв с меньшевиками, Пражская конференция открыла эру самостоятельного существования большевистской партии со своим собственным Центральным Комитетом.

Новейшая "История" партии, изданная под редакцией Сталина в 1938 г., гласит: "В состав этого ЦК вошли Ленин, Сталин, Орджоникидзе, Свердлов, Голошкекин и другие. Сталин и Свердлов были избраны в ЦК заочно, так как они находились в ссылке". Между тем в официальном сборнике документов партии (1926 г.) читаем: "Конференция выбрала новый Центральный Комитет, в который вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе, Спандарьян, Виктор (Ордынский), Малиновский и Голошкекин". "История" не включает в ЦК, с одной стороны, Зиновьева, с другой — провокатора Малиновского; зато включает Сталина, которого нет в старом списке. Разъяснение этой загадки способно бросить свет и на тогдашнее положение Сталина в партии и на методы нынешней московской историографии. На самом деле Сталин не был выбран на конференции, а был включен в ЦК вскоре после конференции путем так называемой кооптации. Об этом совершенно точно говорит цитированный выше официальный источник: "затем были кооптированы в ЦК тов. Коба (Джугашвили — Сталин) и Владимир (Белостоцкий, бывший рабочий Путиловского завода)". Также и по материалам Московского охранного отделения Джугашви-

ли был включен в ЦК после конференции "на основании предоставленного цекистам права кооптирования". Тождественную информацию дают все без исключения советские справочники, кончая 1929 годом, когда была опубликована инструкция Сталина, совершившая переворот в исторической науке. В юбилейном издании 1937 г., посвященном конференции, мы уже читаем: "Сталин не мог принять участия в работах Пражской конференции, так как в это время находился в ссылке в Сольвычегодске. Ленин и партия уже и тогда хорошо знали Сталина, как крупнейшего руководителя... Поэтому, по предложению Ленина, делегаты конференции избрали Сталина в ЦК заочно".

Вопрос о том, был ли Коба выбран на конференции или кооптирован позже Центральным Комитетом, может показаться второстепенным. На самом деле это не так. Сталин хотел попасть в ЦК. Ленин находил нужным провести его в ЦК. Выбор возможных кандидатов был настолько узок, что в состав ЦК попали некоторые совершенно второстепенные фигуры. Между тем Коба не был выбран. Почему? Ленин отнюдь не был диктатором партии. Да революционная партия и не потерпела бы над собой диктатуры! После предварительных переговоров с делегатами Ленин считал, видимо, более разумным не выдвигать кандидатуру Кобы. "Когда Ленин в 1912 г. ввел Сталина в состав Центрального Комитета партии, — пишет Дмитриевский, — это было встречено с возмущением. Открыто никто не возражал. Но меж собой негодовали". Информация бывшего дипломата, не заслуживающая, по общему правилу, доверия, представляет тем не менее интерес как отголосок бюрократических воспоминаний и сплетен. Ленин, несомненно, наткнулся на серьезное сопротивление. Оставался путь: переждать, когда конференция закончится, и апеллировать к тесному руководящему кружку, который либо полагался на рекомендацию Ленина, либо разделял его оценку кандидата. Так Сталин вошел в первый раз в ЦК через заднюю дверь.

Рассказ о внутренней организации ЦК претерпел такие же метаморфозы. "ЦК... по предложению Ленина образовал бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для руководства партийной работой в России. В русское бюро ЦК вошли, кроме Сталина, Свердлов, Спандарьян, Орджоникидзе, Калинин". Так повествует Берия, который во время нашей работы над этой главой оказался назначен начальником тайной полиции Сталина: научные заслуги не остались без признания. Тщетно искали бы мы, однако, в документах опоры для той версии, которую

повторяет и новейшая "История". Надо сказать прежде всего, что никто никогда не ставился "во главе" партийных учреждений: такого метода выборов не существовало вообще. Согласно старому официальному справочнику, ЦК выбрал "бюро в составе: Орджоникидзе, Спанларьян, Сталин и Голошекин". Тот же список дан и в примечании к "Сочинениям" Ленина. В бумагах Московского охранного отделения в качестве членов Русского бюро ЦК названы, под кличками, первые три: "Тимофей, Серго и Коба". Не лишено интереса, что Сталин во всех старых списках занимает неизменно последнее или предпоследнее место, чего не могло бы быть, конечно, если бы он был поставлен "во главе". Голошекин, изгнанный во время одной из последних чисток из аппарата, оказался вытеснен и из бюро 1912 г.; его место занял благополучный Калинин. История есть покорная глина в руках горшечника.

24 февраля Орджоникидзе сообщает Ленину, что посетил в Вологде Ивановича (Сталина): "Окончательно с ним столковались. Он остался доволен исходом дела". Речь идет о решениях Пражской конференции. Коба узнал, что он кооптирован, наконец, в только что созданный "центр". Уже 28 февраля он совершает побег из ссылки в своем новом звании члена Центрального Комитета. После короткого посещения Баку он направляется в Петербург. Два месяца тому назад ему исполнилось 32 года.

Переход Кобы с провинциальной арены на общегосударственную совпадает с моментом нового подъема рабочего движения и сравнительно широкого развития рабочей печати. Под напором подземных сил царские власти потеряли прежнюю уверенность. Рука цензора ослабела. Легальные возможности расширились. Большевизм прорвался на открытую арену сперва с еженедельной, затем с ежедневной газетой. Возможности воздействия на рабочих сразу возросли. Партия продолжала оставаться в подполье, но редакции ее газет стали на время легальными штабами революции. Имя петербургской "Правды" окрасило целый период рабочего движения, когда большевиков стали называть "правдистами". За два с половиной года существования газеты правительство восемь раз закрывало ее, но она каждый раз снова возрождалась под каким-либо сходным названием. В самых острых вопросах "Правда" вынуждена была нередко ограничиваться полусловами и намеками. Но подпольные агитаторы и воззвания досказывали за нее то, чего она не могла сказать открыто. Передовые рабочие научились к

тому же читать между строк. Тираж в 40.000 экземпляров может показаться очень скромным на западноевропейский или американский масштаб. Но при напряженной политической акустике царской России большевистская газета через своих непосредственных подписчиков и читателей находила отклик среди сотен тысяч. Так вокруг "Правды" объединилось молодое революционное поколение под руководством ветеранов, устоявших в годы реакции. "Правда" 1912 г. — это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 г.", — писал впоследствии Сталин, намекая на свое участие в этой работе.

Ленин, до которого не дошла еще весть о побеге Сталина, жаловался 15 марта: "От Ивановича ничего, — Что он? Где он? Как он?..". Мало людей. Нет подходящих людей даже в столице". В том же письме Ленин писал, что в Петербурге "дьявольски" нужен легальный человек, "ибо там дела плохи. Война бешеная и трудная. У нас ни информации, ни руководства, ни надзора за газетой". "Война бешеная и трудная" шла у Ленина с редакцией "Звезды", которая не хотела вести войны с ликвидаторами. "С "Живым Делом" (журналом ликвидаторов) воюйте живее — тогда победа обеспечена. Иначе беда. Не бойтесь полемики...", — настаивал Ленин снова в марте 1912 г. Таков лейтмотив всех его писем того времени.

"Что он? Где он? Как он?" — можем мы повторить вслед за Лениным. Действительную роль Сталина, как всегда закулисную, определить нелегко: нужен тщательный анализ фактов и документов. Его полномочия как члена ЦК в Петербурге, т. е. одного из официальных руководителей партии, распространялись, конечно, и на легальную печать. Однако, это обстоятельство предано было полному забвению до инструкции "историкам". Коллективная память имеет свои законы, которые не всегда совпадают с уставом партии. "Звезда" была основана в декабре 1910 г., когда обнаружили первые признаки оживления. "Самое близкое участие в подготовке издания и в редакционной работе из заграницы, — гласит официальная справка, — принимали Ленин, Зиновьев и Каменев". Из главных сотрудников в России редакция "Сочинений" Ленина называет 11 человек, забывая включить в их число Сталина. Между тем он был несомненным и, по своему положению, влиятельным сотрудником газеты. Ту же самую забывчивость — теперь сказали бы: саботаж памяти — мы встречаем во всех старых мемуарах и справочниках. Даже в специальном номере, который "Правда" посвятила в 1927 г. своему собственному 15-ти летнему юбилею, ни в одной

из статей, начиная с передовой, имя Сталина не упоминается. Когда изучаешь старые издания, отказываешься подчас верить собственным глазам!

Исключением, до некоторой степени, являются ценные воспоминания Ольминского, ближайшего сотрудника "Звезды" и "Правды", который роль Сталина характеризует в следующих словах: "Сталин и Свердлов появились в Петербурге в разное время после побега из ссылки... Пребывание обоих в Петербурге (до нового ареста) было коротко, но успевало существенно отразиться на работе газеты, фракции и пр.". Это сухое указание, сделанное, к тому же не в основном тексте, а в подстрочном примечании, вернее всего, пожалуй, характеризует положение. Сталин появлялся в Петербурге на короткое время, производил нажим на организацию, на думскую фракцию, на газету и снова исчезал. Его появления были слишком эпизодическими, его влияние — слишком аппаратным, его идеи и статьи — слишком ординарными, чтобы врезаться в память. Когда люди пишут мемуары не по принуждению, они вспоминают не официальные функции чиновников, а живую деятельность живых людей, яркие факты, отчетливые формулы, оригинальные предложения. Ничем подобным Сталин себя не проявлял. Немудрено, если никому не запомнилась серая копия рядом с ярким оригиналом. Правда, Сталин не только пересказывал Ленина. Связанный поддержкой примиренцев, он продолжал развивать одновременно две линии, уже знакомые нам по его письмам из Сольвычегодска: с Лениным — против ликвидаторов, с примиренцами — против Ленина. Первая линия имела открытый характер, вторая — замаскированный. Но та борьба, которую Сталин вел против заграничного центра, тоже не вдохновляла мемуаристов, хотя и по другой причине: все они, активно или пассивно, участвовали в примиренческом "заговоре" против Ленина и потому предпочитали впоследствии отворачиваться от этой страницы партийного прошлого. Только в 1929 г. официальное положение Сталина, как представителя ЦК, положено было в основу нового истолкования исторического периода, предшествовавшего войне.

Сталин не мог наложить личной печати на газету уже потому одному, что не был, по природе, журналистом. С апреля 1912 г. по февраль 1913 г. он, по подсчету одного из его близких сотрудников, поместил в большевистской печати "не менее двух десятков статей", что составляет в среднем около двух статей в месяц. И это в горячее время, когда жизнь каждый день выдвигала новые вопросы! Правда, за этот

год Сталин около шести месяцев провел в ссылке. Но сотрудничать в "Правде" из Сольвычегодска или Вологды было гораздо легче, чем из Кракова, откуда Ленин и Зиновьев каждый день посылали статьи и письма. Медлительность и чрезмерная осмотрительность натуры, отсутствие литературной находчивости, наконец, изрядная ориентальная лень делали перо Сталина малопродуктивным. Статьи его, более уверенные по тону, чем в годы первой революции, носят на себе по-прежнему неизгладимую печать посредственности.

"Вслед за экономическими выступлениями рабочих, — пишет он 15 апреля в "Звезде", — политические их выступления. Вслед за стачками за заработную плату — протесты, митинги, политические забастовки по поводу Ленских расстрелов... Нет сомнения, что подземные силы освободительного движения заработали. Привет вам, первые ласточки!". Образ "ласточки", как символа "подземных сил", типичен для стиля нашего автора. Но в конце концов ясно, что он хочет сказать. Делая "выводы" из так называемых "Ленских дней", Сталин анализирует, как всегда схематически, без живых красок, поведение правительства и политических партий, обличает "крокодиловы слезы" буржуазии по поводу расстрелов рабочих и заканчивает предостережением: "теперь, когда первая волна подъема проходит, темные силы, спрятавшиеся было за ширмами крокодиловых слез, начинают снова появляться". Несмотря на неожиданность такого образа, как "ширмы крокодиловых слез", который выступает особенно причудливо на сером фоне текста, статья, в общем, говорит приблизительно то, что следовало сказать, и что сказали бы десятки других. Но именно "приблизительность" изложения, — не только стиля, но и самого анализа, — делает чтение литературных работ Сталина столь же невыносимым, как фальшивую музыку — для чуткого слуха.

..."Именно сегодня, в день первого мая, — пишет он в нелегальном воззвании, — когда природа просыпается от зимней слячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и луга украшаются цветами, солнце начинает теплее согревать, в воздухе чувствуется радость обновления, а природа предается пляске и ликованию, -- они решили именно сегодня заявить миру, что рабочие несут человечеству весну и освобождение от оков капитализма... Все шире разливается океан рабочего движения... Высокими волнами вздымается море пролетарского гнева... И уверенные в своей победе, спокойные и сильные, гордо шествуют они по пути к обетованной земле, по пути к светлому социализму". Петербург-

ская революция говорит здесь словами тифлисской гомилетики.

Стачечная волна нарастала, множились связи с рабочими. Ежедельник перестал отвечать потребностям движения. "Звезда" открыла сборы на ежедневную газету. "В конце зимы 1912 г., — пишет бывший депутат Полетаев, — в Петербурге появился Сталин, бежавший из ссылки. Дело с налаживанием рабочей газеты пошло быстрее". В статье "К десятилетию 'Правды'" (1922 г.) сам Сталин рассказал: "Это было в середине апреля 1912 г., вечером, на квартире у Полетаева, где двое депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое литераторов (Ольминский и Батурич) и я, член ЦК... сговорились о платформе "Правды" и составили первый номер газеты". Ответственность Сталина за платформу "Правды" устанавливается здесь им самим. Суть этой платформы можно резюмировать словами: "работай, остальное приложится". Сам Сталин был, правда, арестован уже 22 апреля, в день выхода первого номера "Правды". Но в течение почти трех месяцев "Правда" упорно держалась платформы, выработанной при его участии. Самое слово "ликвидатор" было изгнано из словаря газеты. "С ликвидаторством необходима была непримиримая борьба, — пишет Крупская. — Вот почему Владимира Ильича так волновало, что "Правда" вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в "Правду" сердитые письма". Часть их, видимо, небольшая, успела увидеть свет. "Иногда, хоть и редко это было, — жалуется она далее, — пропадали без вести и статьи Ильича.

Иногда статьи его задерживались, не помещались сразу. Ильич тогда нервничал, писал в "Правду" сердитые письма, но помогало мало". Борьба с редакцией "Правды" составляла прямое продолжение борьбы с редакцией "Звезды". "От рабочих нельзя, вредно, губительно, смешно скрывать разногласия", — пишет Ленин 11 июля 1912 г. Через несколько дней он требует у секретаря редакции Молотова, нынешнего председателя Совнаркома, объяснения, почему газета "упорно, систематически вычеркивает и из моих статей и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах?". Тем временем приближаются выборы в Четвертую Думу. Ленин предупреждает: "Выборы по рабочей курии в Петербурге несомненно будут сопровождаться борьбой по всей линии с ликвидаторами. Это будет самый живой вопрос для передовиков-рабочих. А их газета будет молчать, избегать слова ликвидатор... Отмахиваться от этих вопросов, значит совершать самоубийство".

Ленин очень зорко различал из Кракова молчаливый, но тем более упорный заговор примиренческих верхов партии. Но он был слишком уверен в своей правоте. Быстрое пробуждение рабочего движения должно было неминуемо поставить ребром основные проблемы революции, вырывая почву из-под ног не только ликвидаторства, но и примиренчества. Сила Ленина была не в том, что он умел строить "аппарат", — он умел и это делать, а в том, что во все критические моменты он умел использовать живую энергию масс для преодоления ограниченности и консерватизма, свойственных всякому аппарату. Так было и на этот раз. Под возрастающим движением рабочих и под кнутом из Кракова "Правда", постепенно и упираясь, покидала позиции выжидательного нейтралитета.

Сталин просидел в петербургской тюрьме немногим более двух месяцев. 2-го июля он отправился в новую ссылку, на четыре года, на этот раз по ту сторону Урала, на север Томской губернии в знаменитый своими лесами, озерами и болотами Нарымский край. Уже знакомый нам Верешак встретился снова с Кобой в селе Колпашеве, где тот провел несколько дней по пути к месту назначения. Здесь же находились Свердлов, И. Смирнов, Лашевич, старые коренные большевики. Тогда нелегко было предсказать, что Лашевич умрет в ссылке у Сталина, Смирнов будет им расстрелян, а Свердлова спасет только ранняя смерть. "Прибытие Сталина в Нарымский край, — рассказывает Верешак, — оживило деятельность большевиков и ознаменовалось целой серией побегов". После нескольких других бежал и сам Сталин: "с первым весенним пароходом он почти открыто уехал"... На самом деле, Сталин бежал в конце лета. Это его четвертый побег.

Вернувшись 12 сентября в Петербург, он застает здесь значительно изменившуюся обстановку. Идут бурные стачки. Рабочие снова выносят на улицу лозунги революции. Политика меньшевиков явно скомпрометирована. Влияние "Правды" сильно возросло. К тому же приближаются выборы в Государственную Думу. Основной тон избирательной агитации уже дан из Кракова. Исходные позиции заняты. Большевики участвуют в избирательной борьбе отдельно от ликвидаторов и против них. Сплотить рабочих под знаменем трех главных лозунгов демократической революции: республика, 8-ми часовой рабочий день и конфискация помещичьих земель; высвободить мелкобуржуазную демократию из-под влияния либералов; привлечь крестьян на сторону рабочих — таковы руководящие идеи избирательной платформы

Ленина. Сочетая со смелым размахом мысли неутомимое внимание к деталям, Ленин был едва ли не единственным марксистом, который великолепно изучил все силки и петли столыпинского избирательного закона. Политически вдохновляя избирательную кампанию, он и технически руководил ею изо дня в день. На помощь Петербургу он посылал из-за границы статьи, инструкции и тщательно подготовленных эмиссаров.

Сафаров, принадлежащий ныне к категории исчезнувших, весной 1912 г. по пути из Швейцарии в Питер остановился в Кракове, где узнал, что на проведение избирательной кампании едет также Инесса, выдающаяся деятельница партии, близко стоявшая к Ленину. "Пару дней, наверно, Ильич нас накачивал инструкциями". Выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены в Петербурге на 16 сентября. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. "Но не знала еще полиция, — пишет Крупская, — что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин. Выборы по рабочей курии прошли с большим успехом". Крупская не говорит: "благодаря Сталину". Она просто ставит две фразы рядом. Это прием пассивной самообороны. "На ряде заводов на летучих собраниях, — читаем в новом издании воспоминаний бывшего депутата Бадаева (в первом издании этого не было), — выступал Сталин, только что бежавший из Нарыма". По словам Аллилуева, написавшего свои воспоминания только в 1937 г., "Сталин непосредственно руководил всей огромной кампанией выборов в IV Думу... Проживая в Питере нелегально, без определенного постоянного пристанища, не желая беспокоить кого-либо из близких товарищей в поздние часы ночи, после затянувшегося рабочего собрания, а также и по конспиративным соображениям, Сталин нередко проводил остаток ночи в каком-либо трактире за стаканом чая". Здесь удавалось иногда и "вздремнуть, сидя в прокопченной дымом махорки трактирной обстановке".

На исход выборов на низшей стадии, где приходилось иметь дело непосредственно с рабочими избирателями, Сталин не мог оказать большого влияния, не только в силу слабости его ораторских ресурсов, но и потому, что в его распоряжении не было и четырех дней. Зато он должен был сыграть крупную роль на дальнейших этапах многоэтажной системы, где нужно было сплачивать уполномоченных и руководить ими из-за кулис, опираясь на нелегальный аппарат. В этой сфере Сталин оказался, несомненно, более на месте, чем кто-либо другой. Важным документом избирательной кампании был "Наказ петербург-

ских рабочих своему депутату". В первом издании своих воспоминаний Бадаев говорит, что наказ был составлен Центральным Комитетом; в новом издании авторство приписывается Сталину лично. Всего вероятнее, что наказ был продуктом коллективной работы, в которой последнее слово могло принадлежать Сталину, как представителю ЦК.

...Мы думаем, — говорится в "Наказе", — что Россия живет накануне грядущих массовых движений, быть может, более глубоких, чем в пятом году... Застрельщиком этих движений будет, как и в пятом году, наиболее передовой класс русского общества, русский пролетариат. Союзником же его может быть многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России". Ленин пишет в редакцию "Правды": "Непременно поместите этот наказ... на видном месте крупным шрифтом". Губернский съезд уполномоченных принял большевистский наказ подавляющим большинством. В эти горячие дни Сталин более активно выступает и как публицист: в течение недели мы насчитали четыре его статьи в "Правде". Результаты выборов в Петербурге, как и во всех вообще промышленных районах, оказались весьма благоприятными. Большевистские кандидаты прошли от шести важнейших промышленных губерний, в которых насчитывалось около 4/5 рабочего класса. Семь ликвидаторов были избраны главным образом голосами городской мелкой буржуазии. "В отличие от выборов 1907 г., — писал Сталин в корреспонденции для центрального органа, выходявшего за границей, — выборы 1912 г. совпали с революционным оживлением среди рабочих". Именно поэтому рабочие, далекие от тенденций бойкотизма, активно боролись за свои избирательные права. Правительственная комиссия сделала попытку признать недействительными выборы от самых больших заводов Петербурга. Рабочие ответили на это дружной забастовкой протеста и добились успеха. "Не лишне будет заметить, — прибавляет автор корреспонденции, — что инициатива забастовочной кампании принадлежала представителю Центрального Комитета"... Речь идет здесь о самом Сталине. Политические выводы из избирательной кампании: "Жизненность и мощь революционной социал-демократии — таков первый вывод. Политическое банкротство ликвидаторов — таков второй вывод". Это было правильно.

Семерка меньшевиков, в большинстве интеллигентов, пыталась поставить шестерку большевиков, малоопытных политически рабочих под свой контроль. В конце ноября Ленин пишет лично Сталину

(“Васильеву”): “Если у нас все 6 по рабочей курии, нельзя молча подчиняться каким-то сибирякам. Обязательно шестерке выступить с самым резким протестом, если ее майоризируют”. Ответ Сталина на это письмо, как и на другие, остается под спудом. Но призыв Ленина не вызывает сочувствия: сама шестерка ставит единство с объявленными “вне партии” ликвидаторами выше собственной политической независимости. В особой резолюции, напечатанной в “Правде”, объединенная фракция признала “единство социал-демократии настоятельно необходимым”, высказалась за слияние “Правды” с ликвидаторской газетой “Луч” и, как шаг на этом пути, рекомендовала всем своим членам вступить сотрудниками в обе газеты. 18 декабря меньшевистский “Луч” опубликовал с торжеством имена четырех депутатов-большевиков (два отказались) в списке своих сотрудников; имена членов меньшевистской фракции одновременно появились в заголовке “Правды”. Примиренчество снова одержало победу, которая означала, по существу, ниспровержение духа и буквы Пражской конференции.

Вскоре в списке сотрудников “Луча” появилось еще одно имя: Горького. Это пахло заговором. “А как же это вы угодили в “Луч”??? — писал Ленин Горькому с тремя вопросительными знаками. — Неужели вслед за депутатами? Но они просто попали в ловушку”. Во время эфемерного торжества примиренцев Сталин находился в Петербурге и осуществлял контроль ЦК над фракцией и “Правдой”. О его протесте против решений, наносивших жестокий удар политике Ленина, никто ничего не сообщает: верный признак, что за кулисами примиренческих маневров стоял сам Сталин. Оправдываясь впоследствии в своем грехопадении, депутат Бадаев писал: “Как и во всех других случаях, наше решение... находилось в согласии с настроениями тех партийных кругов, среди которых мы имели в тот момент возможность обсуждать нашу работу”. Эта описательная форма намекает на Петербургское бюро ЦК и прежде всего на Сталина: Бадаев осторожно просит, чтоб вину не перелагали с руководителей на руководимых.

В советской печати отмечалось несколько лет тому назад, что история внутренней борьбы Ленина с фракцией и редакцией “Правды” еще недостаточно освещена. За последние годы были приняты все меры, чтоб затруднить такое освещение. Переписка Ленина за тот критический период до сих пор не опубликована полностью. В распоряжении историка имеются только те документы, которые были по разным поводам извлечены из архивов до установления тоталитарного контроля.

Однако, и из этих разрозненных фрагментов вырисовывается безошибочная картина. Непримируемость Ленина была только оборотной стороной его реалистической дальновзоркости. Он настаивал на расколе по той линии, которая должна была, в конце концов, стать линией гражданской войны. Эмпирик Сталин к дальнему прицелу был органически неспособен. Он энергично боролся с ликвидаторами во время выборов, чтоб иметь своих депутатов: дело шло о важной точке опоры. Но когда эта организационная задача была разрешена, он не считал нужным поднимать новую "бурю в стакане", тем более, что и меньшевики под влиянием революционной волны как будто склонны были заговорить по-иному. Поистине незачем "лезть на стену"! Для Ленина вся политика сводилась к революционному воспитанию масс. Борьба во время избирательной кампании не имела для него никакого смысла, если после окончания выборов думская фракция оставалась единой. Нужно было дать возможность рабочим на каждом шагу, на каждом действии, на каждом событии убеждаться, что большевики во всех основных вопросах резко отличаются от других политических группировок. Таков важнейший узел борьбы между Краковом и Петербургом.

Шатания думской фракции были тесно связаны с политикой "Правды". "В этот период, — писал Бадаев в 1930 г., — "Правдой" руководил Сталин, находившийся на нелегальном положении". То же пишет и хорошо осведомленный Савельев: "Оставаясь на нелегальном положении, Сталин фактически руководил газетой на протяжении осени 1912 и зимы 1912-13 гг. Лишь на короткий срок он уезжает в это время за границу, в Москву и другие места". Эти свидетельства, совпадающие со всеми фактическими обстоятельствами, не вызывают сомнения. Однако, о руководстве Сталина в подлинном смысле слова не может быть все же речи. Действительным руководителем газеты был Ленин. Он каждый день посылал статьи, критику чужих статей, предложения, инструкции, поправки. Сталину, при его медлительной мысли, никак было не угнаться за этим живым потоком обобщений и предложений, которые на 9/10 казались ему лишними или преувеличенными. Редакция, по существу, занимала оборонительную позицию. Собственных политических идей она не имела, а стремилась лишь обломать острые углы краковской политики. Однако, Ленин умел не только сохранять острые углы, но и заново оттачивать их. В этих условиях Сталин естественно стал закулисным вдохновителем примиренческой оппозиции против ленинского натиска.

“Новые конфликты, — говорит редакция “Сочинений” Ленина (Бухарин, Молотов, Савельев), — возникли вследствие недостаточно энергичной полемики с ликвидаторами по окончании избирательной кампании, а также в связи с приглашением к сотрудничеству в “Правде” впереводцев. Отношения еще более обострились в январе 1913 г., после отъезда из Петербурга И. Сталина”. Это тщательно обдуманное выражение: “еще более обострились” свидетельствует, что и до отъезда Сталина отношения Ленина с редакцией не отличались дружелюбием. Но Сталин всячески избегал подставлять себя “как мишень”.

Члены редакции были в партийном смысле маловлиятельными, отчасти даже случайными фигурами. Добиться их смещения не представляло бы для Ленина затруднений. Но они имели опору в настроениях верхнего слоя партии и лично — в представителе ЦК. Острый конфликт со Сталиным, связанным с редакцией и фракцией, означал бы потрясение партийного штаба. Этим объясняется осторожная, при всей своей настойчивости, политика Ленина. 13 ноября он “с крайней печалью” укоряет редакцию в том, что она не посвятила статьи открытию международного социалистического конгресса в Базеле: “написать такую статью было бы совсем нетрудно, а что в воскресенье открывается съезд, редакция “Правды” знала”. Сталин, вероятно, искренне удивился. Международный конгресс? В Базеле? Это было очень далеко от него. Но главным источником трений являлись не отдельные, хотя и непрерывно повторяющиеся промахи, а основное различие в понимании путей развития партии. Политика Ленина имела смысл только под углом зрения смелой революционной перспективы; с точки зрения тиража газеты или постройки аппарата она не могла не казаться утрированной. В глубине души Сталин продолжал считать “эмигранта” Ленина сектантом.

Нельзя не отметить здесь же привходящий шекотливый эпизод. Ленин в те годы сильно нуждался. Когда “Правда” встала на ноги, редакция назначила своему вдохновителю и главному сотруднику гонорар, который, несмотря на свои архискромные размеры, составлял финансовую основу его существования. Как раз в период обострения конфликта деньги перестали получаться. Несмотря на свою исключительную деликатность в делах такого рода, Ленин вынужден был настойчиво напоминать о себе. “Почему не посылаете следуемых денег? Опоздание нас сильно стесняет. Не опаздывайте, пожалуйста”. Вряд ли можно рассматривать задержку денег как своего рода финансовую

репрессию (хотя в дальнейшем, стоя у власти, Сталин не стеснялся прибегать к таким приемам на каждом шагу). Но если даже дело шло о простом невнимании, оно бросает достаточный свет на отношения между Петербургом и Краковом. Поистине, они были очень далеки от дружелюбия.

Возмущение "Правдой" прорывается в письмах Ленина открыто сейчас же после отъезда Сталина в Краков, на совещание партийного штаба. Создается неотразимое впечатление, что Ленин лишь выжидал этого отъезда, чтоб разгромить петербургское примиренческое гнездо, сохранив в то же время возможность мирного соглашения со Сталиным. С того часа, как наиболее влиятельный противник оказывается нейтрализован, Ленин открывает истребительную атаку на петербургскую редакцию. В письме от 12 января, адресованном доверенному лицу в Петербурге, он говорит о "непростительной глупости", совершенной "Правдой" в отношении газеты текстильщиков, требует исправить "свою глупость" и пр. Письмо в целом написано рукой Крупской. Дальше почерком Ленина: "Мы получили глупое и нахальное письмо из редакции. Не отвечаем. Надо их выжить... Нас крайне волнует отсутствие вестей о плане реорганизации редакции... Реорганизация, а еще лучше полное изгнание всех прежних крайне необходимо. Ведется нелепо. Расхваливают Бунд и "Цейт" (оппортунистическое еврейское издание), это прямо подло. Не умеют вести линии против "Луча", безобразно относятся к статьям (т. е. к статьям самого Ленина). Прямо терпения нет". Тон письма показывает, что негодование Ленина, который умел, когда нужно, сдерживать себя, дошло до высшей точки. Уничтожающая оценка газеты относится ко всему тому периоду, когда непосредственное руководство лежало на Сталине. Кем именно было написано "глупое и нахальное письмо из редакции", до сих пор не раскрыто, и конечно, не случайно. Вряд ли Сталиным: для этого он слишком осторожен; к тому же он, вероятно, находился уже вне Петербурга. Вернее всего, письмо написал Молотов, официальный секретарь редакции, столь же склонный к грубости, как и Сталин, но лишенный его гибкости. Нетрудно догадаться о характере "глупого и нахального письма": "мы" — редакция, "мы" решаем, ваши заграничные претензии для нас "буря в стакане", можете, если угодно, "лезть на стену", — мы будем "работать".

Насколько решительно Ленин подошел на этот раз к застарелому конфликту, видно из дальнейших строк письма: "Что сделано насчет

контроля за деньгами? Кто получил суммы за подписку? В чьих они руках? Сколько их?». Ленин не исключает, видимо, даже возможности разрыва и озабочен сохранением финансовой базы в своих руках. Но до разрыва не дошло; растерянные примиренцы вряд ли дерзали и помышлять о нем. Пассивное сопротивление было их единственным оружием. Теперь и оно будет выбито из их рук.

Отвечая на пессимистическое письмо Шкловского из Берна и доказывая ему, что дела большевиков идут не так плохо, Крупская начинает с признания: «конечно, "Правда" ведется плохо». Эта фраза звучит, как общее место, стоящее вне спора. «Там публика в редакции с бору да с сосенки, большинство не литераторов... Не помещаются протесты рабочих против "Луча" для избежания полемики». Крупская обещает, однако, в ближайшем будущем «существенные реформы». Письмо написано 19-го января. На следующий день Ленин пишет через Крупскую в Петербург: «...необходимо насадить свою редакцию "Правды" и разогнать теперешнюю. Ведется дело сейчас из рук вон плохо. Отсутствие кампании за единство снизу — глупо и подло... ну, разве люди эти редакторы? Это не люди, а жалкие тряпки и губители дела». Это тот стиль, которым писал Ленин, когда хотел показать, что пойдет до конца.

Параллельно он успел уже открыть огонь из тщательно составленных батарей по примиренчеству думской фракции. Еще 3 января он писал в Петербург: «Добейтесь безусловно помещения письма бакинских рабочих, которое посылаем». Письмо требует разрыва депутатов-большевиков с «Лучом». Указывая на то, что в течение пяти лет ликвидаторы «на разные лады повторяли, что партия умерла», бакинские рабочие спрашивают: «Откуда у них теперь взялась охота объединиться с мертвецом?» Вопрос не лишен меткости. «Когда же состоится выход четырех (депутатов) из "Луча"? — настаивает, со своей стороны, Ленин. — Можно ли еще ждать?... Даже из далекого Баку 20 рабочих протестуют». Не будет рискованно предположить, что, не добившись путем переписки разрыва депутатов с «Лучом», Ленин еще во время пребывания Сталина в Петербурге стал осторожно мобилизовывать низы. Несомненно, именно по его инициативе протестовали бакинские рабочие — Баку был выбран Лениным не случайно! — причем протест свой послали не редакции «Правды», где руководил бакинский вожь Коба, а Ленину в Краков. Сложные нити конфликта явственно выступают здесь наружу. Ленин наступает. Сталин маневрирует. При противодействии

примиренцев, но зато не без невольной помощи ликвидаторов, которые все больше обнаруживали свой оппортунизм, Ленину удалось вскоре добиться того, что депутаты-большевики вышли с протестом из состава сотрудников "Луча". Но они по-прежнему продолжали оставаться связанными дисциплиной ликвидаторского большинства думской фракции.

Готовясь к худшему, даже к разрыву, Ленин, как всегда, принимает меры к тому, чтоб достигнуть своей политической цели с наименьшими потрясениями и личными жертвами. Именно поэтому он заблаговременно вызвал Сталина за границу и сумел заставить его понять, что на время предстоящей "реформы" ему выгоднее отойти от "Правды". В Петербург был в это время направлен другой член ЦК, Свердлов, будущий первый председатель советской республики. Этот знаменательный факт засвидетельствован официально: "в целях реорганизации редакции, — гласит примечание к XVI тому "Сочинений" Ленина, — в Петербург Ц. Комитетом был прислан Свердлов". Ленин писал ему: "Сегодня узнали о начале реформы в "Правде". Тысячу приветов, поздравлений и пожеланий успехов... Вы не можете вообразить, до какой степени мы истомились работой с глухо-враждебной редакцией". В этих словах, где накопившаяся горечь соединяется со вздохом облегчения, Ленин подводит счеты своих отношений с редакцией за весь тот период, когда, как мы слышали, "Сталин фактически руководил газетой".

"Автор этих строк живо помнит, — писал Зиновьев в 1934 г., когда над головой его висел уже дамоклов меч, — каким событием был приезд Сталина в Краков". Ленин радовался вдвойне: и тому, что теперь удастся произвести деликатную операцию в Петербурге в отсутствие Сталина, и тому, что дело обойдется, вероятно, без потрясений внутри ЦК. В своем скупом и осторожном рассказе о пребывании Сталина в Кракове Крупская замечает, как бы вскользь: "Ильич нервничал тогда по поводу "Правды", нервничал и Сталин. Столковывались, как наладить дело". Эти многозначительные, при всей своей преднамеренной туманности строки остались, очевидно, от более откровенного текста, устраненного по требованию цензуры. В связи с уже известными нам обстоятельствами вряд ли можно сомневаться, что Ленин и Сталин "нервничали" по-разному, пытаясь каждый отстоять свою политику. Однако, борьба была слишком неравной: Сталину пришлось отступить.

Совещание, на которое он был вызван, состоялось 28 декабря — 1 января 1913 г. в составе одиннадцати человек: членов ЦК, думской фракции и видных местных работников. Наряду с общими политическими задачами в условиях нового революционного подъема совещание обсуждало острые вопросы внутренней жизни партии: о думской фракции, о партийной прессе, об отношении к ликвидаторству и к лозунгу "единства". Главные доклады делал Ленин. Надо полагать, депутатам и их руководителю Сталину пришлось выслушать немало горьких истин, хоть и высказанных дружественным тоном. Сталин на совещании, видимо, отмалчивался: только этим можно объяснить тот факт, что в первом издании своих воспоминаний (1929 г.) почтительный Бадаев забывает даже назвать его в числе участников. Отмалчиваться в критических условиях есть, к тому же, излюбленный прием Сталина. Протоколов и других материалов совещания "до сих пор не разыскано". Вероятнее всего, к неразысканию приняты были особые меры. В одном из тогдашних писем Крупской в Россию рассказывается: "Доклады с мест на совещании были очень интересны. Все говорили, что масса теперь подросла... Во время выборов выяснилось, что повсюду имеются самочинные рабочие организации... В большинстве случаев они не связаны с партией, но по духу своему партийны". В свою очередь, Ленин отмечает в письме Горькому, что совещание "очень удалось" и "сыграет свою роль". Он имел в виду прежде всего выпрямление политики партии.

Департамент полиции не без иронии уведомлял своего заведующего агентурой за границей, что, вопреки его последнему донесению, депутат Полетаев на совещании не присутствовал, а были следующие лица: Ленин, Зиновьев, Крупская; депутаты: Малиновский, Петровский, Бадаев; Лобова, рабочий Медведев, поручик русской артиллерии Трояновский (будущий посол в С. Штатах), жена Трояновского и Коба. Не лишен интереса порядок имен: Коба оказывается в списке департамента на последнем месте. В примечаниях к "Сочинениям" Ленина (1929) он назван пятым, после Ленина, Зиновьева, Каменева и Крупской, хотя Зиновьев, Каменев и Крупская давно уже находились в опале. В перечнях новейшей эры Сталин занимает неизменно второе место, сейчас после Ленина. Эти перемещения недурно отбивают такт исторической карьеры.

Департамент полиции хотел показать своим письмом, что Петербург лучше своего заграничного агента осведомлен о происшедшем в

Кракове. Немудрено: одну из видных ролей на совещании играл Малиновский, о действительной физиономии которого, как провокатора, знала лишь самая верхушка полицейского Олимпа. Правда, еще в годы реакции среди социал-демократов, соприкасавшихся с Малиновским, возникли против него подозрения; доказательств, однако, не было, и подозрения заглохли. В январе 1912 г. Малиновский оказался делегирован от московских большевиков на конференцию в Праге. Ленин жадно ухватился за способного и энергичного рабочего и содействовал выдвижению его кандидатуры на выборах в Думу. Полиция, с своей стороны, поддерживала своего агента, арестуя возможных соперников. Во фракции Думы представитель московских рабочих сразу завоевывает авторитет. Получая от Ленина готовые тексты парламентских речей, Малиновский передавал рукописи на просмотр директору департамента полиции. Тот пробовал сперва вносить смягчения; однако, режим большевистской фракции вводил автономию отдельного депутата в очень узкие пределы. В результате оказалось, что если социал-демократический депутат был лучшим осведомителем охраны, то, с другой стороны, агент охраны стал наиболее боевым оратором социал-демократической фракции.

Подозрения насчет Малиновского снова возникли летом 1913 г. у ряда видных большевиков; но за отсутствием доказательств и на этот раз все осталось по-старому. Однако, само правительство испугалось возможного разоблачения и связанного с этим политического скандала. По приказу начальства Малиновский подал в мае 1914 г. председателю Думы заявление о сложении депутатского мандата. Слухи о провокации вспыхнули с новой силой и проникли на этот раз в печать. Малиновский выехал за границу, явился к Ленину и потребовал расследования. Свою линию поведения он, очевидно, тщательно подготовил при содействии своих полицейских руководителей. Две недели спустя в петербургской газете партии появилась телеграмма, сообщавшая иносказательно, что ЦК, расследовав дело Малиновского, убедился в его личной честности. Еще через несколько дней было опубликовано постановление о том, что самовольным сложением мандата Малиновский "поставил себя вне рядов организованных марксистов": на языке легальной газеты это означало исключение из партии.

Ленин подвергался долгому и жестокому обстрелу со стороны противников за "укрывательство" Малиновского. Участие агента полиции в думской фракции и особенно в Центральном Комитете было, кон-

ечно, большим бедствием для партии. В частности, Сталин в последнюю свою ссылку отправился по доносу Малиновского. Но в ту эпоху подозрения, осложнявшиеся подчас фракционной враждой, отравляли всю атмосферу подполья. Прямых улик против Малиновского никто не представлял. Нельзя же было приговорить члена партии к политической, пожалуй, и физической смерти на основании смутных подозрений. А так как Малиновский занимал ответственное положение, и от его репутации зависела до известной степени и репутация партии, то Ленин считал своим долгом защищать Малиновского с той энергией, которая его отличала. После низвержения монархии факт службы Малиновского в полиции нашел полное подтверждение. После Октябрьского переворота провокатор, вернувшийся в Москву из немецкого плена, был расстрелян по приговору Трибунала.

Несмотря на недостаток людей, Ленин не спешил вернуть Сталина в Россию. Необходимо было до его возвращения закончить в Петербурге "существенные реформы". С другой стороны, и сам Сталин вряд ли очень рвался на место прежней работы после краковского совещания, которое означало косвенное, но недвусмысленное осуждение его политики. Как всегда, Ленин сделал все, чтоб обеспечить побежденному почетное отступление. Мстительность была ему совершенно чужда. Чтобы задержать Сталина на критический период за границей, он заинтересовал его работой о национальном вопросе: комбинация целиком в духе Ленина!

Уроженцу Кавказа с его десятками полукультурных и первобытных, но быстро пробуждающихся народностей, не нужно было доказывать важность национального вопроса. Традиция национальной независимости продолжала жить в Грузии. Коба получил первый революционный импульс именно с этой стороны. Самый псевдоним его напоминал о национальной борьбе. Правда, в годы первой революции он, по словам Иремашвили, успел охладеть к грузинской проблеме. "Национальная свобода... уже ничего не означала для него. Он не хотел признавать никаких границ для своей воли к власти. Россия и весь мир должны были оставаться открытыми для него". Иремашвили явно предвосхищает факты и настроения более позднего времени. Несомненно лишь, что, став большевиком, Коба покончил с той национальной романтикой, которая продолжала мирно уживаться с расплывчатым социализмом грузинских меньшевиков. Но отказавшись от идеи неза-

висимости Грузии, Коба не мог, подобно многим великороссам, оставаться безразличным к национальному вопросу вообще: взаимоотношения грузин, армян, татар, русских и пр. осложняли на каждом шагу революционную работу на Кавказе.

По своим взглядам Коба стал интернационалистом. Стал ли он им по своим чувствам? Великоросс Ленин органически не выносил шуток и анекдотов, способных задеть чувства угнетенной нации. Сталин сохранил в нервах своих слишком многое от крестьянина из деревни Диди-Лало. В предреволюционные годы он не смел, разумеется, играть на национальных предрассудках, как делал это позже, стоя у власти. Но в мелочах предрасположения его на этот счет обнаруживались уже и тогда. Ссылаясь на преобладание евреев в меньшевистской фракции Лондонского съезда 1907 г., Коба писал: "По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром". Нельзя и сейчас не поразиться тому, что в статье, предназначенной для рабочих Кавказа, где атмосфера была отравлена национальной рознью, Сталин счел возможным цитировать проникнутую подозрительным ароматом шутку. Дело шло при этом вовсе не о случайной бестактности, а о сознательном расчете. В той же статье, как мы помним, автор развязно "шутит" над резолюцией съезда об экспроприациях, чтобы рассеять таким способом сомнения кавказских боевиков. Можно с уверенностью предположить, что меньшевистская фракция в Баку возглавлялась в то время евреями, и что своей "шуткой" насчет погрома автор хотел скомпрометировать фракционных противников в глазах отсталых рабочих: это легче, чем убедить и воспитать, а Сталин всегда и во всем искал линии наименьшего сопротивления. Прибавим, что "шутка" Алексинского тоже не возникла случайно: этот ультралевый большевик стал впоследствии отъявленным реакционером и антисемитом.

В своей политической работе Коба отстаивал, разумеется, официальную позицию партии. Однако, до поездки за границу статьи его на эти темы не возвышались над уровнем повседневной пропаганды. Только теперь, по инициативе Ленина, он подошел к национальной проблеме с более широкой теоретической и политической точек зрения. Жизненное знакомство с переплетом кавказских национальных отношений облегчало ему, несомненно, ориентировку в этой сложной области, где абстрактное теоретизирование особенно опасно.

В двух странах довоенной Европы национальный вопрос имел исключительное политическое значение: в царской России и в габсбургской Австро-Венгрии. В каждой из них рабочая партия создала свою собственную школу. В области теории австрийская социал-демократия в лице Отто Бауэра и Карла Реннера брала национальность независимо от территории, хозяйства и классов, превращая ее в некоторую абстракцию, связанную так называемым "национальным характером". В области национальной политики, как, впрочем, и во всех других областях, она не шла дальше поправок к статус кво. Страхась самой мысли о расчленении монархии, австрийская социал-демократия стремилась приспособить свою национальную программу к границам лоскутного государства. Программа так называемой "национально-культурной автономии" требовала, чтобы граждане одной и той же национальности, независимо от их расселения на территории Австро-Венгрии, как и от административных делений государства, были объединены по чисто персональному признаку в одну общину для разрешения своих "культурных" задач (театр, церковь, школа и пр.). Эта программа была искусственна и утопична, поскольку в обществе, раздираемом социальными противоречиями, пыталась отделить культуру от территории и хозяйства; она была в то же время реакционна, поскольку вела к принудительному разъединению рабочих разных национальностей одного и того же государства, подрывая их классовую силу.

Позиция Ленина была прямо противоположна. Рассматривая национальность в неразрывной связи с территорией, хозяйством и классовой культурой, он в то же время отказывался видеть в историческом государстве, границы которого прошли по живому телу наций, священную и неприкосновенную категорию. Он требовал признания за каждой национальной частью государства права на отделение и самостоятельное существование. Поскольку же разные национальности добровольно или в силу необходимости сожительствуют в границах одного государства, их культурные интересы должны найти наивысшее возможное удовлетворение в рамках самой широкой областной (следовательно, территориальной) автономии, с законодательной гарантией прав каждого меньшинства. В то же время Ленин считал непререкаемым долгом всех рабочих данного государства, независимо от национальности, объединяться в одних и тех же классовых организациях.

Особенно жгуче стояла национальная проблема в Польше, в соответствии с исторической судьбой этой страны. Так называемая

Польская Социалистическая Партия (ППС), главой которой стал Иосиф Пилсудский, страстно выступала за независимость Польши; "социализм" ППС был только туманным дополнением ее воинственного национализма. Наоборот, польская социал-демократия, руководительницей которой была Роза Люксембург, противопоставляла лозунгу независимости Польши требование автономии Польского края в составе демократической России. Люксембург исходила из того, что в эпоху империализма отделение Польши от России экономически неосуществимо, а в эпоху социализма — ненужно. "Право на самоопределение" она считала пустой абстракцией. Полемика по этому вопросу длилась годы. Ленин доказывал, что империализм отнюдь не господствует равномерно во всех странах, областях и сферах жизни; что наследие прошлого представляет нагромождение и взаимопроникновение разных исторических эпох; что монополистический капитал возвышается над всем остальным, но не замещает его; что, несмотря на господство империализма, сохраняют свою силу многочисленные национальные проблемы, и что, в зависимости от внутренней и мировой конъюнктуры, Польша может стать самостоятельной и в эпоху империализма.

Право на самоопределение являлось, с точки зрения Ленина, ничем иным, как применением принципов буржуазной демократии в сфере национальных отношений. Полная, реальная, всесторонняя демократия при капитализме неосуществима; в этом смысле "неосуществима" и национальная независимость малых и слабых народов. Однако, рабочий класс не отказывается и при империализме от борьбы за демократические права, в том числе и за право каждой нации на самостоятельное существование. Более того: для известных частей нашей планеты именно империализм придает лозунгу национального самоопределения исключительную остроту. Если Западная и Центральная Европа так или иначе успели разрешить свои национальные проблемы в течение XIX века, то в Восточной Европе, Азии, Африке, Южной Америке эпоха национально-демократических движений развернулась по настоящему только в XX веке. Отвергать право наций на самоопределение, значит на деле оказывать помощь империалистам против колоний и угнетенных народов вообще.

Период реакции чрезвычайно обострил в России национальный вопрос. "Поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма. — писал Сталин, — целый ряд репрессий со стороны власти имущих, мстя-

ших окраинам за их свободолюбие, вызывали ответную волну национализма снизу, переходящего порой в грубый шовинизм". Это было время ритуального процесса против киевского еврея Бейлиса. Ретроспективно, в свете новейших завоеваний цивилизации, особенно в Германии и в СССР, этот процесс кажется ныне почти гуманитарным экспериментом. Но в 1913 г. он потряс весь мир. Отрава национализма угрожала и широким слоям рабочего класса. Горький с тревогой писал Ленину о необходимости противодействовать шовинистическому одичанию. "Насчет национализма вполне с вами согласен, — отвечал Ленин, — что надо заняться этим посерьезнее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для "Просвещения" большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы. Мы на это наляжем". Речь шла о Сталине. Давно связанный с партией, Горький хорошо знал ее руководящие кадры. Но фигура Сталина оставалась для него, очевидно, полной неизвестностью, раз Ленин оказался вынужден прибегнуть к такому хотя и лестному, но совершенно безличному определению, как "один чудесный грузин". Это, кстати сказать, единственный, пожалуй, случай, когда Ленин характеризует видного русского революционера по национальному признаку. Он имел в виду, собственно, не грузина, а кавказца: элемент первобытности несомненно подкупал Ленина; недаром он с такой нежностью относился к Камо.

Во время своего двухмесячного пребывания за границей Сталин написал небольшое, но очень содержательное исследование: "Марксизм и национальный вопрос". Будучи предназначена для легального журнала, статья пользуется осторожным словарем. Но революционные тенденции ее выступают, тем не менее, совершенно отчетливо. Автор начинает с противопоставления историко-материалистического определения нации абстрактно-психологическому, в духе австрийской школы. "Нация, — пишет он, — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры". Это комбинированное определение, сочетающее психологические черты нации с географическими и экономическими условиями ее развития, не только правильно теоретически, но и плодотворно практически, ибо обязывает искать разрешения вопроса о судьбе каждой нации в изменении материальных условий ее существования, начиная с территории. Фетишистского преклонения пред границами государства большевизм никогда не знал.

Политически дело шло о том, чтоб царскую империю, тюрьму народов, перестроить территориально, политически и административно в соответствии с потребностями и желаниями самих народов.

Партия пролетариата не предписывает отдельным национальностям, оставаться ли им в пределах государства или отделиться от него: это их собственное дело. Но она обязывается помочь каждой из них осуществить свою действительную волю. Вопрос о возможности государственного отделения есть вопрос конкретных исторических обстоятельств и соотношения сил. "Никто не может сказать, — писал Сталин, — что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды. Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение".

Интересы наций, которые добровольно останутся в пределах демократической России, будут ограждены посредством "автономии таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п. Областная автономия позволяет лучше использовать естественные богатства области; она не разделяет граждан по национальным линиям, позволяя им группироваться в классовые партии". Территориальное самоуправление областей во всех сферах общественной жизни противопоставляется здесь внетерриториальному, т. е. платоническому самоуправлению национальностей только в вопросах "культуры".

Однако, наиболее непосредственное и жгучее значение, с точки зрения освободительной борьбы пролетариата, имеет вопрос о взаимоотношении рабочих разных национальностей одного государства. Большевизм выступает за тесное и нераздельное сплочение рабочих всех национальностей в партии и профессиональных союзах на основах демократического централизма. "Тип организации влияет не только на практическую работу. Он накладывает неизгладимую печать на всю духовную жизнь рабочего. Рабочий живет жизнью своей организации, он там растет духовно и воспитывается... Интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма".

Австрийская программа "культурной автономии" ставила одной из своих целей "сохранение и развитие национальных особенностей наро-

дов". Зачем и для чего? — с изумлением спрашивал большевизм. Забота об обособлении национальных частей человечества — не наша забота. Большевизм требовал, правда, для каждой нации права на отделение — права, а не обязанности, — как последней, наиболее действительной гарантии против угнетения. Но, в то же время, ему была глубоко враждебна мысль об искусственном консервировании национальных особенностей. Устранение всякого, хотя бы и замаскированного, хотя бы и самого утонченного, почти "невесомого" национального гнета или унижения должно служить не разобщению, а наоборот, революционному объединению рабочих разных национальностей. Где есть национальные привилегии и обиды, там нужно дать возможность нациям разделиться, чтоб тем самым облегчить свободное объединение рабочих во имя тесного сближения наций с отдаленной перспективой их полного слияния. Такова основная тенденция большевизма, обнаружившая всю свою силу в Октябрьской революции.

Австрийская программа не обнаружила ничего, кроме слабости: она не спасла ни империи Габсбургов, ни самой австрийской социал-демократии. Культивируя обособленность национальных групп пролетариата и в то же время отказываясь дать реальное удовлетворение угнетенным национальностям, австрийская программа лишь прикрывала господствующее положение немцев и мадьяр и являлась, по справедливым словам Сталина, "утонченным видом национализма". Нельзя, однако, не отметить, что, критикуя заботу о "национальных особенностях", автор придает мысли противника заведомо упрощенное толкование. "Подумайте только, — восклицает он, — сохранить такие национальные особенности закавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсей-Вахсей! Развить такие национальные особенности Грузии, как право мести!". На самом деле австро-марксисты не имели, конечно, в виду сохранения заведомо реакционных пережитков. Что касается такой "национальной особенности Грузии, как 'право мести'", то именно Сталин в дальнейшем развил ее до таких пределов, как, может быть, никто другой в человеческой истории. Но это относится уже к другому порядку идей.

Видное место в исследовании занимает полемика против старого противника, Ноя Жордания, который в годы реакции стал склоняться к австрийской программе. На отдельных примерах Сталин показывает, что культурно-национальная автономия, "непригодная вообще, является еще бессмысленной и вздорной с точки зрения кавказских условий". Не

менее решительной критике подвергается политика еврейского Бунда, который был организован не по территориальному, а по национальному принципу и пытался навязать эту систему партии в целом. "Одно из двух: либо федерализм Бунда, и тогда — российская социал-демократия перестраивается на началах "размежевания" рабочих по национальностям; либо интернациональный тип организации, и тогда Бунд перестраивается на началах территориальной автономии... Среднего нет: принципы побеждают, а не примиряются".

"Марксизм и национальный вопрос" представляет, несомненно, самую значительную, вернее, единственную теоретическую работу Сталина. На основании одной этой статьи, размером в 40 печатных страниц, можно было бы признать автора выдающимся теоретиком. Остается только непонятным, почему ни до того, ни после того он не написал ничего, сколько-нибудь приближающегося к этому уровню. Разгадка таится в том, что работа полностью внушена Лениным, написана под его ближайшим руководством и проредактирована им строка за строкой.

Ленин дважды в своей жизни рвал с близкими сотрудниками, стоявшими на большой теоретической высоте. Сперва, в 1903-1904 гг., когда он разошелся со всеми старыми авторитетами российской социал-демократии: Плехановым, Аксельродом, Засулич, и выдающимися молодыми марксистами Мартовым и Потресовым. Второй раз, в годы реакции, когда от него отошли Богданов, Луначарский, Покровский, Рожков, писатели высокой квалификации. Зиновьев и Каменев, его ближайшие сотрудники, не были теоретиками. В этом смысле новый революционный подъем застиг Ленина в одиночестве. Естественно, что он с жадностью набрасывался на всякого молодого товарища, который мог в той или другой области принять участие в разработке вопросов партийной программы.

"На этот раз, — вспоминает Крупская, — Ильич много разговаривал со Сталиным по национальному вопросу, рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим вопросом, разбирающегося в нем. Перед этим Сталин месяца два прожил в Вене, занимаясь там национальным вопросом, близко познакомился там с нашей венской публикой, с Бухариным, с Трояновским". Здесь не все договорено. "Ильич много разговаривал со Сталиным", это значит: давал руководящие идеи, освещал их с разных сторон, разъяснял недоразумения, указывал литературу, просматривал первые опыты и вносил по-

правки. "Я вспоминаю, — рассказывает та же Крупская, — отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли, заинтересует человека. прозондирует его как следует, а потом предложит: "Не напишете ли на эту тему статью"? И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью ильичевы словечки и обороты даже". Крупская не называет, конечно, Сталина. Но характеристика Ленина, как наставника молодых авторов, включена ею в ту главу "Воспоминаний", где рассказывается о работе Сталина над национальным вопросом: Крупская вынуждена нередко прибегать к окольным путям, чтоб хоть отчасти отстоять интеллектуальные права Ленина от узурпации.

Ход работы Сталина над статьей вырисовывается перед нами с достаточной ясностью. Сперва — наводящие беседы Ленина в Кракове, указание руководящих идей и необходимой литературы. Поездка Сталина в Вену, в центр "австрийской школы". За незнанием немецкого языка справиться с источниками самостоятельно Сталин не мог. Зато Бухарин, несомненно обладавший теоретической головой, знал языки, знал литературу, умел оперировать с документами. Бухарин, как и Трояновский, имели от Ленина поручение помочь "чудесному", но малообразованному грузину. Им, очевидно, и принадлежит подбор важнейших цитат. На логическом построении статьи, не лишенном педантизма, сказалось, по всей вероятности, влияние Бухарина, который тяготел к профессорским приемам, в отличие от Ленина, для которого политический или полемический интерес определял структуру произведения. Дальше этого влияние Бухарина не шло, так как именно в национальном вопросе он стоял ближе к Розе Люксембург, чем к Ленину. Какова была доля участия Трояновского, мы не знаем. Но именно с этого времени ведет начало его связь со Сталиным, которая через ряд лет и переменчивых обстоятельств обеспечила незначительному и неустойчивому Трояновскому один из ответственных дипломатических постов.

Из Вены Сталин вернулся со своими материалами в Краков. Здесь опять наступила очередь Ленина, внимательного и неутомимого редак-

тора. Печать его мысли и следы его пера можно без труда открыть на каждой странице. Некоторые фразы, механически включенные автором, или отдельные строки, явно вписанные редактором, кажутся неожиданными или непонятными без справки с соответствующими работами Ленина. "Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России, — пишет Сталин, без объяснений, — национальный вопрос ему подчинен". Правильная и глубокая мысль об относительном удельном весе аграрного и национального вопросов в ходе русской революции полностью принадлежала Ленину и развивалась им неоднократно в течение годов реакции. В Италии и в Германии борьба за национальное освобождение и объединение составляла в свое время стержень буржуазной революции. Иначе в России, где главенствующая национальность, великорусская, не испытывала над собою национального гнета, наоборот, угнетала других; зато главная, именно крестьянская масса самих великороссов испытывала над собой глубокий гнет крепостничества. Такого рода сложные и серьезно взвешенные мысли действительный автор их никогда не высказал бы мимоходом, как общее место, без доказательств и комментариев.

Зиновьев и Каменев, долго жившие бок о бок с Лениным, усваивали не только его идеи, но и его обороты, даже почерк. Относительно Сталина этого сказать нельзя. Разумеется, и он жил идеями Ленина, но вдали, в стороне, и лишь в тех пределах, в каких они нужны ему были для его непосредственных целей. Он был слишком крепок, упрям, ограничен и органичен, чтоб усваивать литературные приемы учителя. Оттого ленинские поправки к его тексту выглядят, по слову поэта, "как яркие заплаты на ветхом рубище". Разоблачение австрийской школы, как "утонченного вида национализма", принадлежит несомненно Ленину, как и ряд других простых, но метких формул. Сталин так не писал. По поводу данного Бауэром определения нации, как "относительной общности характера", читаем в статье: "чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего "национального духа" спиритуалистов"? Эта фраза написана Лениным. Ни раньше ни позже Сталин так не выражался. И дальше, когда статья по поводу эклектических поправок Бауэра к его собственному определению нации отмечает: "так сама себя опровергает считая идеалистическими нитками теория", то нельзя не распознать сразу перо Ленина. То же относится к характеристике интернационального типа рабочей организации, как "школы товарищеских чувств". Сталин так не писал. С

другой стороны, во всей работе, несмотря на ее многочисленные угловатости, мы не встречаем ни хамелеонов, принимающих окраску зайцев, ни подземных ласточек, ни ширм, состоящих из слез: Ленин вытравил все эти семинарские красоты. Рукопись с поправками можно, конечно, скрыть. Но никак нельзя скрыть руку Ленина, как нельзя скрыть и то обстоятельство, что за годы тюремных заключений и ссылок Сталин не создал ничего, хоть отдаленно похожего на ту работу, которую он написал в течение нескольких недель в Вене и Кракове.

8 февраля, когда Сталин еще находился за границей, Ленин поздравлял редакцию "Правды" "с громадным улучшением во всем ведении газеты, которое видно за последние дни". Улучшение имело принципиальный характер и выразилось, главным образом, в усилении борьбы с ликвидаторами. Свердлов выполнял тогда, по рассказу Самойлова, обязанности фактического редактора; живя нелегально и не выходя из квартиры "неприкосновенного" депутата, он целыми днями возился с газетными рукописями. "Он был, кроме того, очень славный товарищ и во всех частных вопросах жизни. Это правильно. О Сталине, с которым он близко соприкасался и к которому очень почтителен, Самойлов такого отзыва не дает. 10-го февраля полиция проникла в "неприкосновенную" квартиру, арестовала Свердлова и выслала его вскоре в Сибирь, несомненно, по доносу Малиновского. К концу февраля у тех же депутатов поселился Сталин, вернувшийся из заграницы. "В жизни нашей фракции и газеты "Правды" он играл руководящую роль, — рассказывает Самойлов, — и он бывал не только на всех устраиваемых нами в нашей квартире совещаниях, но нередко с большим для себя риском посещал и заседания социал-демократической фракции, отстаивая в спорах с меньшевиками и по разным вопросам нашу позицию, оказывал нам большие услуги".

Сталин застал в Петербурге значительно изменившуюся обстановку. Передовые рабочие твердо поддержали реформы Свердлова, внушенные Лениным. Штаб "Правды" был обновлен. Примиренцы оказались оттесненными. Сталин и не думал отстаивать по существу те позиции, от которых его оторвали два месяца тому назад. Это не в его духе. Его забота теперь состоит в том, чтоб сохранить лицо. 26 февраля он печатает в "Правде" статью, в которой призывает рабочих "высказать голос против раскольнических попыток внутри фракции, откуда бы они ни исходили". По существу, статья входит в кампанию подго-

товки раскола думской фракции с возложением ответственности на противника. Но связанный собственным вчерашним днем, Сталин пытается облекать новую цель в старую фразеологию. Отсюда двусмысленное выражение о раскольнических попытках, "откуда бы они ни исходили". Во всяком случае, из статьи очевидно, что, побывав в краковской школе, автор стремился лишь как можно менее заметно переменить фронт и включиться в новую политику. Однако, участвовать в ней ему почти не довелось: его скоро арестовали.

В воспоминаниях бывшего грузинского оппозиционера Кавтарадзе рассказывается о встрече его со Сталиным в одном из петербургских ресторанов под бдительным оком шпикив. Когда собеседникам показалось на улице, что они счастливо отделались от преследователей, Сталин уехал на лихаче. Но немедленно за ним двинулся другой лихач со шпикив. Кавтарадзе, решивший, что его земляку не миновать на этот раз ареста, к удивлению своему узнал, что тот на свободе. Проезжая тускло освещенной улицей, Сталин собрался в ком, перекатился незаметно назад через спинку саней и зарылся в сугроб снега на краю улицы. Проводив глазами второго лихача, он встал, отряхнулся и укрылся у товарища. Через три дня, переодетый в форму студента, вышел из своего убежища и "продолжал руководящую работу в питерском подполье". Своими явно стилизованными воспоминаниями Кавтарадзе пытался отвести уже занесенную над ним руку. Но, как и многие другие, он ничего не купил ценою унижения... Редакция официального исторического журнала умудрилась не заметить, что в 1911 г., к которому Кавтарадзе относит этот эпизод, Сталин был в Петербурге только в летние месяцы, когда снежных сугробов на улицах быть не могло. Если брать рассказ за чистую монету, дело могло идти либо о конце 1912, либо о начале 1913 г., когда Сталин, после возвращения из заграницы, оставался на свободе около двух-трех недель.

В марте большевистская организация под фирмой "Правды" устраивала вечер-концерт. Сталину "захотелось туда пойти", — рассказывает Самойлов: там можно было повидать многих товарищей. Он спрашивал у Малиновского совета: стоит ли пойти, не опасно ли? Вероломный советчик ответил, что, по его мнению, опасности нет. Однако, опасность была подготовлена самим Малиновским. После прихода Сталина зал был сразу наводнен шпикивами. Попытались провести его через артистическую, переодев предварительно в женскую ротонду. Но его все же арестовали. На этот раз ему предстояло исчезнуть из обращения ровно

на четыре года.

Через два месяца после этого ареста Ленин писал в "Правду": "Очень поздравляю с успехом... Улучшение громадное и серьезное, надо надеяться, прочное и окончательное... Только бы не сглазить!". В интересах полноты нельзя не процитировать также письмо, которое Ленин послал в Петербург в октябре 1913 г., когда Сталин был уже в далекой ссылке, а редакцией руководил Каменев: "Тут все довольны газетой и ее редактором, я за все это время не слышал ни одного худого слова... Все довольны, и я особо: ибо оказался пророком. Помните!". В конце письма: "Дорогой друг! Все внимание уделено теперь борьбе шестерки за равноправие. Умоляю налечь изо всех сил и не дать ни газете, ни общественному мнению марксистов колебнуться ни разу". Из всех приведенных данных вытекают совершенно неспреложные выводы: газета велась, по мнению Ленина, из рук вон плохо в период, когда ею руководил Сталин. Думская фракция шаталась в тот же период в сторону примиренчества. Газета стала политически выправляться после того, как Свердлов, в отсутствие Сталина, произвел "существенные реформы". Газета поднялась и стала удовлетворительной, когда во главе ее стал Каменев. Под его же руководством большевистские депутаты Думы завоевали себе самостоятельность.

В расколе фракции активную роль, даже две сразу, играл Малиновский. Жандармский генерал Спиридович пишет по этому поводу: "Малиновский, исполняя директивы Ленина и департамента полиции, добился того, что в октябре 1913 г. "семерка" и "шестерка" перессорились окончательно". Меншевики, со своей стороны, не раз злорадовались по поводу "совпадения" политики Ленина и департамента полиции. Сейчас, когда события вынесли свой приговор, старый спор потерял смысл. Департамент полиции надеялся, что раскол социал-демократии ослабит рабочее движение. Ленин считал, наоборот, что только раскол обеспечит рабочим необходимое революционное руководство. Полицейские Макиавелли явно просчитались. Меншевики оказались обречены на ничтожество. Большевизм победил по всей линии.

Свыше шести месяцев перед последним арестом отдал Сталин интенсивной работе в Петербурге и за границей. Он принимал участие в проведении избирательной кампании в Думу, руководил "Правдой", участвовал в важном совещании партийного штаба за границей и написал свою работу о национальном вопросе. Это полугодие имело

несомненно большое значение в его личном развитии. Впервые он нес ответственность за работу на столичной почве, впервые подошел к большой политике, впервые близко соприкоснулся с Лениным. То чувство мнимого превосходства, которое ему было столь свойственно, как реалистическому "практику", не могло не быть потрясено при личном контакте с великим эмигрантом. Самооценка должна была стать более критической и трезвой, честолюбие — более замкнутым и тревожным. Ущемленное провинциальное самодовольство должно было неминуемо окраситься завистью, которую смиряла только осторожность. В ссылке Сталин уезжал со стиснутыми зубами.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1939-1941

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

(*Публикация Ю. Фельштинского*)

**Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел
Германии**

Телеграмма

Москва, 2 сентября 1939 - 17.49. Получена 2 сентября 1939 — 18.10
№ 254 от 2.9.39

К Вашим телеграммам за №233 от 30-го и № 241 от 1-го*.

На мой зондаж, правильны ли слухи из Стамбула о том, что Турция уже ведет переговоры с Советским Союзом, Молотов ответил, что советское правительство действительно ведет обмен мнениями и находится в контакте с Турцией.

После консультации со Сталиным Молотов заявил мне во время второй встречи в 15 часов, что между Советским Союзом и Турцией подписан лишь пакт о ненападении** и отношения, в

От составителя: Недавно в издательстве "Телекс" (США) вышел в свет составленный мною под редакцией А. Серебренникова и с предисловием А. Авторханова двухтомник "СССР — Германия, 1939" (том I); "СССР — Германия, 1939-1941" (том II). Включенные в этот сборник материалы и документы, большинство которых никогда ранее по-русски не публиковалось, представляют большой интерес не только для ученых, но для всех, интересующихся современной историей.

В предлагаемую читателю подборку документов и материалов включены переведенные на русский документы из германских архивов, а также материалы из "Нью Йорк Таймс", не вошедшие в изданный двухтомник. Эта подборка должна рассматриваться как дополнение к вышедшему двухтомнику.

* Не публикуется. — (*Прим. сост.*)

** Пакт о нейтралитете и ненападении от 17 декабря 1925 г. продлен на 10 лет протоколом от 7 ноября 1935 г. (*Прим. ред. нем. изд.*)

общем, хорошие; советское правительство готово поработать и добиться от Турции постоянного нейтралитета, чего хотим и мы. Наша точка зрения на роль Турции в настоящем конфликте разделяется советским правительством. Пожалуйста, в разговорах с турками сделайте так, чтобы вышеуказанное заявление Молотова потеряло свой смысл.

Шуленбург

Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел Германии

Телеграмма

Москва, 17 сентября 1939 — 8.23. Получена 17 сентября 1939 — 8.45 № 374 от 17.9.

Срочно!

На Вашу телеграмму от 16-го за № 358*.

Во время моего сегодняшнего визита Сталин заявил мне, что турецкое правительство предложило советскому правительству заключить пакт о взаимопомощи, касающийся Проливов и Балкан. Турецкое правительство желает ограничить статьи пакта тем, что Турция в оказании помощи Советскому Союзу будет обязана лишь к действиям, направленным не против Англии и Франции.

Советское правительство не слишком удовлетворено турецким предложением и обдумывает возможность предложения турецкому правительству пункта о том, что Советский Союз, со своей стороны, не будет обязан к каким-либо действиям, направленным против Германии. Сталин запросил наше мнение по этому вопросу, но дал ясно понять, что он считает заключение пакта о взаимопомощи в приемлемой форме очень выгодным, поскольку в этом случае Турция наверняка останется нейтральной. Присутствовавший Ворошилов добавил, что подобный пакт был бы "крючком", которым можно было бы оторвать Турцию от Франции. Прошу инструкций.

Шуленбург

*Не публикуется - (Прим. сост.).

Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных дел Германии

Берлин, 18 сентября 1939 г.

В канцелярию МИД — с требованием переслать нижеуказанное в поезд Имперского министра иностранных дел: — Ответ на телеграмму № 374 из Москвы относительно турецко-русского пакта о взаимопомощи: — Вопрос должен быть открыто обсужден с итальянцами. Если они согласятся, можно сообщить советскому правительству, что мы согласны, в принципе, с идеей, но паритет будет соблюден только в том случае, если советское правительство не будет обязано к действиям, направленным против Германии, Италии и Болгарии.

Вейцекер

Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных дел

Статс-секретарь, № 769

Берлин, 2 октября 1939 г.

Сегодня финский посланник [в Германии] попросил меня разъяснить значение соглашений о сферах влияния между Германией и Россией; ему было особенно интересно знать, какие последствия будут иметь московские соглашения в отношении Финляндии.

Я напомнил посланнику, что короткое время тому назад Финляндия, как это хорошо известно, отклонила наше предложение о заключении пакта о ненападении. Возможно, теперь в Хельсинки об этом сожалеют. В остальном, тогда и теперь Германия хочет иметь с Финляндией наиболее хорошие и дружеские отношения, особенно в экономической сфере, и производить настолько широкий обмен товарами, насколько это только возможно. Если господин Вуоримаа несколько опасается за Финляндию в связи с событиями в Эстонии* и визитом в Москву, о котором было объявлено сегодня, господина Мунтерса**, то я должен сказать ему [Вуоримаа], что я не информирован о политике Москвы в отношении Финляндии. Но мне кажется, что беспокойство Финляндии в этом случае неоправданно. Посланник затем заговорил о визите Чиано***. В связи с этим

я заметил, что после окончания польской кампании мы, безусловно, вступили в важную фазу войны. Объявление о созыве Рейхстага указывает на предстоящее правительственное заявление, в котором, конечно же, будет подчеркнута, что мы считаем бессмысленным начинать на Западе реальные военные действия****. Но если западные державы не захотят искать возможности мирного урегулирования, то от этого, вероятно, придется отказаться и нам.

Вейцекер

*Имеется в виду советско-эстонский пакт о взаимопомощи от 28 сентября 1939 г. (*Прим. ред. нем. изд.*).

**Министр иностранных дел Латвии (*Прим. сост.*).

***Визит графа Чиано в Берлин имел место 1-2 октября 1939 г. (*Прим. ред. нем. изд.*).

****Речь Гитлера в Рейхстаге от 6 октября 1939 г. (*Прим. ред. нем. изд.*).

Имперский министр иностранных дел германскому послу в Турции Папену

Телеграмма

Канцелярия МИД 508.

Берлин, 2 октября 1939 г.

Анкара, № 352.

Посол Шуленбург получил следующие инструкции:

Пожалуйста, сообщите Молотову немедленно, что, согласно полученным мною сообщениям, турецкое правительство не решится заключить пакт о взаимопомощи с Францией и Англией, если Советский Союз категорически против этого. По-моему, как уже заявлялось много раз, учитывая вопрос о Проливах, предупреждение союза Турции с Францией и Англией было бы также и в русских интересах. Я считал бы поэтому особенно важным, чтобы советское правительство действовало в этом направлении, для того чтобы отговорить Турцию от окончательного заключения пакта о взаимопомощи с Западными державами и придти к немедленному соглашению с Москвой. Нет сомнения, что в данный момент наилучшим выходом будет возвращение Турции к политике безусловного нейтралитета с подтверждением суще-

ствующих русско-турецких соглашений.

Быстрый и окончательный уход Турции от подготавливаемого Францией и Англией договора, который, говорят, уже был недавно парафирован, будет естественно сочетаться с установленными в Москве принципами миролюбия; и благодаря этому еще одна страна выйдет из англо-французского блока.

Конец инструкций.

Прошу Вас также сделать со своей стороны все возможное для предотвращения окончательного подписания пакта о взаимопомощи между Турцией и Западными державами. В этой связи Вы также можете указывать на сильное русское недовольство односторонним обязательством Турции и объяснять, что заключение пакта о взаимопомощи при существующих военных условиях будет непременно рассматриваться Германией иначе, чем до начала войны.

Риббентрон

Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел Германии

Телеграмма

Москва, 3 октября 1939 — 20.08. Получена 3 октября 1939 — 23.10.
№ 464 от 3.10.39

Совершенно секретно! Срочно!

На Вашу телеграмму от 2-го за № 475*.

Я подробно информировал Молотова о содержании Вашей инструкции. Молотов заявил, что советское правительство разделяет ход наших мыслей и придерживается такого же направления. Похоже, однако, что Турция уже стала довольно близка к Англии и Франции. Советское правительство будет продолжать пытаться исправить или "нейтрализовать" вопрос в нашем духе.

Афганский посол [в Москве], с которым я говорил сегодня, заявил, что знает, что советское правительство потребовало от Турции полного нейтралитета и закрытия Проливов.

Сам Молотов заявил, что переговоры все еще идут. Когда я заявил о слухах, согласно которым Англия и Франция намерены напасть на Грецию и пересечь границы Болгарии, чтобы создать

Балканский фронт, Молотов произвольно проронил, что Советский Союз не потерпит давления на Болгарию.

Шуленбург

*Этим номером обозначена инструкция, посланная Шуленбургу в Москву Риббентропом и приведенная в телеграмме к Папену за № 352. (*Прим. сост.*).

Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных дел Германии

Берлин, 5 октября 1939 г.

Секретно! Статс-секретарь, № 786.

Литовский посланник посетил меня этим вечером для того, чтобы, как и ожидалось, сделать запрос о германских притязаниях на полосу территории на юго-западе Литвы. Господин Скирпа, однако, когда он вошел, выглядел дружелюбнее, чем можно было ожидать. Между тем, согласно инструкциям, посланнику Зехлину* в Ковно уже была доставлена информация, и, таким образом, мне не нужно было более углубляться в вопросы, которые ставил господин Скирпа. Я ограничился беглым упоминанием сегодняшних телеграфных инструкций господину Зехлину. Поскольку господин Скирпа выразил мне удовлетворение своего правительства тем, что мы сняли свои претензии, я подчеркнул, что заявление о наших претензиях было "в данный момент неактуально". (Примечательно, что господин Скирпа знал и точно набросал на карте Польши, которая как раз была разложена перед нами, линию, намеченную нами в нашем секретном протоколе с русскими).

Посланник затем информировал меня о том, что русские ожидают заключения с Литвой пакта о ненападении, а также разрешения на размещение русских гарнизонов, соглашаясь в то же время в принципе на присоединение к Литве Вильно и его окрестностей. Господин Скирпа спросил меня, есть ли у меня на этот счет какие-либо мысли или предложения. Я заявил, что не информирован и добавил, что в соответствии с нашими переговорами в Москве,

германские интересы не шли далее известной господину Скирпа русско-германской линии.

В заключение посланник просил дать ему какие-нибудь возможные советы. Господин Урбшис** сегодня и завтра все еще будет оставаться в Ковно; сам он — Скирпа — в любое время в распоряжении Имперского министра иностранных дел.

Вейцзекер

*Д-р Эрих Зехлин, германский посланник в Литве. (Прим. ред. нем. изд.).

**Литовский министр иностранных дел. (Прим. ред. нем. изд.).

Имперский министр иностранных дел — германскому послу в Москве

Телеграмма

Берлин, 7 октября 1939 г.

Срочно! № 518.

Я получил из Стамбула достоверные сообщения о том, что русско-турецкие переговоры все еще могут привести к подписанию пакта о взаимопомощи. Поэтому я прошу Вас немедленно обратиться к господину Молотову и еще раз настоятельно подчеркнуть, как сильно будем мы сожалеть, если советское правительство не сможет отговорить Турцию от заключения договора с Англией и Францией или склонить ее к принятию твердого нейтралитета. В случае, если само советское правительство не сможет уклониться от заключения пакта о взаимопомощи с Турцией, мы заранее придерживались бы того мнения, что оно должно сделать в пакте оговорку, согласно которой пакт не будет обязывать советское правительство к каким-либо действиям, направленным прямо или косвенно против Германии. На самом деле, это обещал сам Сталин. Как уже ранее подчеркивалось, без такого условия советское правительство открыто пробьет брешь в заключенном с Германией пакте о ненападении. В дополнение было бы недостаточно сделать подобную оговорку только подразумеваемой или конфиденциальной. Наоборот, мы должны настаивать на том, чтобы она была формально обусловлена в такой

форме, чтобы *общественность заметила это*. В противном случае у общественности создастся очень неблагоприятное впечатление и подобный акт способен будет пошатнуть уверенность германской общественности в эффективности новых германо-советских соглашений.

Пожалуйста, используйте эту возможность для получения уточняющей информации о состоянии русско-турецких переговоров и выясните, о чем должны договориться два правительства в отношении Проливов.

Сообщите телеграфом.

Имперский министр иностранных дел

Памятная записка

Я сообщил содержание этой инструкции графу Шуленбургу сегодня днем по телефону. Связь была очень хорошей. Граф Шуленбург сообщил, что он только что пришел от Молотова, который сказал ему, что он не беседовал с турецкой делегацией с воскресенья, так что наше предупреждение сделано явно своевременно. Я ответил, что граф Шуленбург, тем не менее, не должен терять времени, поскольку это вопрос чрезвычайной важности, а сообщения, полученные здесь, указывают на довольно далеко зашедшую стадию переговоров*. Граф Шуленбург поэтому намерен посетить Молотова завтра утром.

*Имеются в виду переговоры между Англией и Францией, с одной стороны, и Турцией, с другой. (*Прим. сост.*).

Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел Германии

Телеграмма

Москва, 9 октября 1939 — 00.30. Получена 9 октября 1939 — 3.00. Срочно! № 493 от 8.10.

На Вашу телеграмму от 7-го, № 518.

Этим вечером в 21 час Молотов заявил, что с 1 октября он не встречался с турецким министром иностранных дел и что исход переговоров еще не может быть предугадан. Молотов высказал

предположение, что по всей вероятности пакт о взаимопомощи с Турцией заключен не будет. Но при всех обстоятельствах интересы Германии и особый характер германо-советских отношений будут защищены. Молотов пояснил, что советское правительство ставит своей целью склонение Турции к занятию полного нейтралитета и закрытию Дарданелл, а также к сотрудничеству в деле сохранения мира на Балканах.

Шуленбург

Статс-секретарь германского Министерства иностранных дел германскому посланнику в Хельсинки

Телеграмма

Берлин, 9 октября 1939

Хельсинки

№ 326

В связи с телеграфной инструкцией № 322*.

Финский посланник, который собирается посетить сегодня министерство иностранных дел, получил следующую информацию:

Наши отношения с тремя прибалтийскими государствами покоятся на хорошо известных пактах о ненападении; наши отношения с Данией также. Норвегия и Швеция отклонили наши предложения о пактах о ненападении, поскольку они считают, что мы им не угрожаем и поскольку до настоящего времени они вообще ни с кем не заключали пактов о ненападении. Финляндия, конечно же, имеет такой пакт с Россией, но тем не менее отклонила наше предложение. Мы сожалеем об этом, но были и остаемся при том мнении, что наши традиционно хорошие и дружеские отношения с Финляндией не требуют каких-либо политических соглашений.

Учитывая это отсутствие проблем в германо-финских отношениях, легко понять, почему в своем выступлении 6 октября, касавшемся большей частью наших соседей, фюрер вообще не упомянул Финляндии, точно так же, как он не упомянул многие другие большие и малые государства. Из этого лишь следует, что

между нами нет точек преткновения. В Москве, где в переговорах Имперского министра иностранных дел обсуждалась широкая политическая основа германо-советских отношений и где было положено начало договору о дружбе, была определена хорошо известная демаркационная линия. Германские интересы лежат западнее этой линии; мы сообщили об отсутствии интересов к востоку от нее. Мы, поэтому, не информированы о том, какие требования Россия намерена предъявить к Финляндии. Мы полагаем, однако, что эти требования не зайдут слишком далеко. Только по этой причине германское вмешательство в этот вопрос становится излишним. И после развития указанных выше событий мы во всех случаях вряд ли будем в состоянии вмешиваться в русско-финский диалог.

Вейцзекер

* Не публикуется. (Прим. сост.)

Меморандум статс-секретаря Министерства иностранных дел Германии

Берлин, 9 октября 1939 г.

Статс-секретарь, № 795.

Шведский посланник* посетил меня сегодня для того, чтобы сообщить, что если Россия предъявит Финляндии требования, которые будут угрожать независимости и самостоятельности Финляндии, в Балтийской зоне создастся угрожающая ситуация. Посланник хотел бы уведомить меня о вышесказанном с указанием на тесные отношения, существующие между Швецией и Финляндией. Не следует забывать, что, в противоположность Эстонии и Латвии, в Финляндии есть мощные и энергичные силы, которые не подчинятся русской агрессии.

Я ответил посланнику, что мне ничего не известно о возможных русских притязаниях в отношении Финляндии. Насколько мне известно, слово "Финляндия" не произносилось в связи с визитом Имперского министра иностранных дел в Москву. Ситуация сложилась так, что мы не делаем никаких заявлений о нашей

заинтересованности в районах, лежащих к востоку от хорошо известной линии. Следует, однако, надеяться, что Россия не предъявит Финляндии требований, которые зайдут слишком далеко и что, таким образом, будет найдено мирное решение проблемы.

Вейцзекер

*Арвид Г. Рихтер. (Прим. ред. нем. изд.)

Германский посол в Москве в Министерство иностранных дел Германии

Донесение

Москва, 12 мая 1941 г.

В Министерство иностранных дел. В Берлин.

Секретно!

Содержание: Назначение Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров.

В связи с телеграммами № 1092 от 7 мая, а также со ссылкой на телеграммы № 1113 от 8 мая, № 1124 от 10 мая, № 1115 от 9 мая, № 1120 от 9 мая и № 1137 от 12 мая.

Назначение Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров служит иллюстрацией к настоящему политическому положению Советского Союза. Решение Сталина принять на себя эту должность, которую после большевицкой революции первым занимал В. И. Ленин, имеет особое значение в связи с тем, что Сталин ранее избегал занятия государственного поста. Свое могучее положение в партии и государстве Сталин завоевал исключительно своим личным авторитетом и с помощью преданных ему людей. Никакие проблемы внутренней или внешней политики не могли ранее побудить Сталина к отказу от сохранения индивидуального, характеризующего его положения. Даже когда сталинская конституция, его личный труд, вошла в силу, он, вероятно умышленно, воздержался от занятия высшего государственного поста.

Причины, которые привели Сталина к вынесению этого решения, не могут быть выяснены, например, прямыми вопросами компетентным советским официальным лицам из-за здешних специфических условий. Новый французский посол, не сведущий в этом деле, попытался тем не менее сделать это и задал этот вопрос по случаю своего первого визита к первому заместителю Комиссара иностранных дел Вышинскому, Генеральному секретарю Комиссариата иностранных дел Соболеву и начальнику отдела Кузнецову. Трое запрошенных господ выразились спонтанно и единодушно в том смысле, что назначение Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров является величайшим историческим событием со дня существования Советского Союза. Спрошенные о причинах этого назначения, три господина, после небольшого колебания, заявили, что назначение Сталина было вызвано слишком сильной перегруженностью Молотова. Когда им было указано на несоответствие между причиной и следствиями, запрашиваемые господа не знали более, что ответить.

Не может быть сомнения в том, что принятие на себя Иосифом Сталиным председательствования в Совете Народных Комиссаров представляет собой событие чрезвычайной важности. То, что это событие было вызвано вопросами внутренней политики, как здесь первоначально заявлялось, особенно среди корреспондентов иностранной прессы, я не считаю не соответствующим действительности. Я не знаю ни о каком вопросе, который мог бы в результате внутреннего состояния Советского Союза вырасти до такого значения, чтобы сделать необходимым принятие такой меры со стороны Сталина. Скорее, можно сказать с большой степенью вероятности, что если Сталин решил принять на себя высшую государственную должность, это было сделано по причинам внешней политики. Для того, чтобы навести ясность в специфических обстоятельствах, которые должны были повлиять на решение Сталина, нужно указать на ряд событий, которые имели место в предыдущие дни. Так, всеми было замечено, что на большом первомайском параде советский посол в Берлине Деканозов стоял на правительственной трибуне прямо рядом со Сталиным, справа от него. Возвышение Деканозова должно рассматриваться как особый знак доверия со стороны Сталина. Кроме того, на параде и на большом приеме в Кремле, который затем последо-

вал, приняло участие необыкновенно большое число генералов и адмиралов Красной армии и Красного флота. Наконец, 5 мая выпуск выпускного курса Военной Академии послужил причиной для довольно большой церемонии, на которой Сталин выступил с 40-минутной речью. Поскольку назначение Сталина было объявлено Кремлем 6 мая, очевидно предположение, что беседы с советским послом в Германии и общение с представителями генералов от штаба привели Сталина к решению взять на себя председательствование в Совете Народных Комиссаров. Никакая другая причина, кроме переоценки международного положения на основании германских успехов в Югославии и в Греции и понимание, что это делает необходимым отход от прежней дипломатии советского правительства, приведшей к отчужденности в отношениях с Германией, не может быть указана. Возможно также, что противоречивые мнения, заметные среди партийных политиков и высокопоставленных военных, утвердили Сталина в решении отныне взять управление в свои руки.

Если бросить взгляд на официальные заявления и законы, обнародованные с момента принятия Сталиным должности, которые в известной мере могут быть приняты во внимание, можно сказать, что в первоначально распространяемой иностранными корреспондентами, особенно японским агентством Домей версии, что назначение Сталина легализует существующее положение и что все прочее останется по-старому, было несомненно обойдено существо дела.

Все заявления и законы, о которых идет речь, касаются сферы внешней политики. Сюда включаются: 1. Опровержение ТАСС о якобы сосредоточивающихся на западных границах Советского Союза крупных вооруженных силах и т. д. 2. Закон о восстановлении дипломатических званий (посол, посланник, поверенный в делах). 3. Решение о закрытии посольств Бельгии, Норвегии и Югославии и 4. Правительственное решение об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Ираком.

Обеспечивая им свои собственные интересы, эта манифестация намерений сталинского правительства рассчитана в первую очередь на ослабление напряженности между Советским Союзом и Германией и на создание в будущем лучшей атмосферы. Прежде

всего, это следует из того, что лично Сталин всегда стоял за дружеские отношения между Германией и Советским Союзом.

Само собой разумеется, что здешний дипломатический корпус строит множество догадок о том, что побудило Сталина принять эту конституционную должность в такое время. Примечательно, что предположения расходящихся во мнении кругов совпадают в том, что Сталин ведет политику на сближение с Германией и Осью.

По-моему, можно с очевидностью предположить, что Сталин поставил перед собой политическую цель, представляющую для Советского Союза первостепенную важность, цель, которую он надеется достичь путем своего личного участия. Я твердо убежден, что в международной ситуации, которую он считает серьезной, Сталин поставил своей целью предохранение Советского Союза от столкновения с Германией.

Граф фон дер Шуленбург

Германский посланник в Швеции в Министерство иностранных дел Германии

Телеграмма

Стокгольм, 16 мая 1941 г.

№ 534 от 16 мая.

Я узнал, что здешний посланник советской России, госпожа Коллонтай, сказала на-днях, что никогда в русской истории не было еще такого крупного сосредоточения войск на русской западной границе, как сейчас.

Вид

Три прибалтийских государства в восстании. Литва "свободна", сообщают финны*

Хельсинки, Финляндия, 23 июня. Фактически существующее или надвигающееся восстание в Литве, Латвии и Эстонии, как заявляют сегодня из антисоветских источников, будет угрожать России вдоль ее северо-западной границы. Сообщения о вос-

станции в Литве и призыв к восстанию в Латвии были переданы району Прибалтики литовским радио и германской станцией в Кёнигсберге. Как сообщается, в Латвии введено жесткое советское военное положение.

Согласно сообщению Юнайтед Пресс из Стокгольма, в радиопередаче, вероятно из Каунаса, было сказано, что Литва провозгласила себя независимой.

Эстония, третья небольшая прибалтийская страна, поглощенная Россией прошлым летом, как ожидается прибалтийскими политическими эмигрантами, восстанет с приближением нацистских армий.

Первые слова о восстании против России были произнесены в передаче литовской радиостанции в Каунасе, которая объявила о восстании и сказала, что "фронт литовских активистов" приказал убрать все красные флаги и поднять литовские знамена на официальных зданиях...

Стокгольм, Швеция, 23 июня. Сообщается, что восстание против русского управления распространяется сегодня в трех небольших прибалтийских государствах — Литве, Эстонии и Латвии. В радиопередаче, вероятно из Каунаса, было заявлено, что Литва провозгласила себя независимой.

Хорошо информированные круги заявили, что радиопередача, услышанная в 10.25 утра, провозгласила Литву "свободной и независимой" страной. Провозглашение сопровождалось исполнением литовского национального гимна...

*Опубл. в "Нью-Йорк Таймс", 24 июня 1941 г. Приводится с сокращениями.
(Прим. сост.)

Тафт предупреждает об оказании помощи России*

Вашингтон, 25 июня. Сенатор Тафт, республиканец от штата Охайо, сегодня вечером подверг критике предложение президента Рузвельта оказать России всю возможную помощь и заявил, что "победа в мире коммунизма будет куда более опасна для Соединенных Штатов, чем победа фашизма". Он говорит: "Для Соединенных Штатов это большая опасность, так как это [коммунизм]

ложная философия, прельщающая многих. Фашизм же — ложная философия, прельщающая некоторых”.

*Опубл. в "Нью-Йорк Таймс", 26 июня 1941 г. (Прим. сост.)

Эстонцы подняли восстание, передает Стокгольм*

Стокгольм, Швеция, 22 июня. Сегодня в Эстонии началось восстание против советского контроля над этой крохотной прибалтийской страной.

По сообщению стокгольмского представителя официального русского агентства новостей ТАСС, восстание против Красной армии в Эстонии, готовившееся, видимо, длительное время, сегодня все еще продолжалось до позднего часа. Он сообщил новости, пересланные, как он сказал, из Москвы, о том, что красные войска "успешно дерутся" с восставшими. Ранее в русской коротковолновой передаче было сказано, что восстание, "инспирированное буржуазией", подавлено.

Корреспондент ТАСС привел неподтвержденные сообщения о том, что восставшие заняли несколько небольших вооруженных кораблей в таллинской гавани и обстреливали русские войска в эстонской столице.

*Опубл. в "Нью-Йорк Таймс", 23 июня 1941 г. (Прим. сост.)

Гувер осуждает военную помощь Советам*

Чикаго, 29 июня. Вступление советской России в европейскую войну сыграло злую шутку с аргументами сторонников вмешательства, говорящих, что Соединенные Штаты должны вмешаться в войну для сохранения демократических принципов и идеалов, — заявил сегодня вечером в своем радиобращении к народу Герберт Гувер.

Резко осуждая сталинскую Россию за "самую кровавую

тиранию и ужасы, когда-либо созданные в человеческой истории”, бывший президент говорит, что коммунистический интернационал продолжает вести в мире тайную деятельность, направленную против демократии и что коммунистическая партия в Америке, действуя по приказам Москвы, “вплоть до последней недели” перед нацистско-советской войной пыталась подорвать национальную оборону путем организации забастовок на производственных предприятиях.

“Нет сомнения, мы сдержим наше обещание о помощи России”, — заявил г-н Гувер, указав на недавнюю акцию президента Рузвельта по размораживанию 40.000.000 долларов советского кредита и обещание оказать всю возможную помощь России в ее борьбе против нацистской Германии.

“Если мы пойдем дальше и вступим в войну и победим, тогда мы отвоюем для Сталина власть коммунизма в России и большие возможности для распространения коммунизма во всем мире”, — обвинял г-н Гувер. “Нам следует, по крайней мере, прекратить говорить нашим детям, что они должны будут отдать свои жизни за восстановление в мире демократии и свободы”.

Г-н Гувер призвал церкви страны противостоять оказанию какой-либо правительственной помощи Советской России. Он задал американским прихожанам вопрос: уверены ли они в правомерности предоставления какой-либо помощи Советам, сделавшим своим лозунгом: “Религия — опиум для народа”.

*Опубл. в “Нью-Йорк Таймс”, 30 июня 1941 г. Приводится с сокращениями. (Прим. сост.)

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

VIVE UT VIVAS* — О ШВЕЙЦАРСКИХ И РУССКИХ ШТЕЙГЕРАХ

”Спасибо за тетрадь о прадеде. Орел был! Я бы за такого прадеда дорого дала и много из него сделала. Напишите о нем: *его...* Напишите поэму: ведь Вы умеете писать стихи. Дайте его в ряде видений... Дайте — *деда* и подарите его *мне*”, — восторженно писала Марина Цветаева в одном из своих савойских писем поэту Анатолию Штейгеру 29 июля 1936 г. Речь тут идет, несомненно, о Николаусе Фридрихе фон Штейгере (1729-1799), последнем шультгейсе города Берна и Бернской республики, героически, но безуспешно отстаивавшем старый порядок и независимость Берна от революционной, а затем наполеоновской Франции.

Хотя тетрадь о деде, по-видимому, не сохранилась, и поэму Анатолий Штейгер тоже не написал, он оставил после себя детально разработанную родословную Штейгеров, начиная с XVI века и кончая последними, русскими Штейгерами в XX веке, заметки о Николаусе Фридрихе, библиографические указания¹, свидетельствующие о его кропотливом и настойчивом труде в бернских библиотеках и архивах, а также герб Штейгеров (зарисованный поэтом и его братом) и зарисованную миниатюру штейгеровского памятника в Бернском соборе.

Этот интерес к прошлому много путешествовавшего, тяжело больного и одинокого поэта был, возможно, своего рода романтическим

*”Живи чтобы жить” — девиз на гербе швейцарских Штейгеров.

1. Среди материалов, использованных Анатолием Штейгером в его работе: Berner Taschenbuch, 1853, 1920; Blätter für bernische Geschichte, 1907; 1920; Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. V; E. Gagliardi, Geschichte der Schweiz; B. Haller, Niklaus Friedrich v. Steiger, Bern, 1901; Sammlung bernischer Biographien, herausgegeben vom historischen Verein des Kantons Bern; Schweizerisches Geschlechterbuch, 1907. Любопытно отметить, что Гегель жил в семье Штейгеров в качестве домашнего учителя с 1793 по 1796 год.

отходом от не всегда приятной действительности. Болезнь, Вторая мировая война и ранняя смерть не дали Штейгеру возможности обеспечить себе прочное "место" в эмигрантской русской поэзии². То, что Анатолий Штейгер находил в бернских архивах, давало пищу его чувству "особенности" и исторической избранности. Как швейцарские, так и русские Штейгеры занимали выдающиеся посты в политической жизни Швейцарии (Берна) и России, поддерживая консервативный строй, оставаясь верными своим убеждениям даже в минуты трагических переворотов и политических крушений, как, например, вторжение Наполеона в Швейцарию в конце XVIII века и русская революция 1917 г.

Швейцарская родословная "черных" (в отличие от "белых") Штейгеро³в охватывает, по данным, собранным поэтом, более четырехсот лет, и берет свое начало от Ганса Штейгера, или Штегера, портного, бернского бюргера и владельца дома и двора в 1542 году. Уже его сын, Ганс Рудольф (р. 1575), поднимается выше в социальной иерархии: будучи нотариусом, он становится членом Большого совета города Берна в 1597 году, а в 1618 году — членом Малого совета (сенатором). Со времен Ганса Рудольфа семья Штейгеров разделяется на две главные линии, идущие от его сыновей Авраама и Эммануила. Представители обеих линий часто переходили на разные иностранные службы: австрийскую, венецианскую, неаполитанскую, голландскую, французскую. Один из потомков Эммануила, Людвиг Рудольф, переехал в Соединенные Штаты Америки и был в 1867 году адмиралом американского флота. Его потомки, по всей вероятности, еще проживают в Америке. Со времени вступления Ганса Рудольфа в Малый совет, т. е. с 1618 года и до конца Бернской республики в 1798 году, члены семьи Штейгеров были представлены в обоих советах и играли ведущую роль в бернской политической жизни.

Три шультгейса особенно содействовали славе семьи Штейгер. Кристоф I (1651-1735), богослов, получивший образование в Лозанне и Орлеане, был шультгейсом города Берна и Бернской республики с 1718

2. Признание таланта А. Штейгера пришло после издания его последнего, посмертного сборника "2 x 2 — 4", Париж, 1950, переизданного в издательстве "Руссика" (Нью Йорк, 1982).

3. "Белые" Штейгеры происходили из юго-западной части Швейцарии, из кантона Валэ.

года до 1731-го. Со времен Кристофа I, все Штейгеры этой ветви имели баронское звание⁴. Кристоф II (1694-1765), сын первого шультгейса, сам стал шультгейсом в 1747 году, и пробыл на этом посту до 1758 года. Русские Штейгеры — прямые потомки этой ветви.

Но самым выдающимся из шультгейсов в роде Штейгеров был, бесспорно, Николаус Фридрих, получивший блестящее образование при педагогическом училище (педагогиум) и гимназии в Галле-на-Заале, и пополнивший его дальнейшими путешествиями по Германии и занятиями в Утрехтском университете. При слабом, болезненном теле, Николаус Фридрих обладал сильным и неутомимым духом, был глубоко религиозным человеком, умел влиять на людей и подчинять их своей воле. Он был известен не только в Швейцарии, но и европейским дворам. Швейцарский историк Иоганнес фон Мюллер (1752-1809) назвал Штейгера "самым великим, прозорливым государственным деятелем всей Швейцарии"; французский генерал маркиз де Буйэ, известный своей попыткой спасти Людовика XVI-го, отзывался о Николаусе Фридрихе, как об "одной из лучших политических голов Европы"; Жан-Франсуа Лагарп, либеральный литературный критик, писатель и воспитатель будущего императора Александра I-го, хотя и считал Штейгера врагом, но в то же время отзывался о нем как о благородном и великодушном человеке. Баронесса фон Крюденер в романтическом отрывке воспела "почтенного и доблестного Штейгера", как лучшего представителя героического швейцарского народа, борющегося за свою свободу.

После возвращения из Голландии в Берн в 1754 году молодой Николаус Фридрих сразу же занял высокие административные посты, а впоследствии, в 1787 году, стал последним шультгейсом города Берна и Бернской республики. Николаус Фридрих осознал с самого начала опасную взрывчатую силу французской революции. Еще в 1790 году он послал дипломатические ноты князю Кауницу в Вену, графу Герцбергу в Берлин, а также посланникам в Лондон и Турин, указывая на опасность, грозящую всей Европе. Хотя Штейгер и полагал, что революция была послана Европе Провидением в наказание за отход от нравственных принципов, он считал своим долгом бороться с ней. Идеи революции, как и экспансионистская политика Наполеона отразились и на

4. В 1714 г. прусский король Фридрих Вильгельм возвел шультгейса Кристофа I за его заслуги в потомственное баронское звание.

Швейцарии. Сепаратистские движения в стране получали поддержку со стороны Франции, а некоторые области (Базель, итальянские области Вальтеллина, Кьявенна, Бормио) были заняты наполеоновскими армиями. В то время как шультгейс Николаус Фридрих настаивал на объявлении Франции войны, другие города во главе с Цюрихом желали сохранить нейтралитет. 5-го марта 1798 года произошла решающая битва между французской и бернской армиями около Граугольца, окончившаяся поражением бернцев. 69-летний шультгейс принимал активное участие в военных действиях. С трудом избежав убийства пьяной и враждебно настроенной милицией, старый шультгейс бежал за границу. В Ульме Николаус Фридрих получил приглашение как от австрийского императорского, так и от прусского королевского дворов. Английский уполномоченный предоставил в его распоряжение 1000 фунтов стерлингов и обещал кредит в любое время. Однако, все попытки Николауса Фридриха Штейгера добиться единогласия и энергичной помощи от союзников — Пруссии и Австрии — не увенчались успехом. Хотя австрийская армия в 1799 году вошла в Цюрих, следующая битва была проиграна, и старый шультгейс должен был покинуть Швейцарию вместе с австрийцами. Вскоре он умер (3-го декабря 1799 года) в Аугсбурге, "с горя", как пишет его биограф⁵. Похороны последнего шультгейса были исключительно пышными: английский и русский посланники отдали своему политическому союзнику военные почести; в похоронах участвовали и все союзные армии (включая русские полки под командованием фельдмаршала Суворова) и вся знать города и окрестностей. Только шесть лет спустя, в 1805 году, останки Николауса Фридриха были торжественно перенесены в Бернский собор, в т. н. штейгеровскую часовню. За 455 лет это — единственный случай нарушения постановлений реформационных времен, запрещающих погребения в соборе.

История русских Штейгеров намного короче. Какие причины побудили Фридриха Рудольфа фон Штейгера (1787-1864), одного из правнуков шультгейса Кристофа II, переселиться из Берна в Россию, остается неизвестным. Возможно, что тут сыграли роль два фактора: конец аристократической олигархии в Берне и ухудшение экономического положения Швейцарии после падения Наполеона. Высокие тарифы со

5. B. Haller, Niklaus Friedrich v. Steiger, Bern, 1901. S. 226.

стороны Франции и Австрии, общая слабость европейского рынка и все растущая конкуренция Великобритании на всемирном текстильном рынке могли привлечь взоры предприимчивого швейцарца к экзотической, богатой России. Известно, что побывав на Ярославской выставке, примерно в 1815 году, Фридрих Рудольф переселился со своей семьей в Россию, где достиг чина статского советника. Его сын, Август Эдуард (1819-1879), дед поэта Анатолия Штейгера, был многие годы директором русской пароходной компании на Черном Море. От брака с француженкой у него было четыре сына, все военные, и одна дочь. Сыновья были приняты в высшие русские аристократические круги: например, Анатолий Штейгер (1862-1915), камергер, женился на дочери морского министра Чихачева; Николай Штейгер (р. 1865 г.) был женат на фрейлине императрицы Марии Федоровны. Отец поэта, Сергей Штейгер (1868-1937), был адъютантом при одесском генерал-губернаторе, графе Мусине-Пушкине. Сергей Эдуардович состоял в свите графа во время длительной дипломатической поездки, был награжден многочисленными орденами. После ранней и трагической смерти своей первой жены и второго брака, Сергей Эдуардович вышел в отставку в чине полковника и поселился в одном из своих поместий, Николаевке Каневского уезда. Там он занялся земской деятельностью, был избран почетным судьей и предводителем дворянства Каневского уезда, а с 1913 года стал членом Государственной Думы.

Революция 1917 года означала для Штейгеров (как и для многих других) конец целой эпохи, потерю имущества, угрозу смерти. Сергей Эдуардович бежал в 1919 году с семьей из Одессы в Константинополь, а когда год спустя генерал Деникин обратился к нему с просьбой помочь Белому движению, он вместе с семьей еще раз вернулся в Одессу. Но ход событий нельзя уже было остановить, и второе бегство, описанное Анатолием Штейгером в своих воспоминаниях, оказалось еще более драматическим и опасным, чем первое. В Константинополе бывший член Государственной Думы был принужден работать носильщиком — судьба, знакомая многим послереволюционным эмигрантам. Затем последовало девятилетнее пребывание в Чехословакии, где Сергей Эдуардович работал при русской гимназии в Моравской Тршебове, чтобы обеспечить образование своим детям. Только в 1931 году, за шесть лет до своей смерти, он вернулся с женой и детьми в Берн, город своих предков, который был ему, безусловно, чужд. Для него, как и для его детей, Россия была родиной, русский язык — родным языком, вер-

ность монархическим традициям — неотъемлемой политической позицией. И Анатолий Штейгер и его сестра Алла Головина стали выдающимися молодыми поэтами (Алла Головина писала и прозу) первой русской эмиграции⁶. Почти все другие русские Штейгеры — многие из них военные — погибли во время революции и гражданской войны.

На бернском кладбище есть могила с памятником русским Штейгерам. Там покоится прах Сергея Эдуардовича (ум. 1937), его жены, Анны Петровны (ум. 1967), сына, поэта Анатолия (ум. 1944) и племянника, Владимира Николаевича, погибшего в румынской тюрьме в 1950 году. Православный бернский священник о. Владимир освятил семейную могилу в 1983 году.

Маргарита Дальтон

6. Только во втором поколении немецкий язык вошел в свои права: сын Аллы Головиной, Сергей Александрович Головин, писатель-прозаик, проживающий в Швейцарии, пишет на немецком языке. Среди его произведений: *Ilja von Murom*, Bern 1959; *Adrian von Bubenberq*, Bern, 1976; *Frei sein wie die Väter waren*, Bern 1979; *Hausbuch der schweizer Sagen*, Wabern 1981.

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. А. Кривошеина, Четыре трети нашей жизни. Всероссийская Мемуарная Библиотека, основана Солженицыным. ИМКА-Пресс, Париж. 1984 (284 стр.).

У большинства старых эмигрантов, родившихся в России, переживших революцию и ужасы самой кровавой в истории человечества гражданской войны для того, чтобы попасть на чужбину и вкусить там прелести Второй мировой войны, есть что рассказать. На эти темы написана не одна книга.

Однако, мало кто среди этих эмигрантов не только пережил вышеупомянутую эпопею, но к тому же попал затем в ловушку кремлевской пропаганды, обогатив свой житейский опыт добровольным возвращением на "родину", открытием дьявольской сущности советского "рая" и, наконец, чудотворным образом вернулся в "родной" Париж. Подавляющее большинство так называемых "возвращенцев" или "реэмигрантов" конца 40-х годов бесследно исчезли в лагерях и захолустьях "самой вольной страны в мире". Некоторые, правда, вроде бывшего сотрудника "Возрождения" Любимова написали казенные мемуары, обливая помоями своих бывших друзей по эмиграции и приютившие их когда-то страны и воспевая, как положено, большевицкий строй, его гуманность и его достижения.

Поэтому воспоминания Нины Алексеевны Кривошеиной (увы, незаконченные) являются ценнейшим свидетельством: их автор, пережив весь цикл хождения по мукам, с 1919 по 1974 год (из коих 27 лет в советском "раю"), сумел описать свой жизненный опыт талантливо, правдиво и без малейших прикрас. Талант писателя-рассказчика у покойной Нины Алексеевны Кривошеиной столь бесспорен, что даже читатель, не разделяющий ее бывших убеждений, захлебываясь, переживает ее крестный путь, искренне сожалея, что мемуаристу не удалось закончить повесть о "четвертой трети ее жизни".

Воспоминания Н. А. Кривошеиной делятся на "краткое слово от автора"; введение, посвященное ее отцу, А. П. Мещерскому; три части, и послесловие ее супруга — Игоря Александровича Кривошеина. Авторское слово завершается цитатой из английского писателя Ивлина Во: "Если ты потерял интерес к будущему, значит, ты достиг возраста, когда можно писать автобиографию". Такого возраста Н. А. Кривошеина достигла, но, увы, ей не привелось ни довести свою повесть до "тихого парижского пристанища", ни держать в руках печатный экземпляр своего литературного детища.

В довольно пространным, но без лишних длиннот введении автор знакомит нас с ее покойным отцом, А. П. Мещерским, крупным русским промышленником, скончавшимся в 1938 г. в Париже, "в сущности, не пережив Мюнхенских событий".

Первая часть. "Россия, 1895-1919". Н. А. Кривошеина описывает свои детство и юность, причем без малейшей слащавости. Детство было французским из-за мадемуазель Эммы, швейцарки из Невшателя, и прошло, за исключением коротких поездок во Францию, в директорском доме при заводе близ Нижнего Новгорода. Затем семья переехала в Петербург, где поселилась на Кирочной 32, и Н. А. со старшей сестрой были записаны в гимназию княгини Оболенской.

Когда же настало время поклонников, в ее юной жизни видное место занял молодой музыкант с блестящим будущим... Сергей Прокофьев, мечтавший увезти ее за границу — чему помешали родители Нины Алексеевны, считавшие композитора "неподходящей партией".

Война, революция, первый неудачный брак и бегство по льду в Финляндию в декабре 1919 года завершают русский период жизни автора.

Вторая часть. "Франция, 1919-1948" делится на три главы. Две первые главы, охватывающие период 1919-1945 годов, отличаются от большинства подобных воспоминаний живостью повествования, но, помимо описания изнутри движения "младороссов", в котором Н. А. играла активную роль, особо оригинальных подробностей не содержат.

В 1924 г. Нина Алексеевна вышла вторым браком за Игоря Александровича Кривошеина, сына известного царского министра. Эвакуировавшись с войсками генерала бар. Врангеля, Игорь Александрович добрался до Парижа, где выбился в люди, окончив Физико-математический факультет, а затем Высшее Электротехническое училище, что помогло ему стать в 30-е годы старшим инженером на заводе под Парижем.

В 1934 году у них родился сын Никита, и жизнь четы Кривошеиных наладилась вполне счастливо и благоустроенно, пока, после тревог 1938 года, не разразилась война, с ее длинным прологом и драматическим завершением. После разгрома Франции потянулись тяжелые годы немецкой оккупации. И. А. Кривошеин занялся в это время социальной деятельностью, а затем счел своим долгом принять активное участие в Резистансе. Незадолго до освобождения Парижа он был арестован немцами и отправлен в Германию, в Бухенвальдский концлагерь, откуда ему удалось вернуться в жалком, правда, виде весной 1945 года.

Третья глава второй части — “Смутное время”, является описанием предверия ада. Герой Резистанса, кавалер ордена Почетного Легиона Игорь Александрович Кривошеин и русская патриотка Нина Алексеевна очарованы удавом советской пропаганды. Офицерские погоны, гвардейские части, советский гимн вместо Интернационала, министры вместо “наркомов”, послы вместо “полпредов” и т. п., героические подвиги под Москвой и в Сталинграде воспринимаются ими как признаки полного обновления советского строя, торжества русского духа над большевицким интернационалистическим бредом. Кривошеины, как, увы, довольно порядочное число других эмигрантов, берут советские паспорта и принимают участие в разных “патриотических” манифестациях. Их вельможно принимает советский посол в Париже Богомолов и им почти удается — о счастье! — узреть самого Молотова. Одурманенные, они не отдают себе отчета в том, что Возлюбленный Отец Народов отнюдь не сгорает от нетерпения увидеть их на родине. У него другая задача: подорвать и окончательно дискредитировать русскую эмиграцию.

Между тем Западные державы постепенно обнаруживают для себя истинную сущность их “верного” союзника. Наступает т. н. “холодная война”, и французские социалисты в лице министра внутренних дел Жюля Мока принимают решение выслать “домой” “советских патриотов”.

Третья часть. “СССР, 1948-1974”. Это — самая страшная и оригинальная треть жизни супругов Кривошеиных.

В советский “рай” семья попадает в два приема. Высланный из Франции 25 ноября 1947 года, Игорь Александрович Кривошеин сначала попал в Бранденбург и в этом “чистилище” пробыл около трех месяцев. После чего он волею судьбы... и так называемого “Переселенческого Отдела” оказался в Симбирске, или как теперь полагается гово-

рять, Ульяновске.

Что же касается Нины Алексеевны и Никиты, то им пришлось "хлопотать", и после обморока в кабинете советского консула в Париже и других "хлопот" попасть, 20 апреля 1948 года, на борт электрохода "Россия". Заманчивое название, качество пищи, изумительно приятные условия плавания превратили это преддверие ада во временный рай.

Встреча с действительностью началась лишь в Одессе. Первые чекисты, карантин в репатриационном лагере Люстдорф, где счастливые возвращенцы содержались рядом с пленными "немецкими фашистами". Последнюю тысячу километров, из Одессы до Симбирска, пришлось ехать в теплушке, не спеша, с остановками на сортировочных станциях. В "Ульяновске", где их встретил Игорь Александрович, мать и сын открыли для себя повседневную жизнь советского провинциального города. После пребывания в гостинице... "Россия" (с огромными крысами), Кривошеины получили комнату в коммунальной квартире на улице Рылеева. Их соседи, некие Романовы, стукачи, типичные зошенковские герои, не получив от Кривошеиных ожидаемой "Въездной взятки", лзляли их под надзор.

Первый год проходит относительно сносно. Игорь Александрович работает инженером на заводе, Нина Алексеевна преподает в пединституте английский и немецкий языки, а Никита учится в школе в здании бывшей гимназии, той самой, что окончил Ленин!! Однако, это не значит, что "органы" их оставили без внимания. В Москве, на Лубянке, не спеша подготавливается дело Кривошеина И. А. Наконец, 20 сентября 1949 года товарищи из ГБ являются, чтобы "задержать" потенциального западного шпиона.

В этот трагический день Кривошеины, наконец, открывают для себя подлинное лицо советского "рая". Причем самая тяжелая участь постигает не зэка И. А., а его жену и сына.

На Лубянке, в "Круге Первом", куда он попадает после Солженицына, и в лагере в Тайшете, Игорь Александрович, как бы тяжело ему не приходилось, находится все же в привычной обстановке: ведь он уже пережил прелести Бухенвальда. Жизнь его налажена, его никто не боится и не презирает, его более или менее кормят и даже — не бьют.

Зато "на воле", в бывшем Симбирске, Нина Алексеевна и Никита живут в одном из последних кругов советского ада. Никите приходится покинуть "ленинскую школу" и, работая днем на заводе, учиться на вечерних курсах. А жене "врага народа" открываются все ужасы

нишеты, холода, голода и человеческой подлости.

Но свет не без добрых людей. И Нина Алексеевна находит таких добрых людей, вроде Ольги Петровны и Александра Александровича Любишевых, у которых бывает и Н. Я. Мандельштам. А. А. Любишев, профессор местного университета, устраивает Н. А. кое-какие временные подработки.

В июле 1952 года, окончив вечернюю школу, Никита Кривошеин отправляется попытать счастья в Москве и с большими трудностями попадает на факультет французского языка. Жизнь снова как-то налаживается, тем более, что в Москве находится родственник Нины Алексеевны, Владимир Николаевич Беклемишев, академик, крупный ученый.

В октябре 1952 года и сама Нина Алексеевна приезжает в Москву, где добивается свидания с мужем в Бутырской тюрьме. Ее также принимает митрополит Крутицкий Николай. Он обещает ей помочь... но без последствий.

Подходит 1953 год. В Москве затевается "дело врачей", того и гляди начнется новая волна чисток. И вдруг — невероятная, счастливая новость — смерть "любимого", "великого", "Отца Народов".

Но это еще не означает конца мукам. Хотя очень скоро выясняется, что Берия — давнишний западный шпион, зэки по-прежнему сидят, а И. А. Кривошеина из Марфина вновь отправляют в Тайшет.

И опять новый год, 1954-ый... и лишь 20-го января — телеграмма из Москвы: "Папа сегодня прибыл Лубянку. Пересмотр дела начнется немедленно. Завтра свидание. Письмо следует. Никита".

На этой счастливой новости заканчиваются воспоминания Нины Алексеевны Кривошеиной, скончавшейся в Париже 29 сентября 1981 года.

В своем послесловии Игорь Александрович Кривошеин вкратце дополняет "четвертую" треть жизни четы Кривошеиных. И опять становится бесконечно грустно, что не успела талантливая рассказчица довести до конца свою повесть.

М. В. Гардер

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА В США. ЗАПИСКИ. ТОМ XVI. (Тургеневский сборник, 1818-1883). Нью Йорк, 1983. 6+399 стр.

Свой очередной сборник за 1983 год (том XVI) Русская академическая группа в США посвятила Ивану Сергеевичу Тургеневу по случаю столетней годовщины его смерти.

Этот труд (свыше 400 страниц) содержит работы двадцати четырех авторов. Шестнадцать статей написаны по-русски, семь — по-английски и одна — по-французски.

Открывается сборник статьей Елены Мучнич, обрисовывающей облик Тургенева, его этическое и эстетическое мироощущение. Эстетики Тургенева касается Чарльз А. Мозер. В обстоятельной статье он разбирает ряд тургеневских произведений, отношение Тургенева к другим литераторам и его оценку их творчества. На основании высказываний самого писателя, Мозер подчеркивает непоколебимую верность Тургенева принципам красоты и правдивости в искусстве.

В статье Н. Полторацкого "П. Б. Струве и И. С. Тургенев" говорится о восприятии Струве философских и политических идей Тургенева. Мы знакомимся здесь не только с некоторыми взглядами Тургенева, но и с личностью самого Струве, равно как и с эволюцией и развитием его политического и философского мировоззрения.

Тургеневу-драматургу посвящены две статьи — Ричарда Фридборна и Алексея Гедройца. Статья Фридборна носит обзорный характер, в то время как Гедройц сосредотачивается на пьесе "Месяц в деревне". Тщательно проанализировав пьесу, он указывает, что по всему своему настрою тургеневская драматургия близка драматургии чеховской, вполне естественно и закономерно проложив путь к последней.

Снабдив свой текст многочисленными цитатами из разных источников, Калерия Яворская останавливается на критических суждениях Тургенева о литературе и литераторах, в основном, его современниках. Так, например, Тургенев обрушивается с резкой критикой на Виктора Гюго и Эмиля Золя, но в то же время дает высокую оценку Гюставу Флоберу. По поводу положительного отзыва Тургенева о Флобере Калерия Яворская говорит: "Пожалуй, выше всех во французской литературе Тургенев ценит Флобера, потому что тот стоял ближе всего к самому Тургеневу по своему объективизму".

О "мистических" повестях Тургенева пишет Надежда Натова. На материале двух повестей — "Песнь торжествующей любви" и "Клара Милич" — Натова показывает связь этих произведений со всем творчеством Тургенева; вместе с тем, эти вещи отражают особые, интимные переживания писателя.

Две работы касаются извечно спорной темы — взаимоотношений Тургенева и Достоевского. В своей статье Н. В. Первушин не осуждает

ни того, ни другого. Он разбирает причины, вызвавшие взаимную неприязнь писателей, указывая прежде всего на то, что Тургенев и Достоевский были людьми разными — по воспитанию, манерам, характеру, вкусам. Но антипатия Достоевского к Тургеневу в первую очередь объясняется, по мнению Первушина, идейным расхождением между ними "по самому больному для Достоевского вопросу о России и ее народе".

Другая работа на ту же тему — это печатающаяся впервые на русском языке глава из написанной по-французски книги Любови Федоровны Достоевской, дочери писателя. Как отмечает в предисловии к этой главе Надежда Жернакова, здесь "мы находим весьма субъективное и одностороннее изложение вражды между писателями, причем вражды, о которой Л. Ф. Достоевская могла знать только понаслышке". Тем не менее, продолжает Жернакова, "глава из воспоминаний Л. Ф. Достоевской печатается как исторический документ, чтобы в какой-то мере дополнить пробел, допущенный в исследовательском материале о Тургеневе и Достоевском".

В статье Мишеля Кадо рассказывается о роли, которую сыграли Тургенев и Луи Виардо в деле распространения и популяризации русской литературы во Франции. А. А. Иванов-Натов подробно описывает Тургенева-общественника, касаясь, главным образом, его деятельности, связанной с Литературным Фондом.

Одним из доказательств возродившегося или растущего интереса к Тургеневу на Западе служит отчет Александра Звигильского о публикациях французской Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран. Эта ассоциация, основанная в Париже в 1977 году, выпускает научный журнал на французском языке. В этом журнале, или "Тетрадах", печатаются неизданные материалы о Тургеневе и его современниках, этюды о его жизни и творчестве. Другое доказательство пробудившегося интереса к Тургеневу — сообщение Екатерины Филипс-Юзвиг с приложенным к нему списком двадцати пяти посвященных Тургеневу докторских диссертаций, написанных в США и Канаде. Из этих двадцати пяти диссертаций двенадцать приходятся на семидесятые годы и девять — на шестидесятые. Первая написанная в США диссертация о Тургеневе была защищена в 1932 году. К сборнику приложен перечень англоязычной литературы о Тургеневе, изданной с 1965 по 1980 год и насчитывающей около ста названий. В сборнике

также помещен весьма обширный перечень выступлений и публикаций членов Группы за 1979-1982 гг.

Надо надеяться, что этот сборник, почти целиком посвященный великому мастеру русского языка, вызовет живой отклик у живущих на Западе почитателей Тургенева и русской литературы и найдет своего читателя на родине великого писателя.

Шестнадцатая, тургеневская книга "Записок" Русской Академической группы в США вышла под новой редакцией в составе профессора Н. Жернаковой (главный редактор), профессоров А. Е. Климова и Е. Л. Магеровского.

Н. Моравский

Юрий Ветохин. Склонен к побегу. Сан Диего, 1983. 545 стр.

Ю. А. Ветохин — уроженец Петрограда, получивший там среднее образование и окончивший Военно-Морское училище — бывший Морской корпус Императорского флота на Васильевском острове.

Книга Ветохина близка мне по теме и потому, что он — уроженец того же города — бывшего Петербурга, — мой земляк.

Верующая православная мать Ветохина дала ему основы религиозного воспитания — редкость в те годы в Советской России; отец его, ученый-агроном, успешно работал в Узбекистане, позже вернулся в Петроград.

Еще будучи подростком, он пережил начало осады Петрограда в 1941 и 42 годах. Его родители погибли от голода, дядя спас его, отправив по известной Ледяной дороге через Ладожское озеро. Мне тоже пришлось пережить месяцы блокады, до февраля 1942 г. Не буду писать сейчас, кто из моей семьи умер тогда от голода, и также не буду объяснять, какие чрезвычайные решительные шаги я предпринял, чтобы спастись от голодной смерти и сохранить жизнь жене, матери и дочери.

Первый свой отъезд "навсегда" из Петрограда автор описывает так: "Утром я поехал во Владимирский собор... после службы приложился к иконе Казанской Божьей Матери", на самолете записался под именем Николаева и исчез со своей службы без следов. Его первая попытка бегства: плыть из Батума на далеком расстоянии от берега и, проплыв границу, выйти на берег в Турции. Он сел в Сочи на пароход "Россия" и прибыл в Батум. Шел по городу и повторял слова Есенина: "Прощай Батум, тебя я не увижу...". Был 1963 год.

Ветохин описывает "как темнеет в Батуме быстро, где стоят яркие прожекторы, как волна накатывается на галечный пляж" и как, наконец "когда волна накрыла меня, я нырнул и, сколько позволяло дыхание, плыл под водой". Так он покинул советский берег. Автор — превосходный пловец-профессионал, он был способен, благодаря своему умению и силе, проплыть десятки верст. Вблизи границы было сильное встречное течение. Он плыл всю ночь, но его отнесло назад, так что утром он оказался не к югу, а к северу от Батума, вышел из воды и чудесным образом, после 8 дней заключения, доказал, что он плавал для тренировки, но не бежал. Автор вернулся в советский Петроград. Нашел новую работу.

Второй свой побег Ветохин намечал из Крыма через все Черное море в резиновой лодке, которую он должен был тащить с собой в сложенном виде. Был 1967 год. 11 июля он отплыл, тоже ночью. "Луна погасила многие звезды, но яркая красная звезда из созвездия Скорпиона... у самого горизонта, точно на юге, была видна. Я поплыл прямо на нее и плыл так всю ночь". "И я плыл и плыл... берег был далеко", только "в Феодосии крошечными точками намечались многоэтажные дома". Казалось, что автор уже в безопасности. "Если бы в тот момент на море был хотя бы небольшой шторм — мою лодку могли не заметить", но случилась беда. "Передо мной стоял военный корабль". "Что вы делаете в лодке?" — спросил меня капитан". На этом кончился второй побег Ю. А. Ветохина, последствия которого принесли ему много страданий.

После скитаний по тюрьмам и жестоких допросов, автора признали душевнобольным с диагнозом "склонен к побегу". Во многих главах автор описывает спецпсихбольницу в городе Днепропетровске. Ценность этих описаний — большая точность и одновременно простота. Описано принудительное "лечение" таблетками, которые "больной" обязан проглотить на глазах у изувера-врача, "лечение" вредоносными уколами серы, инсулина, аминазина и других труднопроизносимых ядов, после которых человек теряет сознание, испытывает сильные боли, лишается способности ходить. Описаны смерти, болезни, избиения, описаны хорошие порядочные люди и воры, упоминается и "привилегированный больной из диссидентов". Эти главы более трагичны, чем "Записки из мертвого дома". Они — первое точное свидетельство "непривилегированного больного" в спецпсихбольнице советского КГБ. Приводятся не злые, но убийственные характе-

ристики женщин-"врачей" и "врачей-начальников".

Ю. А. Ветохин просидел 8 лет в страшной Днепропетровской спецпсихбольнице. Наконец, 23 сентября 1975 г. состоялась очередная комиссия по выписке больных. "Она прошла, как по нотам". Автор решил отвечать то, что с него требовали: "меня лечат", "я в больнице", а раньше называл больницу концлагерем, потому "что тогда я был болен". И его выписали. В марте 1976 г. его отправили в советский Петроград в "вольную" больницу, и 15 сентября 1976 года освободили.

Началась новая жизнь с новыми скитаниями, но он получил право жить в Петрограде. Работал грузчиком в советской "столовке" — ресторане, зато был вполне сыт. Ю. А. Ветохин стал вновь готовиться к побегу. Он стремился получить билет на экскурсию на пароходе, идущем зимой из Владивостока в теплые моря. Билет дорог, получить его трудно. Автор зарабатывает деньги тем, что ездит собирать грибы в дальних окрестностях под Петроградом. Он продает грибы на базаре и накапливает значительную сумму денег для покупки билета.

Наконец, с экскурсией он летит самолетом до Владивостока и оттуда отплывает на теплоходе "Ильич" немецкой постройки. Удивительно, что КГБ проглядело пассажира, "склонного к побегу". В нескольких драматических главах автор описывает свою подготовку к прыжку с парохода в море около берегов Индонезии.

"9-го декабря 1979 года был последним днем, когда наше судно находилось на экваторе". Этот день автор "назначил днем своего побега".

Он "запер дверь каюты... встав на стул, просунул в иллюминатор правую ногу, затем левую и тут же оказался за бортом". "Я висел на руках, держась за край иллюминатора... и, сильно оттолкнувшись руками и ногами, полетел вниз... Перед моими глазами быстро проплыла и удалилась ярко освещенная корма судна". Расстояние до берега превосходило сотню верст. Ю. А. Ветохин добрался до острова Бацан в Молуккском море в крайнем изнеможении. Его спасению, встрече с жителями и властями Индонезии посвящены дальнейшие превосходные главы книги.

Книга заканчивается размышлениями автора на религиозные и политические темы — весьма интересными. Он также пишет о будущей России, об идеях борьбы с советской властью и о возмездии тем, кто организовал страдания русского народа.

В книге 545 страниц, прекрасный твердый переплет, интересные

многочисленные рисунки, весьма отчетливый шрифт и превосходная бумага

Книгу можно приобрести по адресу:

Y. Vetokhin

P. O. Box 16084

San Diego, Ca 92116

Б. Бровцын

Мстислав Добужинский. Живопись. Графика. Театр. Альбом. Автор текста и составитель А. П. Гусарова. Оформление художника И. Б. Кравцова. Издательство "Изобразительное Искусство". 1982. Москва.

Прошло 25 лет со дня смерти М. В. Добужинского и только теперь появилась в Москве книга-альбом, посвященная его творчеству. Замалчивание работ художников круга "Мир Искусства", одним из деятельных членов которого был Добужинский, сменилось в СССР в последние годы признанием плодотворного влияния таких мастеров, как Александр Бенуа, Сомов, Бакст, Добужинский и др.

Книга-альбом "Мстислав Добужинский" снабжена большим числом репродукций с работ художника, как цветных, так и черно-белых. Среди репродукций много работ раннего периода, довольно малоизвестных. Удивляет выбор иллюстраций и их расположение на страницах книги — то посередине страницы, то сбоку. Совсем непонятно отсутствие таких типичных для Добужинского работ, как вся серия литографий "Петербург в 1921 году". Не репродуцирована также иллюстрация "Дуэль Ленского и Онегина" — одна из лучших иллюстраций к "Евгению Онегину". Нет также портретов отца, композитора Н. К. Метнера, Евг. Замятина, Шаляпина и др. В свою очередь, можно было смело не включать в альбом целый ряд репродукций, ни в какой степени не поясняющих художественное лицо М. Добужинского. Ни разу не упомянуты "Воспоминания" М. Добужинского, изданные еще в 1976 г. в Нью-Йорке, эти ценные свидетельства самого художника о своей жизни. Эти книги имеются в Третьяковской Галерее и в Русском Музее.

Что касается текста книги, то тут присутствуют явные недомолвки. Отчего надо было скрывать, что мать художника — дочь новгород-

ского священника, а отец — генерал русской службы? Все детские и юношеские впечатления от Новгорода и Петербурга опущены, и обзор художественной деятельности начинается только с Мюнхена. Понятно, что по условиям советской жизни надо было специально подчеркнуть "революционность" Добужинского в эпоху 1905 года, но, уехав из России в 1924 г., Добужинский, несмотря на трудности эмигрантской жизни, не пожелал вернуться в СССР, а на уговоры А. Н. Толстого отвечал: "У вас там начальства много, а я начальство не люблю".

Все же в целом надо поблагодарить автора за желание насколько возможно познакомить современных советских людей с творчеством большого художника нашего времени, но в то же время пожалеть, что многое и весьма значительное из творчества М. Добужинского не попало в изданную книгу-альбом.

Е. Климов

С. Н. Левандовский. Митрофан Борисович Греков. 1882-1934. Издательство "Художник РСФСР", Ленинград, 1982.

Небольшая книжка в 100 страниц рассказывает о жизни и работах донского казака, художника М. Б. Грекова, известного советского батального живописца, главные работы которого посвящены гражданской войне на юге России. Еще юношей попадает он в Одесскую Художественную Школу, где друзьями его становятся известные впоследствии художники — Бродский, Анисфельд, Сорин, Колесников, Шилинговский и др. Потом он учится в Академии Художеств, сначала в мастерской Репина, а затем в батальной мастерской проф. Рубо. Он окончил Академию в 1911 году, помогал потом проф. Рубо в работах по созданию панорам "Бородинская битва" и "Севастопольская оборона", а сам мечтал в конце жизни написать панораму "Взятие Перекопа".

Особенно известны его картины "Трубачи Первой Конной Армии" и "Тачанка". Как казак, он хорошо знал и любил лошадей и это сказалось на его картинах. Ему удалось показать безудержный бег коней в схватках с неприятелем как в зимнюю пору, так и летом при палящем солнце. Греков говорил, что надо непременно побывать в шкуре военного человека, понюхать пороху. А самое главное, надо ближе узнать народ на войне, почувствовать его дух. В качестве сюжетов Греков

выбирает кульминационные моменты сражений — штурмы, атаки, приступы. Его занимает азарт погони, ожесточение боя. Хоть он и передает в своих картинах победу красных, но не издевается над белыми (корниловцами и деникинцами), а даже, можно сказать, сочувствует горю побежденных. Так, в картине "Отверженные" показана колонна отступающих корниловцев, бредущих в метель. Становится жаль этих людей. "Мне пришлось непосредственно наблюдать походы, движения войск, бои, — свидетельствует Греков. — Меня захватывает грандиозность движения, хочется писать по живым, свежим впечатлениям".

Может быть правы те критики, которые укоряли Грекова в "кавалерийских восторгах", ибо почти во всех его картинах можно видеть несущихся коней и это волновало художника больше, чем изображение политических событий.

Е. Климов

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ
"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати *ТОМ III. "Россия в Америке"*. Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. "Народная Правда". По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. "Лига борьбы за Народную свободу". Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и "Новый Журнал", Радиостанция "Свобода". Встреча с Солженицыным. Работа над "Я унес Россию".

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1984 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1984 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
